БАРБЮС

Ирина Гуро
Лидия Раменко

ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

«Прометей революции» — так Ромен Роллан назвал Анри Барбюса, своего друга и соратника. Анри Барбюс нес людям огонь великой правды. Коммунизм был для него не только идеей, которую он принял, но делом, за которое он каждый день шел на бой.

Настоящая книга — рассказ о прекрасной, бурной, завидной судьбе писателя — трибуна, борца. О жизни нашего современника, воплотившего в себе лучшие черты передового писателя, до конца связавшего себя с Коммунистической партией.

- Гуро Ирина и Фоменко Лидия
  -
  - ЧАСТЬ I
    - ГЛАВА ПЕРВАЯ
      - 1
      - 2
      - 3
    - ГЛАВА ВТОРАЯ
      - 1
      - 2
      - 3
      - 4
      - 5
    - ГЛАВА ТРЕТЬЯ
      - 1
      - 2
      - 3
      - 4
      - 5
      - 6
  - ЧАСТЬ II
    - ГЛАВА ПЕРВАЯ
      - 1
      - 2
      - 3
    - ГЛАВА ВТОРАЯ
      - 1
      - 2
      - 3
      - 4
    - ГЛАВА ТРЕТЬЯ

- 1
- 2

- ЧАСТЬ III
  - ГЛАВА ПЕРВАЯ
    - 1
    - 2
  - ГЛАВА ВТОРАЯ
    - 1
    - 2
  - ГЛАВА ТРЕТЬЯ
    - 1
    - 2
    - 3
    - 4
    - 5
- ЧАСТЬ IV
  - ГЛАВА ПЕРВАЯ
    - 1
    - 2
  - ГЛАВА ВТОРАЯ
    - 1
    - 2
  - ГЛАВА ТРЕТЬЯ
    - 1
    - 2
    - 3
    - 4
  - ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
    - 1
    - 2
- ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА АНРИ БАРБЮСА
- КРАТКАЯ БИБЛИОГРАФИЯ
- Иллюстрации

- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
  - 8
  - 9

- ○ 10
- ○ 11
- ○ 12
- ○ 13
- ○ 14
- ○ 15
- ○ 16
- ○ 17
- ○ 18
- ○ 19
- ○ 20

Гуро Ирина и Фоменко Лидия
АНРИ БАРБЮС

ЧАСТЬ I
ПОИСК

ГЛАВА ПЕРВАЯ

1

Вход в редакцию газеты соответствовал ее духу. Обшарпанная дверь открывалась со скрипом, напоминающим скрежет тюремных запоров, а лестница давала основание считать ее пристанищем котов всего департамента.

Молодой человек, стремглав взбежавший по ступенькам, пренебрегал деталями обстановки. Они не могли в его глазах осквернить святилище.

Между тем это была всего-навсего дрянная газетенка, прямая наследница тех желтых листков, которые травили «могучую кучку» великих реалистов и призывали к расправе с Золя и Флобером. Она существовала, удерживаясь на гребне мутной волны самых низкопробных читательских интересов.

В редакции стоял страшный шум, и молодой человек остановился в нерешительности. Он был здесь чужаком. Свои первые небольшие заметки о литературе он подписывал звучно и многозначительно: «Сонжер»[1].

Компания, заседавшая в редакционной комнате, не замечала его. Она расположилась на столах и в креслах в позах, слишком свободных, чтобы можно было предположить присутствие шефа за перегородкой.

Беседа перемежалась проклятиями по поводу «затишья»: имелось в виду падение тиражей. С того времени, когда во Франции — впервые в мире — на газетной полосе появился фельетон, дела еще не были так плохи. Интересы читателей колебались между последней политической новостью — заключением франко-русского союза — и рождением ребенка о двух головах. И то и другое не случалось ежедневно.

Сонжер уловил в разговоре близко касавшуюся его тему.

— Стихи! — воскликнул прыщеватый верзила. — Стихи — это атавизм. Это нечто, доставшееся человеку от пещерного века и абсолютно не нужное ему сегодня…

Хохот покрыл его слова.

Оратор гримасами подчеркивал смысл сказанного. В его лице все находилось в движении: брови, усы и даже уши.

— Чтобы доказать свою мысль об архаичности поэзии, я прочту стихи, только что полученные с Парнаса. Под Парнасом я разумею, естественно, конкурс «Эко де Пари»…

Оживленные восклицания посыпались со всех сторон:

— Как? Итоги конкурса еще не опубликованы… Стихи тоже…

— И тем не менее… — все так же паясничая, верзила вытащил из кармана листки, — эти строки еще горячи, словно каштаны из жаровни, от авторского пыла участника конкурса, некоего… Люсьена Фора!

Имя никому не было знакомо. Всеобщее удивление…

— Еще не присуждались премии! Откуда у тебя эти стихи?

— От ветеринара, — последовал серьезный ответ. — Они обнаружены под седлом взбесившегося Пегаса.

Новый взрыв хохота.

— Итак, это называется: «Прощай» и «Они мертвы, его подруги»… — Он начал чтение, сопровождая его гримасами.

Гримасы вызывали у Сонжера отвращение. Но скоро он позабыл обо всем, захваченный музыкой стиха. Крикливый голос верзилы возвратил Сонжера к действительности:

— Этим строкам не место в эпоху велосипедов, автомобилей и патентованного средства от мозолей!

Ватага бурно выразила свое одобрение.

Не пройдет и нескольких часов, — как прочитанные столь неуважительно стихи прозвучат в устах кумира поэтической среды и станут повторяться изысканными служителями муз. Но об этом не могли знать ни чтец, ни его слушатели.

Огорченный Сонжер выскользнул из комнаты. Ему показалось, что, слушая издевательства этой клики, он совершает предательство по отношению к неизвестному ему автору, к Люсьену Фору.

Медленно он спускался по лестнице.

Сейчас, очищенные от кривлянья прыщеватого верзилы, стихи прозвучали в памяти Сонжера неожиданно сильно. Было в них какое-то мощное чувство. Рядом с ним его собственные строки показались Сонжеру бедными, мелкими. Сквозь них виднелось всего только каменистое дно горной речушки, протекающей в его родных Вогезах, в то время как за строками Люсьена Фора чувствовалась сама Бездна. Ее холод придавал стихам ту ноту безысходности, которая была самым высоким шпилем моды в поэзии конца века.

С трепетом молодой человек вслушивался в звучную музыку строк, запечатлевшихся в его памяти:

Elles sont mortes, ses amies,
Ses amies sont là-bas, là-bas…
Elles s’ avancent à petits pas
Parmi des choses endormies…[2]

Эти стихи не оставляли надежды, с завидным искусством сжигая все мосты к радости жизни.

Разочарование, тоска… Тут было все, что надо. Но было ли это только данью моде или искренним чувством?

Кощунственная мысль о возможности первого была немедленно изгнана. Автор подобных строк должен был оставаться самим собой при всех обстоятельствах.

Люсьен Фор! После того как Сонжер столько раз мысленно повторял это имя, оно уже сделалось ему близким. Он слышал его стихи, душа автора так широко и готовно раскрывалась в них, возможно, более широко, чем могло быть в итоге давнего знакомства. Читатель часто узнает об авторе больше, чем самый близкий друг!

Сонжер представлял себе Люсьена Фора в образе Данте, в ореоле жизненного опыта, мудрости и знаний.

Стихи его притягивали, подобно темному колодцу, в который хочется смотреть не отрываясь. Их искристый и холодный поток уносил молодого человека в небытие…

К счастью, он заметил, что стоит против двери с надписью на стекле «Серебряный олень». Сонжер поспешил перейти улицу, чтобы порцией рагу с овощами убедить себя в том, что он еще жив.

Но не тут-то было! Вывалившаяся из-за угла толпа притиснула его вплотную к ограде какого-то особняка.

Провинциальная стеснительность мешала Сонжеру проложить себе путь локтями. Внезапно решившись, он поставил ногу на чугунный завиток ограды и мигом перемахнул через нее.

Он очутился в парке, разбитом на английский манер. Подстриженные кусты акаций образовали геометрически правильные фигуры, окаймленные светлым гравием дорожек.

Перспектива аллеи тонула в сиреневом сумраке. Все вокруг казалось таинственным, заманчивым, особенным. Цветы пахли слаще, чем обыкновенные цветы, листва шелестела нежнее, чем обыкновенная листва.

Сонжер не удивился, когда кто-то тронул его за рукав. Это был юноша лет семнадцати, проникший сюда, несомненно, так же, как и он сам: через ограду.

Незнакомец нагнулся к самому уху Сонжера и азартно прошептал:

— Видите: направо грот… Если нам удастся пробраться в него, мы увидим *всё*!

Ни о чем не спрашивая, Сонжер послушался. Они сделали неловкую перебежку, словно рекруты на ученьях, но все же остались незамеченными прислугой, хлопотавшей на лужайке

возле дома.

Теперь они были внутри грота, вход в который был увит виноградом вперемежку с красными бобами. Неожиданный товарищ Сонжера болтал без передышки:

— Меня зовут Жак. Я учусь живописи у старого пентюха Полтрена. Тут мы с вами даже в лучшем положении, чем званые гости. Правда, нам не достанется угощения, но зато мы не должны заботиться об этикете.

Против этого нечего было возразить.

— Смотрите! Смотрите! — с тем же подъемом зашептал ученик художника.

Одно за другим освещались все окна особняка. Словно в театре при вспышке огней рампы, оживала темная сцена и открывалась картина неизвестной зрителям жизни.

Жак, продолжая болтать, вертелся около выхода, и Сонжеру виден был только его забавный профиль: вздернутый нос и завиток волос, торчащий из-под берета, сдвинутого на одно ухо.

Суета в доме и около него все увеличивалась. Но в ней чувствовался какой-то ритм. Невидимый дирижер направлял усилия множества людей, делавших последние приготовления у столов, накрытых с официальной роскошью больших банкетов.

— Да что же здесь происходит? — спросил, наконец, Сонжер. Это были первые слова, вставленные им в трескотню товарища.

Удивленный Жак ответил вопросом:

— Если вы этого не знаете, зачем же вы перелезали через забор?

Сонжеру оставалось только объяснить, как все произошло.

— Тогда вы счастливчик. Такого интересного зрелища еще не видел Париж со времени стычки апашей с полицией у рынка Терн. Король Поэзии будет здесь посвящать в сан Поэта лучших своих подданных.

2

Что делал в это время автор мрачных строк, плениших молодого критика? Поэт, считавший тень могилы приятнейшим местом на земле?.. Он примерял новый костюм. Это было великолепное одеяние. Панталоны отливали благородным блеском стали и были сужены до предела, за которым их владелец уже не имел бы возможности сесть. Гениальное изобретение эпохи — штрипка сохраняла их безукоризненную форму. Пиджак казался лишь фоном для жилета цвета красного перца.

Все это увенчивала модная шляпа трубой! Она делала и без

того высокого юношу чересчур высоким, Его можно было бы назвать колоссом, если бы не худоба, тонкость черт, заостренных болезнью или утомлением. В его взгляде мягкость и доброта изливались щедро, не сдерживаемые опасением дать больше, чем он получит взамен.

Сейчас все для него было окрашено почти детской радостью: подобный костюм он надевал впервые в жизни. Туалет был сшит специально для данного случая: юноша спешил на банкет. Он стоял у порога великих событий и по юношеской самонадеянности не полагал, что этот порог окажется для него слишком высоким.

Таким самоуверенным и вместе с тем робким, элегантным и смущенным собственной элегантностью его увидели из своего убежища незваные гости.

Не подозревая всей значительности происходящего, они обратили внимание на юношу в новом костюме просто потому, что нельзя было не обратить на него внимания.

К юноше приближался хозяин дома, некоронованный монарх поэтической державы Катюль Мендес.

Если бы Жак бешеным шепотом не сообщил об этом, Сонжер все равно догадался бы, что эти двое — главные в сегодняшнем празднестве.

Вокруг них толпа приглашенных переливалась всеми цветами радуги. Черный цвет еще не стал обязательным на вечерних приемах, и сходство торжественных раутов с похоронами еще не ощущалось столь зримо.

Итак, в центре были эти двое…

Катюль Мендес обладал внешностью древнего римлянина. Это был слегка обрюзгший, с выражением пресыщения на лице патриций — скорее всего, времен упадка империи…

Он поднял свою красивую, ухоженную руку и голосом, тоже красивым и тоже как бы ухоженным, объявил торжество в честь победителей литературного конкурса открытым.

От волнения Сонжер не расслышал вступительных слов Мендеса. В его ушах вдруг зазвучали строки, под знаком которых начался сегодняшний вечер. Ему показалось сначала, что он грезит, что он все еще идет по улице и про себя повторяет их:

Elles sont mortes, ses amies…

Он закрыл глаза и снова открыл. Нет! Это не было грезой! Эти самые стихи слетали сейчас с уст «короля поэтов». Произнесенные с великолепной дикцией старого актера, со

страстью коллекционера рифмованных строк и с легким тулузским акцентом, они звучали еще внушительнее.

Последнее четверостишие декламатор уронил в таинственную паузу, которая должна была закончиться бурными аплодисментами. Так и случилось.

Катюль Мендес, взяв за руку молодого автора, красного, как его жилет, произнес слова, повторенные им вскоре на страницах «Эко де Пари»:

— Вот поэт. Это Анри Барбюс, юный, почти ребенок. И я верю, что божественный Ламартин, который оплакивал человечество, и царственный Бодлер, чья душа была чиста, прекрасна и совершенна, были бы потрясены этими стихами.

— Какой Барбюс?! Этот хлыщ в красном жилете присвоил себе чужую славу! Стихи принадлежат Люсьену Фору! — почти в голос воскликнул Сонжер, искренне возмущенный. Вся его симпатия к молодому человеку в красном жилете мигом улетучилась.

Подмастерье живописца схватился за голову:

— Боже, как вы тупы! Через час весь Париж будет знать, что Люсьен Фор — псевдоним Анри Барбюса!

3

Ошеломленный этим открытием, Сонжер повернулся к своему товарищу. Но бойкого парня уже не было в гроте. Воспользовавшись сутолокой и беспорядком, возникающими обычно после минут напряженного внимания, Жак ринулся вперед. Полусвет, игра лунных бликов, чередование косых лучей от канделябров зала и теней, отбрасываемых деревьями, создавали беспокойные и живописные декорации, в которых затерялась испачканная красками блуза Жака.

Сонжер не сумел так быстро использовать изменение обстановки. Ему требовалось некоторое время, чтобы обдумать все увиденное и услышанное. И он предпочитал сделать это в одиночестве. Тем более что заинтересовавший его Люсьен Фор — нет, Анри Барбюс — внезапно скрылся из поля его зрения, подхваченный потоком поздравителей.

Сонжер стал пробираться к ограде. Он не заметил, что увлеченные собственными восторгами слушатели в конце концов потеряли из виду их первопричину.

Герой вечера отступил в тень. Он хотел передохнуть, остаться один на один со своим успехом, со своим счастьем, со своими сомнениями…

Он шел по саду. И с ним шли его Успех, его Счастье, его

Сомнения — толпа спутников, могущих заполнить жизнь человека.

Он шел по саду, пока не наткнулся на юношу, который готовился перелезть через ограду.

— Погодите! — воскликнул Анри Барбюс, и по искорке в его глазах Сонжер увидел, что он в высокой мере одарен чувством галльского юмора.

— Почему вы покидаете праздник таким странным образом?..

Вежливость вопроса была густо поперчена насмешкой, и Сонжер вспыхнул до корней волос.

— Я полагал, что могу уйти тем же способом, каким сюда явился!

На эти слова молниеносно последовал новый вопрос, скорее даже догадка:

— Вы поэт!

— Я пишу о поэзии! — ответил молодой человек с достоинством, мало соответствующим моменту: он все еще держался обеими руками за железные прутья ограды.

— О, вы критик? Тогда понятно, почему вы являетесь на вечер поэзии, перелезая через забор!..

Сонжер, взбешенный, отцепился, наконец, от ограды и подскочил к Барбюсу.

— Как вы сказали? Как вы посмели?

Молодой франт в красном жилете немедленно приготовился дать отпор, став в позицию и показав при этом отличную выучку члена спортивного общества «Эллада».

Они были готовы броситься друг на друга, но тут по лицу Анри Барбюса разлилась добродушная улыбка; она погасила запальчивость сразу, как добрый летний дождь тушит забытую на окне свечу.

— Да чего это мы стоим, как два петуха на вывеске ресторана Леже!

При упоминании о ресторане Сонжер ощутил острый голод.

— Черт вас возьми с этой вашей церемонией! Я не ел с утра, — пробормотал он, еще сердясь.

Анри поклялся, что от волнения не прикоснулся ни к чему и умирает от голода.

Сонжер не сопротивлялся, когда новый знакомый подтолкнул его в сторону калитки, оказавшейся рядом.

Они очутились на улице. Анри с напористостью истого парижанина пробирался в толпе, не замечая толчков, которыми его награждали слева и справа, и прокладывал товарищу дорогу.

Прямо перед ними возникло соблазнительное видение «Серебряного оленя».

Прежде чем толкнуть дверь, они невольно обернулись.

Зрелище вечерней — уже ближе к полуночи — парижской улицы было невероятно пестрым. Щеголи в очень узких брюках, казалось, постукивают по тротуару невидимыми копытцами. Дамы в непомерно расширенных книзу юбках походили: одни — на соборные колокола, призывающие к благочестию; другие — на маленькие веселые колокольчики, привязанные к дуге свадебной упряжки.

6 картине городского движения век уходящий как бы сшибался с веком грядущим. Фиакры двигались сплошной вереницей. В их лакированных крыльях, в клеенчатых цилиндрах кучеров мерцали блики газовых фонарей. Над изящными ладьями победоносно колыхались перья дамских шляп.

Нелепые машины с огромными и непослушными колесами, предтечи велосипеда XX века, в ту пору еще не были изгнаны на мостовую, и проклятья пешеходов только разжигали страсти спортсменов. Двухэтажная коробка конного омнибуса выглядела архаичной: в сумятицу улицы уже шумно вступали автомобили. Их сирены резкими голосами ярмарочных зазывал покрывали уличный гул. Мужчины в жокейских шапочках, вцепившись в рулевое колесо, с обреченностью утопающих ныряли в кипение бульваров. Глядя на их усилия, трудно было подумать, что в грядущем веке скорость будет решать вопрос гегемонии в мире.

Через минуту Барбюс и его новый знакомый сидели за столиком под оленьими головами, торчащими на стенах. Тени ветвистых рогов прыгали по скатерти, когда открывалась входная дверь, впуская струю уличного сияния. Молодые люди пили и ели, не особенно вникая в то, что им предлагалось, поглощенные разговором. Они излагали друг другу свои взгляды на искусство, поэзию, жизнь, что, собственно, означало для них одно и то же.

Совсем недавно вышел поэтический сборник Малларме. И даже враг символизма Анатоль Франс писал: «Стефан Малларме… может быть принят и вне того кружка, где его считают боговдохновенным». Анри Барбюс считал Малларме «боговдохновенным», а Верлена — самим богом поэзии. Закрыв глаза, покачиваясь всем своим длинным, худым телом, Анри перебирал четки созвучий, связанные тонкой цепочкой еле уловимых ассоциаций, смутных намеков, слабые, распадающиеся звенья какой-то сокровенной мысли.

Протяжные окончания рифмующихся строк убаюкивали сознание, расслабляли. Смысл выпадал из них, как из привычной молитвы.

Ни один луч света не проникал в холодный склеп этих строк. Анри читал, опьяняясь их музыкой.

Странно! Только что восхищавшийся стихами Люсьена Фора, написанными в подобной же тональности, Сонжер сейчас не нашел в себе отклика на строки мастера, у которого Люсьен Фор только учился.

Склонный к анализу, Сонжер сделал неожиданный вывод: было в стихах Барбюса нечто отличное от всей этой манящей, зыбкой и засасывающей, как болото, поэзии. Какое-то устойчивое пятно среди хаоса красок, сгусток экспрессии и жизненной силы.

Барбюс с жаром возражал: Сонжер ищет в его стихах то, что им не присуще.

Его собеседник с досадой разразился потоком доводов в пользу поэзии мускулистой, полной жизненных соков.

Анри яростно защищал тихий и трепетный свет свечи, которая освещала потемки поэзии конца века. Их остановил шум собственных голосов. Они были одни в ресторане. За окнами светало. Была та редкая минута, когда ночной Париж утихает, а утренний еще не всходит на торцовые мостовые, под своды розового от зари неба.

Постепенно улица заполнялась: со страшным грохотом в нее врывались повозки с грузами, отражающими все разнообразие потребностей огромного города. На фоне уличной симфонии тонко выделялось соло жестянщика: «Кастрюли, кофейники починяю!..»

Два молодых человека стояли у окна ресторана и смотрели на утреннюю улицу. Раскачивая бедрами, по ней шли дебелые прачки. Они несли корзины с бельем на голове. Спешили мастеровые с инструментами, плотно укутанными тряпками, как это принято у рабочих, пользующихся городским транспортом.

— Они идут, Жервезы и Этьены, они открывают парижский день, — сказал Анри почти с благоговением, и Сонжеру стало ясно, что именно Золя — и никто другой — кумир его нового друга. А все то, что говорилось раньше, от лукавого.

Они вышли из «Серебряного оленя» подружившиеся, довольные проведенным временем и чуточку хмельные.

Когда они расстались, стоял уже полный день.

Под сень бульваров вступали няньки и кормилицы, мощные и торжественные, как триумфаторы, с той только разницей, что они сами катили впереди себя сверкающие колесницы.

Это был 1893 год. В этом году Париж пышно праздновал заключение франко-русского военно-дипломатического союза. Гремели оркестры. Ослепляли фейерверки. Шумные и сверкающие балы летними ливнями затопляли город.

На окраинах Парижа темнота казалась еще более плотной от

розового зарева вдалеке, над площадями. Здесь, в трущобах, тянулись глинистые пустыри вперемежку с булыжной мостовой и кучами мусора, который по старинке выбрасывали прямо на улицу.

В этом году ночлежные дома Парижа дали приют тридцати четырем тысячам бездомных. И более трех тысяч «испорченных» детей были приняты на городское обеспечение.

Двадцать два раза расцветали и облетали мелкие вьющиеся розы на Стене коммунаров на кладбище Пер-Лашез, но в растерзанной палачами Коммуне уже видел великий Маркс прообраз государства будущего.

ГЛАВА ВТОРАЯ

1

— Тс-с… Отец пишет!.. — эти слова Анри слышит с раннего детства. Они произносятся то по-английски — матерью, то по-французски — прислугой, то на забавной смеси французского и английского — старшей сестрой Лили.

Какой бы скромной ни была их квартира, лучшая комната отводится отцу. Там его кабинет, там он *пишет*…

Отец ласковый, добрый, большей частью печальный, но умеет быть таким веселым, когда играет с ними: с Анри и Лили. Какой он, когда *пишет?*

Его серые глаза, странно измененные очками, видели кого-то, к кому он обращался. Может быть, именно эти чистые прозрачные стеклышки, тонкими комариными лапками зацепившиеся за уши, позволяли отцу видеть кого-то, кому он писал на узких длинных листах бумаги мелкими-мелкими буковками.

Представление о том, что отец пишет *кому-то,* закрепилось в сознании Анри. Он очень рано познал весомость маленького конверта, приносимого старым почтальоном в туго набитой кожаной сумке, оттопырившей его синюю короткую пелерину.

Вынимая тонкий листок из конверта с красивой английской маркой, изображавшей королеву, мать затуманивалась. Это писали ей родные из Англии, из йоркшира, — как трудно произносить это название! Там жили бабушка и дедушка. На ферме. Что такое ферма, Анри не знал. Но, наверное, что-то хорошее. Что-то, что было и чего уже нет. Мать так скучала по ней!

Большие твердые конверты с другими марками, изображавшими женщину в колпаке, передавались отцу. Иногда они его радовали. Он с размаху открывал дверь кабинета и объявлял громким, веселым голосом: «Сегодня у нас на сладкое будет миндальный торт!» И действительно, обещанный торт являлся с такой точностью, словно прибывал в этом самом твердом конверте.

Потом, когда матери не стало, а была «мама Эмилия», опять приходили конверты с королевой. Письма сначала прочитывал отец и, нахмурившись, уходил к себе. Потом они поступали в распоряжение мамы Эмилии. Она перечитывала их по многу раз, часто сморкалась, говорила Анри: «Твоя маленькая сестренка Анни шлет тебе привет. Ты помнишь Анни?»

И еще что-то бормотала, уже непонятное Анри и не относившееся к нему. И слово «сиротка» утопало в ее рыданиях. Он уже слышал это слово раньше, оно всегда в его представлении связывалось с Анни, с тугим белым свертком, из которого вырывался слабый писк. Оно не относилось к нему, Анри, — мальчику, мужчине.

Его отец писал пьесы, хронику, статьи, эссе, романы. Можно сказать, что он был профессиональным писателем в том смысле, что он жил литературным трудом.

Но было что-то дилетантское в его отношении к своей работе. Он делал ее порывами, не систематически, увлеченно, но не самозабвенно.

Адриен Барбюс, атеист до мозга костей, пронес антиклерикальные идеи через всю свою жизнь. Но, исповедуя истину, он не становился борцом за нее. Рефлексия, болезнь века, сковывала его талант, его силы.

Некоторое время он жил в Лондоне. Отлично изучив английский язык, он врос в тамошнюю среду. Он был театральным критиком, основал французский журнал «Интернационал».

В Англии он встретил девушку, которую полюбил. Ему было двадцать восемь лет, ей — двадцать пять. Они поженились и уехали во Францию. Они очень любили друг друга. Анни Бенсон была мягкой, робкой, мечтательной.

Немногие, знавшие мать Анри Барбюса, утверждали, что в облике сына было много материнского: тонкость, мягкость, деликатность. Когда черты сурового бойца стали все явственнее и властнее проступать в его характере, эта глубоко спрятанная, только временами выходящая наружу струя придавала ему особое очарование. И казалось, что именно улыбка его, нежная и немного грустная, была от матери.

В 1873 году, когда родился сын, его назвали Адриен Густав Анри. Это было в Аньере, в маленькой вилле на бульваре де Перейр.

Когда он стал подрастать, в дом взяли бонну Эмилию Вуарен, говорившую по-английски. Анри болтал по-французски с отцом, по-английски с матерью, по-французски и по-английски с сестрой Лили и с бонной, которую дети звали по английскому обычаю мамой.

Детские воспоминания Анри печальны: мать в нарядном гробу, среди цветов и лент, черные дроги с лошадьми в странных уборах, с черными метелками-над головами, чужие люди, бесшумно снующие по комнатам, длинный черед карет у крыльца.

Отец очень горевал. Не понимая всей тяжести утраты, Анри

весь сжимался при виде его скорби. Глубокий траур укутал дом черным глухим покрывалом.

Может быть, отцу тяжело было видеть маленькую Анни, причину смерти ее матери? Девочку увезли в Англию, к родным.

Эмилия Вуарен, мама, на долгие годы разделила горе, а потом первые, очень скромные радости семьи.

И вот они покинули Аньер и дом, где грусть стала постоянной гостьей, где память о любви и преданности отзывалась на каждый шаг печальным эхом воспоминаний.

Адриен Барбюс окунается в кипучую деятельность парижского журналиста. Он занимает штатную должность в редакции «Сьекль» [3].

Семья поселилась на Монмартре, в начале улицы Аббатов. Тогда это место было еще сравнительно тихим, провинциальным, приветливым. Утром, когда Анри бежал в школу, размахивая ранцем, он видел художников, расставивших мольберты под деревьями.

Характерным жестом отставленной руки они держали свои палитры, похожие на листы водяной лилии, и часто в забывчивости вытирали испачканные краской пальцы о полы своей длинной блузы. Это был жест, категорически запрещенный мамой, и свобода, которой пользовались художники, была первым, что восхитило Анри в жизни людей искусства.

Впрочем, его не очень притесняли дома. Они жили тихо и скромно. Жалованье в «Сьекле», несмотря на пышное название, платили небольшое. Зарабатывать на стороне становилось все труднее. Париж есть Париж. Не обладая громким именем, слишком благородный, чтобы использовать боковые пути, Адриен Барбюс живет не в нищете, но с большим напряжением. Мама, не жалуясь, еле сводит концы с концами в своем маленьком хозяйстве. И поэтому Анри с детства знал счет деньгам. Он знал, что за него платят в школу семь франков пятьдесят сантимов в неделю, а за Лили — дороже: четырнадцать франков пятьдесят сантимов.

— Почему? Значит, я хуже?

— Это потому, что Лили берет еще уроки музыки.

Он всегда знал: они небогаты. И все. И не о чем тут говорить.

Это отличало его некоторой серьезностью среди бездельников, сорящих деньгами своих отцов.

Огромное место в жизни Анри занимает черный котенок, подобранный им на улице.

— Мама, придумайте, как его назвать!

— Твой отец писатель, он и придумает, — резонно отвечает мама.

Адриен Барбюс поглядел на маленькое черное чудовище, издававшее мрачное мяуканье.

— Назовем его Кассандрой: была некогда такая зловещая дама…

— Но, папа, это котик…

— Тогда Кассандрой, есть такой герой в итальянских комедиях.

Анри был потрясен: вот что значит папа-писатель: он даже ни на миг не задумался!..

А кот охотно откликался на эти «к» и «с».

В доме самой близкой двум детям, во всяком случае привычной, была мама Эмилия, волшебница в клетчатом кухонном переднике. Мама — это яблочный пирог; это «Тс-с, отец работает!», это «Ваш отец получает не так много. Раньше он получал четыреста франков, а теперь он получает…» и так далее. Это надоевший рефрен детства.

Вдруг в жизнь входят крупные неприятности: ночное пробуждение от боли в горле, доктор с его отвратительной привычкой совать в рот чайную ложечку, встревоженное лицо отца.

Но, видимо, надо было пройти все это, чтобы достигнуть счастья! Они едут на морские купанья! «Купаться!». «В море!» — слова, полные сладостных обещаний. Мама — это уже не кухонный передник и чепец, а светлая накидка и новая красивая шляпа с цветком.

Теперь начинается полоса покупок. Отец вовлекается в веселый круг новых забот в качестве арбитра: «Очень хорошие ботинки!», «Прелестные купальные костюмы! Модные, в поперечную полоску!..»

Сказка начинается в Гранвиле, где они садятся на пароход. Старый город с укреплениями на скалистом предгорье — это сказка суровая, мрачная, о рыцарских подвигах, о битвах. В ней — звон мечей и зов походной трубы. Внизу, где отмель податливо подставляет волне узкую желтую спину, — сказка безоблачного счастья. Это рыбачьи шаланды, подходящие так близко, что виден серебряный, трепещущий груз крупной трески. Это ловцы устриц с круглыми корзинами, певуче выкликающие свежий товар. Это гавань, набитая чудесами, как мешок Санта Клауса. Это толпа дам и господ, каких-то особенно беспечных, нарядных, небрежных. Толпа, которая перекатывается между казино и красивым зданием, напоминающим восточный храм. Правда, над его главным входом висит прозаическая вывеска: «Заведение теплых морских ванн». Но Анри тут же забывает о вульгарной вывеске.

И главное — море. Оно такое огромное, что ни с чем нельзя его сравнить. И не надо сравнивать. Оно само по себе. Частицу его, его шум, Анри привезет домой в розовых раковинах с зазубренными краями.

Полтора месяца они купались в море. Они купались в счастье. Мама Эмилия, вспоминая об этом лете, говорила: «Дорогие каникулы!», думая об истраченных 750 франках. «Дорогие каникулы!» — говорил Анри и думал о море, которое ни с чем нельзя сравнить. Шум моря и сейчас слышится Анри в розовых раковинах. Он прижимает их к уху, нежная и немного грустная улыбка играет на его губах: он слушает море.

Возвращение в Париж скрасилось новостью: вернулась сестренка Анни. «Ты помнишь ее, Анри?» Он помнил: крикливое создание в белом пакете с кружевами. Он радовался, когда ее увезли. И не очень рад, что ее привезли обратно. Смутно он вспоминает, что ее появление на свет принесло в дом беду.

Теперь это маленькая англичанка, по-прежнему крикливая. Она так ужасно произносит французские слова, что все дети во дворе покатываются со смеху. В один прекрасный день это надоедает Анри. Он «дает раза» обидчикам: в конце концов она его сестра, его младшая сестра. Он даже мирится с тем, что ее капризы удовлетворяют в первую очередь. Впрочем, самый большой вес имеет все-таки Анри.

— Анри, попроси маму сделать пудинг с изюмом! — Анни, смешно коверкая французские слова, заглядывает ему в лицо.

— Я занят. Я ухожу в школу. Кроме того, мамы нет. Она ушла за покупками.

Впрочем, он может передать ей их общую просьбу посредством письма. Он с важным видом садится за стол, кладет перед собой лист линованой бумаги. Вот так, чуть наискосок, как учат на уроках чистописания. Очень важно он пишет письмо маме насчет пудинга с изюмом.

Анни смотрит через плечо брата, как его рука выводит на бумаге по-мальчишески размашистые строчки. Она полна глубокого почтения. Она снимает пылинку с его рукава. Во всем этом есть что-то от привычного: «Тс-с, отец пишет!»

Теперь отец реже запирается в кабинете. Теперь он чаще веселый, чем грустный. И дети оценивают все преимущества этой перемены.-

Зимними вечерами отец при свете настольной лампы под тюльпанообразным стеклянным абажуром раскрывает толстую книгу. Чаще всего это стихи. Когда приходят гости, отец с гордостью говорит: «Анри очень любит стихи». Анри не уверен, что это так. Но он легко запоминает как бы живые строки,

окончания которых, странно сочетаясь, звучат, как музыка.

И он привык прежде всего искать в стихах именно ее.

Иногда это стихи Виктора Гюго. И тогда отец напоминает: «Когда тебе было три года, я водил тебя к нему. Он держал тебя на коленях. И он поцеловал тебя. Тебя поцеловал Виктор Гюго! Запомни это!»

Адриен Барбюс не верил в бога, но верил в добрые предзнаменования. Таким он считал эту встречу, этот поцелуй.

Анри помнил величественного, доброго, старого человека. И тот поцеловал его. Да, так было. Он даже помнит запах его белой, пышной и очень мягкой бороды.

Отец читает ему стихи из книги с удивительным названием: «Искусство быть дедушкой». Все ли понимает Анри в этих стихах? Нет, конечно. Но доброта и ласка могучего старца коснулись его души:

> Внучата милые! Сегодня за обедом
> Вы оробели вдруг перед сердитым дедом,
> И лепет ваш умолк.
> Не бойтесь! На меня вы поднимите глазки.
> От солнца — вам лучи, от деда — только ласки.
> Так нам велит наш долг…[4]

Отец ведет всех троих в кукольный театр. Он сам громче всех смеется над проделками Полишинеля. Отец ведет их в галерею смотреть картины. Не те, что на мольбертах художников на бульварах. Здесь картины развешаны по стенам, их очень много. Отец учит, как надо на них смотреть, чтобы свет падал правильно, и тогда — о чудо! — из сумятицы мазков складывается видение, и похожее на настоящую жизнь и непохожее.

По воскресным дням летом они всей семьей выезжали за город. Извлеченная из корзины еда казалась волшебным яством, хотя было известно, что она приготовлена мамой Эмилией в кухне их квартиры на улице Мартир, 89. Но лучше всего было заходить в какой-нибудь загородный кабачок, полный народу, где у цинковой стойки отец пил дюбонне, разбавленное водой, а мальчику давали чашечку шоколада. Здесь Анри восхищало все: пол, посыпанный опилками, стулья с соломенными сиденьями и непонятное, загадочное слово на двери: «Эртна». И он вовсе не хотел знать, что это всего только надпись «вход»[5] на стекле двери, прочитанная наоборот.

Зверинец, куда тоже водил их отец, был интереснее и театра и картинных галерей.

Кто сказал, что животные не умеют думать? Анри возмущен этим утверждением. Здесь все полно ума, изящества, сноровки.

В конце длинной улицы Аббатов стоит небольшой дом. С улицы в нем табачная лавчонка. Во дворе чахлый палисадник прижимается к серой стене с тремя окнами, не украшенными ни цветочными горшками, ни тюлевой занавеской. Здесь живет пожилой одинокий господин с овальной, как лимон, лысиной на макушке. Впрочем, когда к нему привозят из деревни маленького мальчика, его сына Этьена, похожего на него, как бутон розы может быть похож на ее колючий шип, становится видно, что этот человек не так уж стар.

Мама Эмилия, которая все знает, говорит, что мальчик родился, когда его отец был уже не молод. Мать умерла, оставив сына еще в колыбели. Бедный человек просто трясется над этим ребенком. Почему мальчик живет в деревне, а не у своего папы? Потому, что у него слабые легкие. Почему у него слабые легкие? Потому, что он не слушался взрослых и не пил теплое молоко. Мама Эмилия разговаривает с Анри, как будто ему три года!

Господин с улицы Аббатов вызывает жгучий интерес Анри. Совсем не в связи с сентиментальными подробностями, сообщенными Эмилией. Этот господин — собачник. Он торгует чистопородными щенками. Но иногда среди блестящего выводка появляется «гадкий утенок».

Таким «гадким утенком» выглядел Жаке с желтым цыплячьим пухом на морде, со светло-коричневой шерстью, на которой рыжие подпалины выглядели грязными брызгами. Никому не нужный Жаке остался у лысого собачника и нисколько о том не тужил.

Иногда Анри заходил во двор собачника. Мальчик стоял у калитки палисадника, сжимая руками прутья ограды, и тихо говорил, подкрепляя свои излияния куском сахару:

— Я люблю тебя, Жаке. Ты самый красивый. Ты самый умный.

И Жаке подтверждал все это, неуклюже подпрыгивая и вертясь волчком.

Однажды произошло событие. Б окне появилась большая голова собачника, обвязанная теплым шарфом.

— Послушай, мальчик! Приходи, когда у меня не будут болеть уши!

Мальчик пришел на другой день. Хозяин повел его в сарай, где шесть серых комочков копошились под животом матери. Хозяин отобрал одного щеночка. Того, который «не получился».

Дома была бурная дискуссия. Мама Эмилия припоминала ужасные случаи, когда щенки, взбесившись, кусали детей. И те и

другие погибали на заре жизни. И хотя никто ей не возражал, щенок все же остался. Его назвали громким именем: Помпей. Он жил долго. И все время, сидя на уроках в школе, а потом в коллеже, Анни мечтал о свободных часах, которые он проведет с Помпеем. А когда Помпей погиб в глубокой старости, уже другие мечты томили Анри.

Примерно в это же время розовые раковины перестали передавать шум моря. Просто Анри больше его не слушал.

Пройдет несколько десятков лет, и Анри Барбюс напишет о животных:

«Бедные создания, простые, незамысловатые, которые вертятся вокруг нас и судьба которых целиком в наших руках, позволяют заглянуть через щелку, схематично, но ясно в глубину жизни: способность страдать и способность мыслить». «Между всеми нашими чувствами нет более человечного, чем любовь к животным».

2

Учитель, мосье Деларбр записал в дневнике: «Нервный темперамент воспитанника Анри Барбюса испытывает нужду в постоянном движении».

За этими словами крылось недовольство: Барбюс был нелюбимым учеником. Слишком порывистый, слишком резкий, заводила среди товарищей, молчаливый в кругу взрослых.

Его отличало в толпе учеников коллежа Роллена не только то, что он был слишком большой, самый высокий среди сверстников. (Иногда на улице прохожие принимали его за взрослого и говорили ему: «Пардон, мосье», «Скажите, мосье», — и улыбались, заметив свою ошибку.) Мальчик — со своим особым душевным миром, углубленный в него, прислушивающийся к его движениям, к его обещаниям. Когда он волновался, у него начинали едва заметно дрожать губы и подбородок. Улыбка его была нежной и немного грустной.

> …Та устремилась, как сокол, с покрытого снегом Олимпа,
> Прочь от Гефеста-царя, унося дорогое оружье…

Откуда этот удивительный торжественный и просторный стих? Так, наверное, звучали литавры. Так било море о скалы древней Эллады. Так звучали шаги по мраморным ступеням храмов.

Откуда эта свобода и вместе с тем величайшая организованность дактилических строф? Как хорошо дышится, когда читаешь их вслух! В них что-то сродни свободному дыханию человека. А спондей! Он соответствует мерной поступи людей в тогах, в сандалиях, с венком вокруг головы.

Анри покоряла и вольная, веселая поэзия Франсуа Вийона и строгая академичность и размеренность александрийского стиха.

Хороши и стихи романтиков. Звонкие и ударные рифмы соединяют строки, как драгоценности, скрепляющие, складки великолепной одежды. Бегучие и сверкающие аллитерации… Ассонансы менее броски, но приковывают внимание к смыслу строк…

Порт сонный.
Ночной,
Плененный
Стеной;
Безмолвно Спят волны, —
И полный Покой[6].

Когда он твердил про себя эти строки, перед ним снова вставал создавший их старый волшебник с его мягкой белой бородой.

Стихи, звучащие в душе поэта, совсем не то, что написанные на бумаге. Это он узнал очень рано.

Увлечение поэзией соединило их всех: Барбюса, Жака Вебера, Эдуарда Жулиа и еще нескольких юношей. Вместе с тем они не были сухими книжниками: занимались плаванием, греблей, легкой атлетикой. Они хотели все это делать вне спортивных союзов, навязывавших свои утомительные статуты, вне пышных состязаний на виду у публики, пусть даже состоящей из родных и знакомых.

И потому молодые люди составили свое неофициальное маленькое общество. Его члены обязывались заниматься гимнастикой и быть рыцарями литературы. Назвали общество «Эллада». Барбюс стал его председателем, что, впрочем, ничем не выделяло его среди остальных.

Неизвестно почему, но «Эллада» была организацией тайной. Они вели свои вполне невинные беседы шепотом, а расходясь, плутали по улицам, чтобы сбить с толку воображаемых соглядатаев.

Окончив с отличием коллеж, Анри Барбюс решает поступить в Сорбонну. Его специальностью будет литература.

…И вот уже все дальше назад отходят быт семьи и отец, который очень ревнив к успехам сына. Но он тоже занят, и к нему приходит известность: много говорят о его пьесе «Дело Коверли», его водевили идут на сценах французских театров.

Сестры мало интересовали в этот период Анри. Но вдруг он с удивлением заметил, что они интересуют его друзей. В самом деле, Эллен-Лили — величава, по-английски сдержанна, по-французски грациозна. Анни хороша — с головкой маркизы, со взбитыми светлыми, почти белыми волосами и своеобразным выговором.

Может быть, стоило интересоваться ими? Анри убедился в этом, когда Жак Вебер женился на Эллен, а Эдуард Жулиа — на Анни.

Вот они стали родственниками, но связь между ними ослабела.

Именно в это время у Анри появилась потребность выйти со своими стихами из того мирка ценителей, какой представляли его друзья и родные. Как прозвучат его стихи в стенах редакции? Как они будут выглядеть на газетной полосе? На странице журнала?

Анри переписывает из книги чужие стихи. Странно! Будучи напечатанными, они выглядят внушительно, а на простом листе бумаги теряют все свое великолепие, как Золушка после полуночи. Они ничуть не лучше его собственных стихов. Что придает им блеск? Печатные буквы на листах, сброшюрованных и одетых картонным переплетом, с фамилией издателя в начале и обозначением цены в конце?

Он боится увидеть свое имя под напечатанными стихами. Какая-то робость удерживает его. И он избирает звучный псевдоним: «Люсьен Фор». Забронированный этим панцирем, он посылает стихи на литературный конкурс «Эко де Пари». В ноябре 1892 года он получает первую премию, в декабре — первую и вторую. Король Поэтов Катюль Мендес приглашает его в редакцию.

Литературные конкурсы были в такой же моде, как большие шляпы у дам и узкие брюки у мужчин. Состязания являлись катализатором, который побуждал совсем зеленую поэтическую молодежь к бурному проявлению своих талантов.

На этот раз конкурс устраивала газета, объединяющая все лучшие силы литературы или по крайней мере желавшая это сделать: «Эко де Пари».

Редактором ее был Катюль Мендес, автор «Филомены» и «Геспера». Его метания между классицизмом и романтизмом, между легкомысленными «новеллеттами» и сказками и

легендами сделали его притчей во языцех литературного мира.

Бесконечные россказни плелись вокруг сто женитьбы на дочери «великого парнасца» Теофиля Готье, тоже писательнице, авторе нашумевших книг. Супругам перемывали косточки до тех пор, пока Мендес не утвердился в «Эко де Пари» и сделался покровителем поэтических дарований. Его признали Королем Поэтов. С королевским размахом он выводит на орбиту новые светила.

Иногда по рассеянности он терял их из виду, и они падали с небес, как августовские звезды. Но он всегда был полон добрых намерении удержать их в зените.

В апреле 1893 года Люсьен Фор снова получил две премии в «Эко де Пари».

Банкет, посвященный этому событию, оказался как бы водоразделом между прошлым и настоящим Анри Барбюса. Он стал поэтом. Признанным. Поэтом уже не только для себя, для своих родных, для друзей… Для публики.

3

После вечера успеха, после ночи споров молодой человек возвращается к себе домой на улицу Мартир. Удивительно! За эту ночь все изменилось. Так внезапно и так решительно. Вот лестница, она кажется ему темноватой и слишком узкой. Передняя, которая еще недавно была для него целым миром, с чучелом медведя, держащим в лапах бронзовое блюдо для визитных карточек, с таинственными звуками за старым шкафом и с потускневшим зеркалом, в котором отражался высокий нескладный юноша, — теперь просто передняя. Длинный балкон, куда выходят все семь окон квартиры, этот выход в мир города, в его жизнь, — теперь просто балкон.

И мама, с охами и ахами встречающая его, словно выходца с того света, уже не волшебница в кухонном переднике. Просто мама, милая и скучная, со своими постоянными сетованиями на дороговизну.

— Твой отец работал всю ночь. Он только что лег, не буди его, — произносит она поспешно, не подозревая, что он и не собирается этого делать.

Но отец сам выходит из своей комнаты. И он тоже как будто изменился за эту ночь: все в нем стало мельче, проще, бледнее.

— Скажи, что было самым главным в этом вечере?

И здесь лицом к лицу с вечно плачущейся на трудности жизни мамой и отцом, так ревниво желающим сыну славы, которой не добыл сам, Анри в первый раз за этот вечер

соображает, что главное не успех, не то, что говорилось в десятках приветствий на банкете, а обещание Катюля Мендеса издать его, Анри Барбюса, стихи отдельной книгой. Вот что!

Благодаря своему покровителю Анри Барбюс, лауреат конкурсов, стал завсегдатаем литературных салонов Парижа и в первую очередь самого изысканного из них — салона Катюля Мендеса.

Здесь, как в райском саду, пели все птицы, цвели все цветы. Катюль Мендес не интересовался, к какой «школе» примыкали его гости. Здесь более или менее мирно сосуществовали поэты всех литературных течений, которые, не совпадая с направлениями политическими, вносили страшную сумятицу в умы.

Казалось бы, «левое» течение символизма с его полной ревизией старых форм поэзии должно было исповедовать и крайне левые политические взгляды. Однако это было не так, и, может быть, именно потому, что символизм являлся тем «левым» течением, которое было скорее «правым». Политические идеалы символистов не шли дальше буржуазной республики.

Погрузившись в светскую жизнь, Барбюс забросил занятия в Сорбонне. Заниматься литературой и вращаться среди ее звезд было интереснее, чем ее изучать.

Провалившись на экзаменах, Барбюс решил пойти в армию. Лучше провести год в казармах, чем зубрить древних и препарировать творения великих скальпелем недоучки.

Через месяц Анри Барбюс был зачислен в полк. Муштра вскоре опротивела ему. Накануне больших маневров он заявил капралу, что он художник-декоратор и жаждет применить свой талант в полку. Начальство было в восторге. Это избавило Барбюса от участия в маневрах.

В то время как Анри Барбюс с великим усердием на радость полковым интендантам размалевывал стены офицерской столовой 54-го полка инфантерии в Компьене, покровитель молодого поэта, его духовный отец Катюль Мендес не забывал о нем и о его книге.

Одиночество и Печаль были главными героями небольшого стихотворного томика, внешнему облику которого были приданы изящество и добротность в полной мере, какой располагало модное издательство Шарпантье. Заглавие «Плакальщицы» выглядело как нельзя более современно.

Книга была посвящена Катюлю Мендесу. Она имела оглушительный успех Анри Барбюса сравнивали с Ламартином, Бодлером и, конечно, с Мендесом.

Малларме написал Барбюсу: «Ваша книга исключительна и прекрасна. В подтексте ее стихов простое очарование. Они

пленяют чистотой и свежестью воображения, чувства и слова, обнаженностью мысли. Вы стали поэтом, мой друг, и я протягиваю вам руку, как лучшему среди нас».

«Великий эстет» Оскар Уайльд прислал сборник своих стихов с посвящением молодому гению.

Большинство почитателей поэзии Барбюса пленялись грустным звучанием его творений и печальной убедительностью скорбных строк, стройных, как траурный кортеж. Названия разделов книги таили горестный намек, мистическую потусторонность: «Месса прошлому», «Молчание нищих», «Вечные мечты».

Чтобы отыскать в этих стихах струю жизненной силы и экспрессии, надо было быть Королем Поэтов. Катюль Мендес отыскал ее. «Его стихи будут жизненными и сильными», — сказал о Барбюсе Король Поэтов. Он знал, что говорил.

Вернувшийся из армии Барбюс был встречен овациями, не имевшими ничего общего с его службой под знаменами.

Вошел ли успех этих дней каким-либо элементом, хотя бы ничтожным, в подлинную славу его, пришедшую много позже? Хоть один лавровый листок, уцелевший с этой поры, был ли вплетен в тот венок, которым увенчали много лет спустя автора книги «Огонь»? Писателя и трибуна, о котором великие мира говорили с уважением и любовью? О котором Ленин сказал: «Это великий голос» [7]. О котором Горький написал: «Барбюс глубже, чем кто-либо до него, заглянул в сущность войны и показал людям бездну их заблуждения».

Первая книга Барбюса была, вероятно, кирпичом в здании его таланта. Кольцом ствола дерева, дерева, которое вырастет и зашумит вершиной позднее. Одним из первых колец его ствола. Не более.

4

В Париже был «мертвый сезон». Все выезжали из душного города. Но это не могло помешать празднеству по поводу получения Мендесом ордена Почетного легиона.

Пресловутая ленточка не вызывала еще у Барбюса гнева и презрения, которые он выразит много позже в книге «Золя».

Барбюс искренне восхищался награждением Мендеса как новым поводом порадоваться за своего покровителя. Молодой человек поддался очарованию вдохновенного служителя муз, его величавой осанки, его лица Петрония, его тулузского акцента, как поддавались очень многие.

Роскошный банкет в Гранд-отеле окончился. Мендес

пригласил Барбюса к себе в Шату.

Он был глубоко тронут молодостью, искренностью и бескорыстием этого высокого тощего юноши со светлой шевелюрой над высоким лбом, с длинным носом, которому горбинка придавала гордую линию, с длинными ногами и руками мальчика-переростка.

В юноше было что-то от Дон-Кихота, если бы можно было себе представить рыцаря печального образа в юности! А может быть, от Сирано де Бержерака…

Несмотря на молодость, Анри познал силу человеческого страдания в мире, где все плохо, все ранит душу, терзает чувства. Он облек сострадание в звучную поэтическую форму.

И этого не мог не оценить Мендес.

Итак, они ехали в Шату. Эта поездка, эти августовские дни, такие длинные и заполненные до краев радостями, красотой природы и человеческих отношений, открыли Анри совершенно новую страницу жизни. Она была освещена солнцем, и овеяна запахом свежескошенной травы, и расцвечена всеми красками щедрого французского лета.

Уже по дороге Барбюс узнал своего покровителя с новой стороны. Анри подивился его способности по-детски поддаваться прелести пустынного берега, глубокой дали с парусами на горизонте, опушки леса, пышно убранной солнечными бликами.

Анри казалось, что Мендес, пересекший городскую черту Парижа, уже другой Мендес. Словно он вовсе выбросил из головы все, чем жил там, и обратился всем существом к вечной красоте природы. Стало видно, что под модным сюртуком, облекавшим его представительную фигуру, бьется сердце истинного поэта. Выяснилось, что у этого немолодого человека, казалось бы, с головой ушедшего в литературные дела, есть другая жизнь, жизнь, полная солнечных бликов, словно лесная опушка в час полудня. И главное во второй жизни Катюля Мендеса — его три дочери, три красавицы, три блондинки с веселым нравом — этим они пошли в отца, — ласковые, умненькие, бесконечно изящные.

Они приехали в сумерки. Тотчас дом наполнился смехом, возгласами и поцелуями. Мосье Мендес, со своей ленточкой, в своем великолепном костюме, сшитом специально для торжества в Гранд-отеле, и какой-то совсем незнакомый Барбюсу, оставивший в Париже пышность речи и утонченность манер, ласковый и обласканный, ну просто — папа! счастливый папа! — чувствовал себя здесь в своей стихии. Он плескался в теплом озере семейного счастья, как плещется рыба в воде, играя хвостом и разнеженно шевеля плавниками.

Он представил дочерям молодого поэта:

— Анри очень талантлив. Не портите его комплиментами. Он прочтет вам свои стихи, если это единственный способ отвлечь ваше внимание от меня…

Мендес взволнован, он счастлив, он утомлен. Он смотрит вслед своим красавицам дочкам, видит, как они увлекают в сад высокого — чересчур высокого! — юношу, этого Мюссе, этого Чаттертона… И не предвидит от происходящего ровно никаких осложнений. Он слеп, как многие отцы!

Три девушки далеки от мира художников, актеров, писателей, в котором вращается их отец. Он не допускает дочерей в эту другую свою жизнь с ее бурями и кораблекрушениями. Ни к чему. Они живут тут, среди природы, прекрасные и невозмутимые, как она.

Мосье Мендес желал, чтобы его дочери — если им уже пора выйти в открытое море, — совершили бы это на палубе солидного, очень солидного корабля. Профессиональный литератор не мог предоставить им прочной палубы. Он мог быть только парусником на горизонте, изящной яхтой, созданной для прогулок, но непригодной для плавания по суровому океану жизни. Парусник, как и поэзия, был романтичен, но в обоих было нечто архаическое для конца века, и особенно, если подумать о веке, который уже на подходе, веке деловом, стремительном и — увы! — меркантильном!

Молодые люди вовсе не думали обо всем этом. Их связывали дружба, поэзия, природа.

При том, что все три были красивы, сестры не походили друг на друга.

Клодина казалась порывистой, несложной, суждения ее были наивны и определенны.

Югетта — чувствительное создание, трепещущее, как пламя маленькой свечи в старинном фонаре над воротами дома Мендесов.

Элиона — полуребенок, красота ее — красота бутона, который развернется завтра, на заре, — и это будет чудесно!

— Вы всегда пишете такие печальные стихи? — Это Клодина. Ее манеры чуть-чуть резковаты.

— Большей частью.

— Почему?

— В жизни так много печального.

— Но ведь в ней и много радости! — Югетта уверена в этом. Ее лицо словно всегда озарено солнцем.

Элиона, младшая, молчит. В ней еще звучит музыка стихов этого необыкновенного молодого человека, с такой приятной манерой речи, с чуть певучим, низким, модулирующим голосом, с

мягкой и грустной улыбкой.

Анри узнал вечера, полные поэзии, тумана и тишины, прерываемой дальним гудком речного парохода, протяжным и зовущим, плеском весел, песней девушек в деревне.

…Лодка скользила по реке. И здесь Анри имел возможность показать класс гребли чемпиона общества «Эллада». Длинные весла едва касались воды — толчок! — и они взлетали над ней, словно крылья ласточки, и лодка неслась вдоль берега, полного теней, огоньков и песен.

Анри был пленен всем этим. Сперва он даже не мог бы сказать, что увлечен именно тремя дочерьми Мендеса. Его захватила вся обстановка, романтическая, полная красок и ароматов, он сказал бы, как говорят о произведении живописца, — полная воздуха. Три девушки воспринимались им как фигуры первого плана на этой картине. Не более.

Несколько позже он признался себе, что очарован всеми тремя сразу.

И прошло много времени до того, как он почувствовал, что только в Элионе горит свет его жизни.

Но тут мир поэзии и мир действительности вошли в противоречие, как это случалось часто!

Одно дело покровительствовать молодому, действительно талантливому поэту, верить в его звезду. Но выдавать за него замуж свою дочь — это совсем другое, — так думал отец.

Мендес знал, что при всей талантливости молодого человека поэта ждут тернии, и попросту, по-отцовски опасался, что на Олимпе, его дочь со своим избранником хватят горя. Нет, «Король Поэзии» хотел бы зятя менее романтичного и более обеспеченного, чем подданные его королевства.

Но чувство молодых людей покоряло. Весною 1898 года Барбюс и Элиона поженились.

5

Нельзя считать, что Анри Барбюс занимал в это время какое-то определенное место в обществе. И все-таки оно у него было. Он вошел в литературу эпохи своими «Плакальщицами», признанными избранным обществом. Но это было признание знатоков и любителей поэзии, а не издателей, чья благосклонность весила больше на весах практической жизни и могла сулить материальную независимость.

Зато Барбюсом заинтересовались руководители газет. Этот интерес, наоборот, требовал подчинения. Волей-неволей Анри Барбюс стал журналистом.

После туманного детства, после тихой, созерцательной юности он окунулся в парижскую печать, омут, из которого, как ему временами казалось, он не вынырнет до конца своих дней. Как многие молодые люди его поколения, он был скован нерешительностью, большие и неопределенные ожидания томили его. Он плыл по течению, которое несло его вместе с другими вдоль привычных берегов.

Сначала была нерегулярная работа в «Пти паризьен», которую он делал без энтузиазма, но и без отвращения. Это были статьи репортерского характера, без претензий на большое политическое или литературное значение. Потом прозябание в пресс-бюро министерства внутренних дел, где, впрочем, была отрада: чудесные бланки с золотым обрезом и грифом министерства, которые он покрывал стихотворными строчками.

Недовольство тем, что он делал, и свои мечты он изливал в беседах с друзьями. Это были уже не старые университетские товарищи, которые отошли от него вместе с пройденным отрезком жизни.

«Эко де Пари» ввела его в литературу. Газета была одним из тех органов, вокруг которого вырастали, как грибы, литературные содружества. Поэты, даже очень замкнутые, законченные индивидуалисты, время от времени покидали свои «башни из слоновой кости» для встреч с собратьями по перу. Легко создавались и быстро распадались разнообразные литературные сообщества. Так ненадолго возник союз, названный «Даркур», по имени ресторана, где обедали молодые художники и поэты, в том числе и Барбюс.

Это была пестрая среда: и сторонники «искусства для искусства» и демократические писатели, каким был, например, Жюль Ренар, автор яростной сатиры «Прихлебатель». Там же можно было увидеть «несравненного Огюста», слава которого гремела в 70-х годах. Но еще пленяли ценителей оранжево-красные и коричневые тона его причудливых полотен. И молодые поэты шептали ему вслед: «Смотри, ведь это великий Ренуар».

Молодой Барбюс ощущал прикосновение к чему-то значительному и возвышенному, когда его знакомили с уже прославившимся в то время Леоном Клоделем, проповедником «чистой поэзии» и с только еще «входившим в моду» Полем Валери.

Он сблизился с Жаном Ректю и Альбертом Самэном. Молодые поэты говорили об искусстве, о литературе, которая была для них жизнью и мечтой, настоящим и будущим.

Элиона хотела иметь свой салон, обставленный в стиле XVIII

века, и принимать там ультрамодных поэтов и художников. Но по средствам молодоженам оказался только витраж — действительно старинный, который с великим торжеством был водружен на окно их уютной квартирки на улице Беллефон, 35.

Чтобы существовать, Барбюс должен был служить. Что он и делал без особого прилежания. Но череда редакционных дней, не оставляющих времени, не дающих инерции движения к цели, тяготила его. Он не имел смелости прервать ее, он все еще ждал. И обрадовался, когда служба окончилась помимо его вмешательства, по каким-то своим, служебным причинам.

Наконец он все же принял решение целиком отдаться литературной работе и вошел в издательство Пьера Лаффита, невежды в золотых очках, с самовлюбленностью Нарцисса и визгливым голосом базарной торговки. Ежемесячное жалованье Барбюса составляло 1500 франков в год; его новеллы давали ему еще некоторую сумму. Это было очень-очень много, с точки зрения мамы Эмилии, и слишком мало, чтобы вести жизнь парижского литератора.

Печатаясь в «Пти паризьен», он еще не подписывал свои произведения настоящим именем. Один из его псевдонимов… Жан Фролло! Барбюс выбирает имя почти эпизодического героя романа Гюго, героя сочного, яркого, веселого школяра, чья любовь к жизни выражалась самым непринужденным образом.

Какими бы мрачными ни были поэтические мотивы Барбюса, однако ему оказался близким не мрачный Клод Фролло, а плутишка Жан, живущий минутой.

Барбюс все больше отталкивался от мрачной поэтики декаданса. Его горячее, большое сердце открывается для других чувств. Его ум подготовлен для иных раздумий.

Эти раздумья далеки от экономики и политики эпохи. И все же они определяются ими.

Капиталистическая Франция стремительно превращалась в страну империалистическую.

Кровавая слава государства, топчущего народы колоний, которая много лет спустя приведет к позорному итогу Францию де Голля, уже собирается ядовитыми клубами над страной.

Французская буржуазия льнет к могущественному соседу — русскому самодержавию.

Президент Феликс Фор любит изображать демократа, ласкать детей на бульварах. Его видят прогуливающимся по Рю де ля Помп в клетчатых брюках и белых гетрах. Каждый. — пожалуйста! — может подойти и пожать его руку… Феликс Фор едет в Петербург с ответным визитом Николаю II.

Политические сделки правителей Франции не оставались тайной особняков Сен-Жермена. Гнев и ярость стучали в сердца. В зареве стачек и демонстраций наступал последний год века.

В 1898 году Франция жила делом капитана Дрейфуса, клеветнически обвиненного в шпионаже. Дело капитана Дрейфуса стало той лакмусовой бумажкой, которая выявила подлинный цвет Третьей республики, и это был не благородный красный цвет французского знамени, но желтый — цвет предательства и измены интересам народа. Тогда из-под пера Эмиля Золя вышло гневное обращение к президенту: «Я обвиняю». Это был страстный протест против происков реакции.

Барбюс благоговеет перед мужеством Золя, выступившего в защиту Дрейфуса, не только потому, что это выступление было защитой невинного, защитой справедливости вообще, но и потому, что оно было наступлением на силы реакции, создавшей дело Дрейфуса.

Страстный протест Золя против «дрейфусаров», его потрясшее весь мир «Я обвиняю» вошли в жизнь Барбюса вместе с романами «Западня», «Чрево Парижа», «Углекопы».

Безмерное горе и страдания народа открылись ему в романах Золя. Сколько грязи и зла! И какая смелость у писателя!

В 1901 году Золя председательствовал на знаменательном общественном собрании. Жорес говорил о романе Золя «Труд». Как всегда, он воспламенял слушателей жаром убежденности, своим редкостным ораторским даром. Собрание выразило сочувствие русским рабочим и интеллигенции, борющимся с самодержавием.

Именно в это время Барбюс ищет возможности встретиться с великим писателем, «шагнувшим прямо на линию огня», как он напишет о Золя позднее.

Их знакомство состоялось в 1901 году на улице Брюссель, в квартире Золя, которому молодой поэт принес том своих стихов. Барбюсу было в то время двадцать восемь лет. Свидание это запомнилось ему на всю жизнь. Он вспоминал потом, что Золя говорил ему о семье «великих и благородных писателей», и Барбюс добавлял: «Он имел больше прав говорить о них, чем кто бы то ни было».

Творчество Золя было для Барбюса школой. Вереница героев двадцатитомных «Ругон-Маккаров» проходила перед ним, когда он начал писать прозу: новеллы, а затем — роман.

В 1903 году в издательстве «Факел» вышла небольшая книга, ин-фолио.

Первый роман поэта!

Заглавие было туманно. Оно интриговало, намекало на какой-то глубокий смысл: «Умоляющие».

Кое-кто, прочитав заглавие, предвкушал встречу с перепевами известной античной трагедии. Но роман был далек от Эсхила.

«Это психологический и немного романтический этюд о душе молодого человека моего времени», — говорил Барбюс.

Он внес в историю героя романа Максимилиана много автобиографического. Маленькая семья: рано овдовевший мосье Дезанзак, чувствительный и полный забот о сыне; бонна Леонора и мальчик Максимилиан; их тихая жизнь, их скромные радости: прогулки на лодке, маленькие путешествия… Все это так похоже на детские годы самого автора. А юный Максимилиан, «прислушивающийся к своему сердцу», одинокий, мечтательный, несущий правду в самом себе, — не образ ли это юноши Барбюса?

Далее автобиографическое перерастает в обобщенное. Пройдя с Максимилианом его путь, Барбюс стремится найти синтез жизни, собрать воедино воззрения своего поколения.

Первая заповедь героя Барбюса — неверие. Вторая — свобода личности. Третья — милосердие, любовь к людям.

Одиночество в толпе — удел героя. Ни в коллеже, ни среди блестящей парижской молодежи он не был близок ни с кем. Женщины не принесли ему радости. Он не нашел в них святыни любви, которую долго и тщетно искал.

Максимилиан становится свидетелем отвратительных сцен, цинизм в отношении к женщине ранит молодого Дезанзака в той же мере, как и автора.

Когда в поисках истины и добра герой сталкивается с «умоляющими», то есть с сестрами-урсулинками, Максимилиан отталкивает их от себя своим неверием.

Пафос атеизма поднимает эту книгу над другими современными произведениями.

Веяния времени, тональность литературы fin du siècle[8] коснулись и этой прозаической вещи Барбюса. Он с увлечением выписывает эротические картины, наивно полагая, что это и есть истинное подражание Эмилю Золя.

Идеалы автора оставались расплывчатыми. В романе повторялись мотивы безысходности и одиночества. И все же «Умоляющие» написаны не тем юношей, еще ничего не изведавшим в жизни, который стенал и убивался в стихах, а человеком возмужавшим, страстно ищущим пути к справедливости.

Да и сама образная ткань книги становится яснее, строже. Постепенно уходит туманная символика. Ее заменяют вполне реалистические образы, язык утрачивает аморфность. Фразы

чеканные, лаконичные. Ритм повествования несколько замедленный — мало действия, преобладает исследование, но движения души — само действие.

Поль Дезанж, автор популярной во Франции книги о Барбюсе, рассказывает, как он посетил маленькую виллу на Лазурном берегу, где трудился Барбюс. Критик запомнил слова писателя:

«Это моя тенденция… род мании… Я всегда хочу нарисовать нечто осязаемое, чего можно было бы коснуться, сконцентрировать свет на одном лице, обрамленном тенями, глубокими тенями».

Точь-в-точь как на полотнах Эжена Каррьера; Барбюс видел эти полотна, в мастерской художника и очень любил их.

Рисунок первой прозаической книги Барбюса уверенный, четкий. Книга написана талантливой рукой, рукой мастера. Однако чувствуется, что эта книга — трамплин. Автор напряжен, он готовится к прыжку, он уже готов сделать его, этот прыжок, в большую, идейную литературу.

Богемная литературная среда не одобрила романа Барбюса.

Некий литератор Расни, правда, находил его сильным и надеялся даже на присуждение автору Гонкуровской премии. Но книга вышла небольшим тиражом, обширной прессы не получила. Барбюс принял это как должное. Когда ему предлагали подумать о переиздании книги, он отказывался: «Зачем? Я уже далек от нее».

«Далек»? Но где же он?

Не успела просохнуть типографская краска на страницах «Умоляющих», как уже был набросан план новой книги.

Он обдумывал ее, а позднее писал в тихие ночные часы, доставшиеся ему как награда за день, полный забот. Он погружался в стихию творчества, стихию, которой мечтал отдаться целиком.

Часто до рассвета падала его острая угловатая тень на легкую занавеску окна.

Он работал так пять лет, вырывая время для творческих занятий у повседневной журналистской суеты. Служба у Лаффита занимала почти все дневные часы. Барбюс редактировал журнал «Я знаю все». Редактировать по тогдашним понятиям означало, что он «делал» этот журнал почти в одиночку. Изданию, рассчитанному на массового читателя, он пытался придать оригинальность и внести нечто свое в его довольно банальное содержание. Но эти стремления вошли в непримиримое противоречие с жестокими законами тиража.

По улицам сновали миллионы потенциальных читателей. Слонялись мужчины и женщины, руки которых должны были

выхватывать у газетчиков пахнущие типографской краской листы, взгляды которых должны были пожирать газетные полосы.

Барбюс страстно желал, чтобы именно его издания хватали руки, чтобы их искали глаза читателя! Увы! Как разгадать, на что он накинется завтра? И что станет добычей тряпичника, прежде чем будет прочитано?

Как-то Барбюс пожаловался на неудачи своего журнала блестящему и легкомысленному Альфреду Валетту.

— Твое издание называется «Я все знаю»… Вот если б ты назвал его «А я что-то знаю!» — вот тогда парижане атаковали бы киоски! — заметил Валетт.

Барбюс расхохотался. Но ему было невесело: деятельность его в издательстве была напрасной тратой сил.

Он углубился в рукопись нового романа.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

1

Юность века была запятнана преступлениями правителей. Франция золотым дождем наполняла опустевшую казну русского царя. И машина мести заработала с новой силой. В страшное четырехлетие 1905–1909 годов репрессии в России достигли невиданных размеров.

Царь, избивающий рабочих и сажающий за решетку интеллигенцию, предавался сентиментальным воспоминаниям о своем визите в Париж, о картинном следовании эскорта казаков по улице Мира. Красотки бросали цветы с балконов богатых домов, гремела медь оркестров.

Но нельзя было сдержать гнев парижских пролетариев против палачей русских революционеров. В зале Трокадеро бушевал голос Жореса, каждое слово которого звало, как Марсельеза.

И тонкий сарказм Анатоля Франса разил «тщеславного и глупого» человека, стоящего во Главе французского правительства и рискнувшего положить французские деньги «в дырявые кассы грабительской империи».

Бурный рокот событий смутным гулом доходил до улицы Беллефон.

Окно на пятом этаже было освещено всю ночь. И на стекле выделялся абрис характерного лица с резкими линиями носа и подбородка, с прядью прямых волос, падающей на висок.

Новый роман вышел в начале 1908 года в издательстве Альбен Мишель. Его заглавие броско, выпукло, вызывающе: «Ад»! Что это — ад? Действительность? Нет, автор еще не порывает с идеализмом. Вселенная человеческой души остается для него вселенной. Но писатель уже не бродит на вершине. Он спускается в долину жизни. В этой долине кипят человеческие страсти.

…Тридцатилетний мечтатель, одинокий и грустный, останавливается на несколько дней в гостинице. Хозяйка, мадам Лемерсье, проводит его в номер и оставляет одного. Он погружен в свои мысли, рассеян. И вдруг слышит тихий женский смех. Где-то рядом. Совсем близко. Он обнаруживает отверстие в стене. Теперь он не только слышит, но и видит все, что происходит в соседнем номере.

Идут дни. Он смотрит все время меняющийся, феерический и печальный спектакль. Это спектакль жизни. Он размышляет о

том, что разворачивается перед ним. Это любовные свидания и жизненные драмы.

Перед его глазами и банальный адюльтер, и встреча лесбиянок, грубый обман чувств, обнаженный цинизм. Радости первого обладания двух чистых юных существ и изощренные ласки пресыщенных любовников.

Молодого человека увлекает культ тела, он упивается поэзией эротики, он сопереживает вместе с героями радость обладания и поклонения красоте. Его жестоко ранят вульгарная болтовня скопидомки мадам Лемерсье и алчность ее слуг. Он как бы проходит по кругам Дантова ада. И каждому «кругу» соответствует глава, которая воспринимается как завершенная новелла, связанная с другими присутствием незримого свидетеля и его переживаниями. Но он не сторонний наблюдатель: он радуется и страдает, негодует и стыдится, восторгается и рассуждает вместе с обитателями соседнего номера.

Каково же было удивление героя романа, когда однажды в ресторане он подслушал беседу за соседним столом. Одного из собеседников герой романа знал: это был известный писатель Пьер Вилье.

«— О чем ваш будущий роман? — спросили писателя.

— О жизни. Вот сюжет, который я предлагаю, занимательный и правдивый: один человек просверлил стену в номере гостиницы для того, чтобы видеть происходящее в соседней комнате. Он хотел видеть человека, сбросившего с себя покровы обыденности. Другие авторы выдумывают, я хочу правды.

— Это что-то философское, — заключил один из собеседников.

— Может быть, во всяком случае, я не стремился к философским высотам. Слава богу, я писатель, а не мыслитель».

Герой потрясен приближением к его тайне. Но он и доволен. Доволен тем, что увиденные им сцены жизни задели не только его чувства, но и разум, вызвали раздумья о судьбах людей и их будущем. Да, это нечто философское.

В романе «Ад» Барбюс говорит о социальных бедствиях. Самое страшное из них — война.

Свои размышления автор вкладывает в уста двух врачей. Еще многое от биологизма Золя в страстном споре этих двоих. Причины социальных бед они вместе с автором романа ищут не в устройстве капиталистического общества. Барбюс далек еще от того представления о войне, к которому он придет в 1914–1919 годах. Он просто констатирует ужасающую истребительную силу войны. Он знает пока только войны колониальные. Реки крови ни в чем не повинных людей ужасают его. Вот почему и герой

романа, свидетель спора двух медиков, задумывается о расовом изуверстве. Все его существо восстает против национального угнетения.

Поток мыслей рождает у молодого человека история Филиппа, героя одной из глав романа. В пятьдесят два года, стоя на краю могилы, Филипп влюбляется в свою молоденькую воспитанницу Анну. Влюбленный опекун! Старая тема Боккаччо, Мольера, Бомарше. И вдруг она оборачивается своей трагической стороной в романе Барбюса.

Благородный и возвышенный Филипп женится на Анне, чтобы оставить ей состояние. Тяжело больной, он вспоминает большой мир, который ему удалось увидеть. Блистательное Палермо и скромная усадьба в Киеве, утопающая в акациях, лазурное небо Сицилии и пропитанный запахом нефти Баку.

Значит, еще тогда Барбюс думал о России, о Киеве, о Баку? Кто рассказал ему о них, кто заронил в нем интерес к неведомой и далекой стране? И мог ли он предвидеть, что через двадцать лет увидит край, о котором его герой Филипп тоскливо шептал: «Я люблю Баку. Пусть яле увижу больше эту страну. Но я люблю вид этих мощных нефтяных источников и серый, чрезмерно громоздкий пейзаж. Даже лужи грязи, покрытые маслом, образующим на них расцвеченные круги. Широкое небо, обнажающее голубизну. Бесконечные дороги. Их колеи, блестящие, как рельсы. Дома, покрытые черным глянцем… Запах нефти повсюду, вплоть до цветов, бесконечный запах подземного моря…»

Через двадцать лет Барбюс признается в своей горячей любви к Закавказью. Он будет изучать его, он будет о нем писать.

Филипп умер. Герой романа был свидетелем его смерти. Она навеяла мысли о неизбежном конце каждого. Как? Знать, что ты умрешь, превратишься в прах, станешь пищей червей!

Герой Барбюса полон ужаса перед фатальной неизбежностью смерти.

Потеряв мужа, Анна быстро утешается. В той самой комнате, где умер старый идеалист Филипп, герой Барбюса видит Анну и ее любовника. Сцены, полные безудержной чувственности, разыгрываются перед ним.

И вот заключительная тирада героя: «Я видел жизнь, всю, целиком. Я видел трагическое, священное и чистое и счел их в порядке вещей. Я видел постыдное, и я счел его также в порядке вещей. Но зато я был в Царстве Действительности».

И для героя и для автора это критерий ценности книги, смысл ее появления в свет.

Одиночество, печаль, смерть. Сколько раз повторены эти

слова в романе! И все же есть в нем светлое начало, влекущее Барбюса, кружащее ему голову, поглощающее всю его творческую силу. Что смерть и печаль, что безнадежность и отчаяние, когда на свете есть любовь! Ее Барбюс ощущает как высшую человеческую радость, как величайший дар жизни. И это ощущение окрашивает все проходящее перед героем, в какие бы эротические крайности ни выливалось описание.

Лицемеры, чью подноготную подсмотрел герой Барбюса в щель стены, ополчились на автора. Эти ханжи были сродни тем «законникам», которые травили Флобера за «Мадам Бовари» и привлекали к ответственности Мопассана за безнравственность, тем «моралистам», которые били стекла в окнах квартиры автора «Нана».

Поэтому «Ад» получил скандальную славу. Либеральная пресса превозносила его. Официальная — безоговорочно осудила. В бульварных газетах к имени Барбюса присовокупляли эпитеты: «бесчестный», «отвратительный» и даже «сам сатана».

Лай мелких шавок только подчеркивал значительность высказываний титанов литературы.

Истинные ценители нашли в книге Барбюса не только модный пессимизм, типичный для людей, молодость которых, бледная, как растение, лишенное света, дышала затхлым воздухом Третьей республики. В скорбных строках романа прочли подлинное человеческое страдание, душевную боль.

Одинокий романтик, герой книги возбуждал симпатии, его неприятие отвратительной действительности не было ли протестом против нее? Вера в возможности человеческого сердца выражена здесь твердо, ясно. Она пробивается в печальные потемки, окружающие героев. И это делает новый роман Барбюса более оптимистичным, чем его книга «Умоляющие», более человечным и полным скрытой живой силы.

«Вот, наконец, книга о человеке!» — восклицал Анатоль Франс. Морис Метерлинк обратился к Барбюсу со словами признания и восторга: «Мой дорогой поэт, вы не имеете премии Гонкура! Я презираю тех, кто еще не знает ваших произведений… После чтения вашей книги хочется кинуть в великую тишину крик справедливости!»

Барбюс получил премию Гонкура. «Ад» расходился большими тиражами, переиздавался и снова расходился…

Имя Анри Барбюса стало известно Франции. «Отвратительный Барбюс снова выпустил свою ужасную книгу! Берите, хватайте «Ад»!» — кричали продавцы на улицах Парижа.

Книгу в светло-желтой обложке с монограммой в декадентском духе — фирменным знаком издательства Альбен

Мишель — хватали руки мужчин и женщин, молодых и старых.

— Не читали «Ад»?.. Как можно!.. — Среди «интеллектуалов» это считалось непростительной отсталостью.

Толковать об «Аде», вкривь и вкось судить об его авторе стало модой.

— «Адская» слава! — бормотал Барбюс, высокий, нескладный, элегантный, садясь в фиакр, чтобы ехать к Лаффиту.

Слава этой книги, родившись внезапно, так же молниеносно угасла, как все, что не проникает в глубину, в толщу народа. Это была слава вспышки, а не огня.

2

«Ад» не сделал жизнь Барбюса раем. Он должен был по-прежнему отдавать время издательской суете.

И все же многое изменилось. Он стал автором «нашумевшего романа». Пусть этот шум быстро затих, все же о нем теперь говорили: «Тот самый Барбюс». Наиболее существенным результатом этой перемены были поездки в Англию, Швецию и Италию. Барбюс узнал многих собратьев по перу в других странах, они узнали его. Наконец он стал главой Ассоциации сорока пяти.

Это было яркое и шумное явление литературного Парижа. Хотя бы потому, что все сорок пять много шумели о себе и друг о друге.

Сорок пять литераторов противопоставили свою организацию Французской Академии. Молодежь против стариков, задор и смелость против рутины и окостенения — такой смысл крылся за самоуверенными манифестами ассоциации.

Барбюс был признан ее «императором». Не потому, что он был лучшим из сорока пяти, но, вероятно, потому, что был менее «растрепанным» и более четким, в большей мере, чем другие, обладал талантом организатора и той силой притягательности, которая всегда влекла к нему товарищей по перу.

Барбюс разделял иллюзии многих других членов Ассоциации, полагая, что она будет иметь большое общественное значение. Это было наивной мечтой по одной той причине, что в число сорока пяти вошли люди, уже тогда мыслившие по-разному. Нет ничего удивительного в том, что их пути вскоре круто разошлись. В годы, когда утонченный автор декадентских романов Анри де Ренье жил среди образов опоэтизированных им аристократов, Леон Блюм плел сложную паутину политических интриг, прокладывая себе путь в члены правительства.

Для многих примыкавших к сорока пяти Ассоциация была

узкой береговой полоской, с которой они бросались в бурное море политики, то плывя вместе на одной волне, то теряя друг друга из виду.

Поль Бонкур, Андре Тардье, Леон Блюм оставили в истории Франции следы и сходные и отличные. В 1938 году голос Поля Бонкура прозвучал как призыв здравого рассудка против Мюнхенского соглашения, а потом — против доверия бесславному маршалу Петэну.

Андре Тардье — неоднократный глава правительства, оказался в той недоброй упряжке, которая привела Францию к капитуляции перед гитлеровской Германией.

И не сосчитать черных дел Леона Блюма, могильщика испанской революции и мастера антисоветской стряпни…

Много лет спустя Барбюс встретит Леона Блюма, уже главу правительства, в ресторане, случайно.

Целиком поглощенный планами и мыслями о предстоящем мирном конгрессе, инициатором которого он выступал, Барбюс решительно подсаживается к Блюму:

— Почему вы запрещаете социалистам выйти на конгресс вместе с нами? Почему вы ищете маневр и политическую интригу там, где они начисто отсутствуют?

Блюм произносит длинную обтекаемую фразу. При этом у него такое выражение лица, «как у мадонны в церкви, когда у нее чего-нибудь просят». Эти слова героини Барбюса, пожалуй, были вполне применимы к данному случаю. Но эта встреча состоится много позже.

Если судить поверхностно, Барбюс жил хорошо, временами — отлично. Он путешествовал, встречался с друзьями в литературных салонах, был завсегдатаем модных театров, сидел за длинным столом банкетов, в меру веселый и немного печальный. А то, что раскрывалось в его книгах, в его романах, о которых говорил весь Париж: ужас жизни, разочарование, безысходность, — приписывалось моде, и в конце концов к этому привыкли. Привыкли к тому, что известные, процветающие молодые писатели пишут об ужасах жизни, что не мешает им наслаждаться ею.

Барбюс уходит от Лаффита и делается шефом издательства Ашетт. Это не вносит больших перемен в его жизнь.

В эти годы, ведя жизнь светскую, довольно шумную, сопутствуемый удачей и признанием, Барбюс был глубоко одинок. Лучше других понял это биограф Барбюса Анри Герц, который не так уж был с ним близок. И все же он выразил душевное состояние Барбюса с наибольшей полнотой. Он

нарисовал образ человека, который среди парижской литературной сумятицы выглядел «не свыкнувшимся с ней и не могущим быть опьяненным мимолетными хлопками нескольких сотен рук в перчатках».

3

«Сильвия» помогала Барбюсу жить, вернее — ждать. Чего? Он не мог бы ответить. И, во всяком случае, «Сильвия» помогала ему творить. Она была открыта внезапно, в момент наибольшей в ней потребности. Как и полагается настоящему открытию.

Санлис — маленький городок в сорока километрах от Парижа. Барбюс приезжал туда с товарищами. Там ему легко дышалось. Там была вода, тишина, зелень, воля. Последнее время ему не хватало воздуха в Париже.

Это случилось в одну из таких поездок. Он оставил друзей на берегу и углубился в лес. Он так глубоко задумался, что ему показалось: он шел с закрытыми глазами. И когда открыл их, оказался на повороте незнакомой деревенской улицы перед домиком с изгородью, одетой старым плющом. Это был Омон, это была вилла, которую назовут «Сильвия».

Место манило и обещало, как речная излучина. Не успев еще подумать, для чего это ему нужно, он толкнул калитку. Она подалась легко, словно приглашала следовать дальше. Внутренний дворик был полон вьющихся глициний, анемонов, зелени и тишины. Тишина стояла удивительная. Ему показалось, что он попал в спящее царство. Несомненно, где-то здесь спала столетним сном заколдованная принцесса. А в глубине дворика в старом колодце жил водяной…

Откуда-то, как будто из самой стены, выступил маленький старичок с блестящими глазами.

— Вы хотите посмотреть виллу? — спросил он скрипучим голосом Полишинеля.

Барбюс посмотрел. Он уже видел себя среди этого покоя, со своими рукописями и книгами.

— Сколько? — Ему назвали цену, и перед ним встало новое видение: пустыня его банковского счета.

Все же Барбюс купил «виллу». Ее назвали «Сильвией» в честь героини Жерара де Нерваля.

«Сильвия» вошла в жизнь Барбюса прочно. На долгие годы. Она стала его приютом, его домом, открытым для друзей, как вольтеровский Ферней.

Со свойственной ему способностью внезапно загораться какой-нибудь мыслью Барбюс принялся за устройство «Сильвии».

И все время в Париже над ним витал образ дома на повороте деревенской улицы. Легкая дымка таинственности, окружавшая его, не снималась даже прозаическим объявлением «Продается» на калитке.

В этот период, когда «Сильвию» приводили в должный, по представлениям Барбюса, вид, даже на рукописях можно было найти сделанные его рукой чертежи — эскизы мебели и ее расстановки в четырех скромных комнатах деревенского дома.

И каждую субботу Барбюс погружался в хлопоты, безмерно радовавшие его.

Барбюсы привезли сюда свой знаменитый витраж. Они его любили: он был первым приобретением в их молодом хозяйстве.

Через много лет, в один жаркий июльский день, в живописном местечке, красота которого воспринималась еще острее рядом с разрушениями, принесенными войной, около церкви, на земле Барбюс увидит расписные оконные стекла, разбитые вдребезги, и вспомнит свой витраж.

«Меня даже в дрожь бросило», — признается он в письме к жене.

Но даже в страшных снах видения жестокого мира, который поглотит его в будущем, не омрачали чудесных дней «Сильвии».

Здесь было все, что он любил. Здесь цвели голубые глицинии; в холодке под крыльцом, положив большую голову на лапы, лежал пес Волк. Барбюс сам мыл его и чистил скребницей, словно коня.

Стены были украшены эскизами театральных декораций Бакста и японскими пейзажами: темная зелень пиний на желтом камне стен. И корешки любимых книг пестрели на низких полках вдоль стен.

Сюда уходил он от безвкусицы «конца века». Все здесь, в Омоне, выглядело слегка старомодно. Прохожие приветствовали друг друга любезно и многословно. О жителях знали всю подноготную.

Но и здесь, в затишье, Барбюс чутко слушал шум мира. Он ловил его жадно и недоуменно, как некогда шум моря в раковинах с зазубренными краями.

4

В это лето, необыкновенно жаркое, с сильными ливнями, в ароматы буйно поднявшихся трав вплеталось неуловимое веяние тлена.

Мир, поделенный между крупнейшими странами капитала, дышал предчувствием войны. Германия бряцала оружием. Россия

зарилась на Дарданеллы. Правые французские газеты ратовали за возврат Эльзаса и Лотарингии. В пивных Берлина и Мюнхена молодые люди с воинственно поднятыми кончиками усов стреляли из мелкокалиберных ружей монтекристо по мишеням, изображавшим Марианну. Кайзер Вильгельм музицировал, писал пейзажи маслом и участвовал в любительских спектаклях. Все об этом говорили. Все восхищались разносторонними талантами монарха. Никто не говорил о его длительных ночных совещаниях с генеральным штабом. В Европе дамы носили платья цвета крови, узкие внизу, как штаны кирасира, и шляпы-токи, напоминающие каску французского пехотинца.

Как всегда, впереди армии агрессоров через границы ползли шпионы и террористы. Национализм поднял змеиную голову, с отвратительным шелестом развернул свои кольца, готовясь смертельно ужалить.

И удар был нанесен. О нем кричали траурные заголовки газет. И под зловещую барабанную дробь деревенские глашатаи возвестили французам горестную весть: убит Жорес!

Это злодейство потрясло Францию. «Доброго великана» знали все. Его портреты висели в домах миллионов французов. Дом в Пасси, где он жил, почитался, как святыня. Все слышали его речи, полные огня, все видели его большое красивое лицо, его бороду, разметавшуюся на широкой груди. И внимали трубному голосу, взывающему к братству людей.

Кто в эти дни мог предвидеть чудовищный приговор французского суда, через пять лет вынесшего оправдательный вердикт убийце Жореса!

1 августа 1914 года в комнате со спущенными в защиту от дневного жара жалюзи сидели мужчина и женщина — муж и жена.

Они обменялись словами, которые в этот самый день и час произносились в тысячах других домов тысячами других мужчин и женщин.

— Что ты будешь делать? — спросила она.

— Буду добиваться отправки на позиции, — ответил он.

Она ждала именно этого. Она боялась именно этого.

Вот он стоит, слишком высокий для этой комнаты, слишком спокойный для этого момента. И она не может его удержать.

Она еще не знает своего будущего. Она не знает, что Париж, орущий, галдящий, плачущий, поющий Марсельезу, выкрикивающий: «В Берлин!», выплескивается к Северному вокзалу. На платформах пьют вино, закусывая сыром, чокаются, кричат, поют. И среди всего этого шума все же слышен нежный шепот невест и тихий плач матерей.

Она не знает еще томительных ночей, когда над городом повисает, словно гигантская рыба, немецкий цеппелин, ужасая своей неподвижностью и неуязвимостью. Она не знает, что потянутся длинные дни, и месяцы, и годы. И все более смутно будет ей видеться его лицо, его нежная и грустная улыбка. И будут приходить письма, спокойные и страшные, горькие и добрые, день за днем, неделя за неделей…

«…С какой тоской я думал о тебе во время этого яростного стального дождя, когда ежесекундно мне казалось: ну, сейчас конец!»; «…Дорогое мое сердечко! Пишу наспех, так как готовимся к выступлению»; «…Дорогая моя детка, пишу тебе, сидя на снарядном ящике»; «…Милая, любимая крошка. Я — в окопах»; «…Неделя выдалась жаркая»; «…У полка много потерь…»

Она ничего не знает. Она стоит, дрожащая, растерянная, у открытого окна, на фоне солнечной улицы, наполненной зноем и барабанной дробью.

Через девятнадцать лет будет написана книга «Золя», одна из многих удивительных книг, оставленных миру Барбюсом.

В ней есть глава о войне. Барбюс заканчивает ее лирически. Он думает о том, что сказал бы «мужественный Сезанн», верный и нелицеприятный друг Золя, слушая его рассуждения о войне:

«Он, вероятно, сказал бы:

— Скажи-ка, Эмиль, если ты уж горячишься во имя отечества и войны, почему же ты во время последней вел себя так, как ты себя вел? Вместо того чтобы отправиться в Бордо и заняться там главным образом урегулированием собственных делишек, здоровый парень, тридцати лет, каким ты был тогда, должен был бы отложить в сторону свои очки и отправиться под знамена, а не предоставлять другим, менее убежденным, чем ты, выполнение этой трудной обязанности, которая, по-твоему, есть обязанность мудрых».

Барбюс имел право на эти строки. Он поступил именно так. Когда на деревенской улице пробил барабан, он «отложил в сторону свои очки» и отправился «под знамена». Сорокалетний человек, эстет, признанный литератор, утонченный обитатель «Сильвии».

Но был ли он в этот момент убежден, что именно эти знамена лучшие? Что они реют над армией, несущей справедливость и братство?

Так или иначе, он должен был разделить с народом его судьбу.

5

В это самое время один из продажных писак, сотрудник дрянной парижской газетенки, метался по Парижу. Он не хотел идти на войну. Да боже мой! Почему он должен гнить в окопах, а то и сложить голову и быть съеденным червями? Но, будучи здоровенным верзилой, трудно избежать общей участи. В одну из бессонных ночей, обливаясь холодным потом при мысли о предстоящих испытаниях, он вдруг увидел себя в военной форме и со знаком отличия, — с перепугу он не разобрал, с каким именно.

Это зрелище, напугавшее его, вместе с тем имело великую притягательную силу. Его мысль с изворотливостью ящерицы немедленно устремилась в щель между страхом и честолюбием. Он загорелся желанием стать героем, не совершая геройства. Он вспомнил, что как-то на скачках в Шантильи познакомился с видным чиновником интендантского управления.

Он устремился к своему приятелю. Оказалось, что тот выехал в действующую армию, приняв пост чуть ли не главного интенданта фронта. Слова «действующая армия», «фронт» оказали на «героя» гипнотизирующее действие. Используя свои журналистские возможности, он установил, что «фронт», на котором «воюет» его приятель, находится всего лишь в Альби. Узнав об этом, он купил пару светлых краг и кожаную куртку. Это был, пожалуй, слишком теплый наряд для сентября, зато он придавал настоящий фронтовой вид. Кроме того, «храбрец» был готов к испытаниям уже сейчас.

Прибыв на место, он узнал, что здесь готовится парад. Кругом только и говорили о параде, все были заняты только им.

По улицам беспрерывно маршировали солдаты, и казалось, что в природе существуют только два цвета: синий и красный.

Несмотря на то, что все только начиналось, здесь тоже был свой быт, свой тотализатор и, конечно же, риск.

Вылощенные офицеры в кремовых перчатках, и даже с моноклями, муштровали солдат на базарной площади. Трудно было представить себе, что они поведут людей в атаку или даже просто разделят с ними жизнь в окопах.

Каждый час, проведенный в этом городе, центре скопления войск, убеждал в том, что человек, окопавшийся в тылу, окажется далеко не в одиночестве.

Ободренный этой мыслью, наш герой снова бросился на поиски своего интенданта. Он застал его в обществе мэра города и его помощников, с которыми обсуждалась материальная сторона предстоящего парада. Из их разговора можно было

понять, что это начинание влетит отцам города в копейку.

Куртка и краги возымели свое действие: интендант увидел, что его приятель исполнен патриотических стремлений. Он пообещал ему скромное место в одной из канцелярий, где перо журналиста оказалось необходимым при составлении ведомостей на выдачу ботинок и носков.

— Из вашей писательской братии, — интендант плохо разбирался в литературной иерархии, — здесь есть еще один из заправил… из издательства Ашетт… Ну, такой длинный, как ручка метлы… Еще у него была книга: не то «Приятельницы», не то «Подательницы»…

Можно было не пояснять дальше: Барбюс здесь!.. Как?! Этот сноб, завсегдатай театральных премьер и модных выставок, баловень фортуны, зять Короля Поэтов, муж одной из красивейших женщин Парижа… Его забрили, этого счастливчика, и, конечно, он поспешил окопаться подальше от немецких снарядов. Еще бы! Грязь окопов не для него!..

Интендант между тем продолжал сообщать новости с пунктуальностью кладовщика, отсчитывающего солдатские пуговицы:

— Вы можете себе представить… Этот немолодой мужчина, совсем не силач, уверяю вас, потребовал отправить его с маршевой ротой на передовые позиции… — Он уловил жест собеседника, но неправильно его истолковал:

— Вы хотите с ним повидаться? Боюсь, что уже поздно: двести тридцать первый пехотный полк должен был выступить ночью…

Нет, нет, «храбрец» не имел желания встретиться с немолодым пехотинцем, совсем не силачом.

Он очень хорошо помнил Барбюса, этого счастливчика, который играючи выщипывал перья у жар-птицы Успеха, в то время как ему доставался лишь банальный каплун. Помнил, как Барбюс, утомленный и всегда немного печальный, сидел за столом, безучастный к своей славе, к своему успеху, к своим поклонникам. Думающий о чем-то, ищущий чего-то. Чего? Что он нашел в окопах? Что он мог найти, кроме грязи, вшей и темного люда, среди которого он сам, несомненно, уже погас, как спичка, брошенная в лужу.

Что заставило его прийти на позиции, стремиться туда?.. Он все знал о Барбюсе. Но ничего не понимал. И это беспокоило, как беспокоит все непонятное.

Нужно было слишком многое знать, чтобы понять существо перемены в сознании Барбюса.

Война сыграла в жизни Барбюса решающую роль. Как трибун и революционный писатель, он родился в ее огне. Но в окопы он пришел сорокалетним, и нельзя отмести все, созданное им за долгие годы творческой жизни до войны, все, что он делал, что он пытался делать.

Его взгляды на искусство менялись. Чуткость к правде и опыт жизни, как бегущая вода, размывали непрочную основу заблуждений, которые в юности казались глыбой мировоззрения.

Барбюс ищет. Как в детской игре: прячется какой-нибудь предмет, и один из играющих его ищет. Он не знает, где спрятана вещь, но ему дают понять, приближается он к ней или удаляется, возгласами: «Холодно», «Тепло», «Горячо». Следуя им, он находит спрятанное. Барбюс приближается к истине, к пониманию социальной природы вещей. Внутренний голос художника, опыт жизни твердят ему: «Тепло!», «Еще теплей!», «Горячо!»

Барбюс ищущий яснее всего выразил себя в новеллах, появлявшихся в печати одновременно с романами и в начале 1914 года вышедших отдельной книгой под необычным названием: «Мы — иные». Сборник этот — итог довоенного творчества Барбюса.

Мучительно стремясь подойти ближе к жизни людей обыкновенных, которых мы видим ежедневно проходящими мимо со своей ношей забот, разочарований, со своими радостями, он создает эти новеллы, и каждая открывает человеческую душу.

То, что Барбюс сам написал о своем «Аде», в еще большей мере можно отнести к новеллам сборника:

«Я всегда придавал значение проявлениям чувства. Только через сердце каждый себя утверждает и развивается. Тут только утверждается истинная индивидуальность каждого. Я пошел далеко в своем предпочтении чувств внешнему деянию и абстрактному понятию».

«Через сердце» и раскрывается мир людей, населяющих новеллы «Мы — иные». Каждая из новелл представляет собой как бы замкнутую раковину со своей красотой, изяществом контуров, со своим шумом, легким, почти неуловимым, но напоминающим шум моря.

В самой символике названия раскрывается сложность человеческой натуры; человека делают «иным» «Судьба» (так назван первый раздел сборника), «Безумие любви» (второй раздел) и «Сострадание» (третий раздел).

Он мог бы сделать смотр своим героям. Шеренга была бы ровной, как линейка. Это был бы строй людей скромных, как

принято говорить, «маленьких», рядовых. Жизнь их не блещет красками, в ней мало радости, но когда она встречается, они способны отдаться ей целиком.

Над незаметным, тихим героем возвышается громада буржуазного общества с его институтами, условностями, классовой зависимостью. Нависает над ними и фатальная неизбежность. Для автора еще очень много значит это понятие — судьба, рок. Таков облик времени. Почти вся литература тех лет была проникнута чертами фатализма, завладевшего писателями еще со времен великого Флобера. И Барбюс отдал дань времени и его идеологическим увлечениям. Время все губит, все стирает, неумолим его быстрый бег. Об этом в различных сюжетных вариациях рассказано в новеллах: «Поколения», «Старик», «Сторож».

Тщетны попытки человека создать иллюзию неизменности. Какая-нибудь деталь, случай, событие напомнят о фатальном круговороте жизни.

Эту истину постигла молоденькая девушка Ноэми, возвратившаяся из монастыря в родной дом. Она отсутствовала шесть лет. Монахини в Амьене учили: «Все меняется, стирается». Она читала господ Шатобриана и Ламартина, которые «с такими звучными ухищрениями» пространно вещали о текучести времени.

Она дома. Сестры, братья — вся семейная группа в тех же позах, что и шесть лет назад, сидит за чайным столом. Не лгали ли книги и сестры монахини? В доме все по-старому, ничто не изменилось.

Но вот на дорожке сада показался пес Фридо, он еле волочит лапы от старости. И Ноэми все поняла.

«Да, приговоренный к этому раньше, пес Фридо пророчески оберегает нас, ветреных молодых людей. Он подтверждает, что правы прекрасные книги и печально-важные друзья, когда они предупреждают нас о трагическом непостоянстве жизни».

И опять возникает мысль: как же пессимистичен Барбюс, сколько в нем отчаяния перед непреодолимым, неизбежным! Но неожиданно одна новелла вступает в спор с другой, и уже ощущаются противоречия Барбюса. Темперамент искателя, творческая и жизненная активность не позволяют ему углубиться в эту унылую философию. Он не поддается ей. Он начинает иронизировать и над собой и над своими героями.

В новелле «Сказка» старенькие Поль и Каролина внезапно пробудились от долголетней мещанской жизненной спячки. Они вдруг вспомнили о своей молодости и обоюдных изменах. То, что свершилось когда-то, сорок-пятьдесят лет назад, кажется им

сказкой. Оно погребено под спудом времени. Вернуть его невозможно, даже разбудить воспоминание о счастье трудно. Иронической, едкой репликой Барбюс клеймит тех, кто поддается страху перед временем, кто становится игрушкой в его руках. Поль и Каролина, прозрев, с ужасом убедились в том, что они спят, «спят двадцать лет подряд… так и спят, сперва ночью, а потом и днем».

Глупо и бездарно проспать жизнь, поддаться ее течению только потому, что знаешь: конец у всех один. Нет! Этого не может принять Барбюс, и хотя он еще барахтается в путах фатализма, стремление вырваться из плена велико. Не ждать конца! Жить полной жизнью! Использовать всемерно великий дар жизни. Нельзя всецело предаться отчаянию.

Не правы те, кто утверждал, что книга новелл Барбюса самая пессимистическая, самая безнадежная и горькая из всех его книг!

Герои Барбюса относятся к смерти по-разному: сильные ее не боятся, слабые — ужасаются, но стараются не думать о ней.

Барбюс призывает: «Цените жизнь, любите ее, в ней есть много чудесного!» Дорожить настоящим — это значит творить действительность. И автор активно отстаивает эту мысль, свое кредо.

Лицом к лицу столкнулись две жизненные философии в новелле «Настоящее» («La présence»). Одна — это гимн полнокровной жизни, поклонение минуте, настоящему, пусть оно и недолговечно, другая — жажда пусть пресного, но долгого существования. Кто победит, на чьей стороне правда?

Мадам Луи признается своей приятельнице Берте в зоологической потребности жить во что бы то ни стало, какими бы тусклыми, серыми ни были ее дни. В молодости она любила человека, ставшего впоследствии знаменитым художником. История сама по себе банальная. Он уехал из родного города в Париж завоевывать славу и забыл ее. Она вышла замуж за первого встречного, и теперь о прежней любви напоминает только памятник, воздвигнутый в честь знаменитого земляка на площади родного города.

Ослепительно блестящая, но короткая жизнь художника и рутинное долговечное бытие мадам Луи и ее мужа. Что дороже героине?

«Он умер, а мой, другой, тот, который никогда его не стоил, — он жив, он жив. Мы живем! Он далеко не гений. Он даже не понимает, что такое слава. Он почти ничтожество, но он здесь — я осязаю его. Наша общая жизнь лишена очарования; она под сурдинку, слепая; она бесплодна; она все, что хотите, но она — жизнь. Мы живем, мы продолжаем жить, мы творим

действительность. Я не вычеркнута из списков живых».

Маленькая мадам Луи — родная сестра старика антиквара из «Шагреневой кожи» Бальзака, который предпочел отдать шагреневую кожу безумцу, готовому прожечь жизнь в одно мгновение, а себе оставил величайшую из драгоценностей — богиню Жизнь.

На чьей же стороне автор? Конечно, он подсмеивается и над молодящейся старушкой Луи и над ее дряхлым, падающим от дуновения ветра мужем — над обладателями «чудесного сокровища» — жизни, ее «жрецами».

Новелла заканчивается символом, гимном минуте, настоящему:

«Бесцветный закат расстилался повсюду, покрывая все прежние закаты, сиявшие миру, господствуя над ними, потому что это был сегодняшний, последний закат. Сквозь пыльные тучи, сквозь колючий ветер, на сырость черепиц, на грязь мостовой сиял сегодняшний вечер — подлинный вечер вечеров; и конец этого тусклого зимнего дня горел на вершине столетий».

Однотонный пейзаж провинциального городского вечера опоэтизирован величественной одой мгновению, настоящему. Он дается как декорация тусклой жизни мадам Луи, которая по-своему, по-обывательски счастлива. Но это счастье слабых. Барбюс готов разделить судьбу своего собрата по корпорации художников, прожившего свой «вечер вечеров», свою маленькую, но блистательную жизнь.

Итак, человек счастлив тем, что живет мгновением. Как же примирить эту истину, вынесенную Барбюсом из массы впечатлений, с его болью за человечество, с его сочувствием «униженным?! оскорбленным»? Ведь человек, ловящий миг счастья, всегда эгоист. В герое же своем Барбюс открывает «иное», то, что приподнимает его над себялюбием обывателя.

В новеллах еще уживаются эти крайние воззрения. Как и все раннее творчество Барбюса, они противоречивы. Но на первое место выдвигается любовь к человеку. И особенно больно сердцу писателя, что жизнь его маленького героя так неустроена.

Еще не пришло время выносить приговор миру социальных отношений. Еще нет политического облика лиц, выведенных в новеллах. Еще едва намечено их социальное лицо. Вот почему частные, бытовые, семейные катастрофы преобладают в сюжетах новелл. Но нельзя не задуматься над тем, что вызывало эти катастрофы. Создатель маленьких новелл, похожих на капли драгоценной влаги, отразившие большой мир, еще не дошел до коренного вопроса. Но уже напрашивается решение. Та жизнь, которую ведут его герои в буржуазном обществе, плохо устроена.

Гибель беззащитных туземцев, уничтоженных колониальной армией («Крест»), красноречиво говорит об ужасах капитализма.

А новелла «Одиннадцатый»? Разве не приговор буржуазной филантропии звучит в философском подтексте этого маленького, вместившего большую мысль рассказа?

«Первого числа каждого месяца роскошный госпиталь-дворец становился райским прибежищем для десяти бродяг. Одна из его наружных дверей открывалась, чтобы впустить первых десять подошедших, кто бы они ни были…» Герою рассказа поручено впускать десять человек. Только десять. «Мой помощник должен был броситься вперед, чтобы отбить натиск и установить какой-нибудь порядок в толпе у дверей госпиталя, в которой все они переплетались, цепляясь друг за друга».

С щемящей тоской вглядывается герой в каждого *одиннадцатого*, в того, кто не попал в «рай». И каждый раз одиннадцатый кажется ему достойнейшим. «Меня стала мучить мысль о возмутительной несправедливости, в которой я принимаю участие. Я не выдержал этой повторности преступления. Я пошел к профессору и упросил его дать мне другую работу».

Этот рассказ очень «барбюсовский». Он сам, автор, был мучим судьбой «одиннадцатых», но не мог, не хотел «уйти от повторности преступления», предоставив ему повторяться. Назрела необходимость найти свое место, вмешаться в этот «порядок», участвовать в его изменении.

Мысль об ужасах и несправедливости капиталистического мира, выраженная в ранних произведениях подчас абстрактно-символически, облекается живой плотью в новеллах «Мы — иные».

Много бессмысленных страданий испытывает человек на войне. Один из эпизодов болгаро-турецкой битвы показался Барбюсу симптоматичным. Ему рассказали об этом страшном случае очевидцы. И вот родилась одна из жемчужин цикла: «Злюка-луна», трагический рассказ о том, как ожесточили солдат холод, грязь, окопная жизнь и как зло подшутила над ними луна. Она зашла за тучу, и в темноте македонцы и болгары убивают друг друга «случайно, вслепую, ощупью, друг друга не узнав, не зная, что они друг друга любят, не понимая, что они братья, как это всегда бывает на войне».

Еще далеко до «Огня», еще идет середина 1914 года, а Барбюс уже полон ненависти к войнам. Мысль, выраженная в последней строке «Злюки-луны», — знаменательное обобщение. Это предвестник большой темы, которой Барбюс отдаст всю свою последующую жизнь и которая сделает его имя известным всему

миру. Но пока еще в этой фразе — «как это всегда бывает на войне» — мы слышим признание пацифиста. Многое еще предстоит пройти Барбюсу, чтобы понять: разными бывают войны.

И в довоенные годы для Барбюса не было ничего дороже маленького человека, того самого «обывателя и массовика», о котором позднее скажет В. И. Ленин, прочитав «Огонь» и «Ясность». Казалось бы, можно присоединить и Барбюса к «попюлистам», ратоборцам литературной благотворительности, течения бескрылого, бесцветного, псевдонатуралистического. Позднее, в книге «Золя», Барбюс по достоинству оценит эту группу, отвергнет их позицию буржуазной филантропии, высмеет их приторные речи о «бедненьком» народе.

Но и в четырнадцатом году Барбюс возвышался над ними. Он не принижает маленького человека, а воспевает его, придает его мыслям и переживаниям высокое, философское звучание.

И хотя в сборнике новелл еще можно встретить путаные философские высказывания, тяготение автора к идеалистическим системам восточных мудрецов, важно одно: никакие заблуждения не мешали ему всю боль сердца отдавать обиженным, бесправным, угнетенным.

Уже в первый период творчества книги Барбюса пылали любовью к человечеству. В человеке Барбюс «любил любовь». Ее он пел в своих стихах, анализировал в «Аде», свято верил в нее.

В сборнике «Мы — иные» уже нет картин разнузданной чувственности «Ада». Краски мягче, приглушеннее, любовь более благородна и возвышенна.

…Маленькая испанка Гамазита рассказывает подружке о «чуде» любви прекрасной дамы к ее брату Немечио. Обе девочки горячо заинтересованы любовной историей, они предчувствуют свое будущее, они улавливают отблеск страстей, ждущих их… «Они подставляют свои маленькие тельца, как гроздья, тому солнцу, на котором созревает девическое сердце и девическая плоть, солнцу чувственной любви». В этих юных существах открылось что-то для будущего. Они уже «иные».

В новелле «Их путь» двое любящих, муж и жена, двое простых людей, работающих на фабрике, поглощены только своим чувством. Любовь для них выше всего окружающего. Два существа, «до безумия слитые друг с другом», неразделимы настолько, что их нерасторжимость воспринимается как абстракция. Страсть вознесла их высоко над миром мещанских предрассудков и низменных стремлений.

Однажды разразилось несчастье. Сгорел их дом, и кумушки, собравшиеся на пепелище, злорадно ждут выражения горя этих двоих, непонятных, не похожих на окружающих.

И происходит еще более непонятное, чем поведение супругов до сих пор. «Двое понесших утрату, беседуя, шли к месту своей потери и ничего не видели, хотя были совсем близко… Они приближались, приближались… И вот они вскинули головы, поглядели перед собой… Но и на этот раз они ничего не заметили. Муж и жена прошли между кучками пепла, не удостоив их внимания. Они продолжали свое шествие, даже не взглянув себе под ноги. Да, конечно, они прошли: значит, они ничего не заметили».

Так, почти символически, Барбюс утверждает величие чувства, поднимающего людей над повседневностью.

Барбюс шел по жизни, все время что-то открывая для себя. Он пытливо вглядывался в жизнь и людей, обогащался и складывал в потаенный ларец крупицы опыта, чтобы потом щедро отдать людям его сокровища. И герои Барбюса, поставленные автором часто в исключительные положения, вдруг сталкиваются с чем-то новым, с открытием. И тогда им кажется: до сих пор они были слепы, но пробил час, и они прозрели.

Позднее все богатства души будут приходить к героям Барбюса в итоге внезапного прозрения. Эта тема «ясности» намечалась уже в новеллах. Для тюремного надзирателя («Плохой сторож») понятия добра и зла не расчленены до тех пор, пока он смотрит на заключенных глазами закона, глазами капиталистической государственности. Но, перенеся тяжелое нервное потрясение, он вдруг стал смотреть на них глазами Человека. Наступило просветление, и ему открылось добро.

И автора ждет такое же внезапное прозрение, ему еще предстоит сделать самое большое открытие. На пороге его он стоит летом 1914 года.

У каждого писателя есть своя творческая высота. Высота Барбюса-художника — мастерство новеллиста. Какую бы форму повествования ни избирал Барбюс, всегда выделяются законченные, лаконичные новеллистические куски. Даже главы его романов, как правило, это новеллы, отмеченные всеми чертами высокой культуры этого жанра. Самое привлекательное в их форме, классическая симметрия, пропорциональность, завершенность. Определенность контуров, скупая точность описаний, выразительность характеристик, законченность композиции. Как бы отлита из одного куска металла, может быть, лучшая новелла сборника — «Саар».

«Саар был великолепный экземпляр крупных северных борзых… Глаза у него были свирепые. Днем они отливали черным янтарем, а с наступлением ночи сверкали самыми изысканными

оттенками сапфира. Он скакал кругом лошади, которая неслась вскачь: птицам от него было только одно спасение — вспорхнуть прямо к небу, а прыгал он так легко, с такой непринужденной свободой, что, казалось, сама земля пружинится, подбрасывая его на воздух».

Но в форме иных новелл можно уловить черты декаданса. Писателя еще привлекает игра сюжетами, красками, психологическими нюансами. Каждая новелла сборника и по сюжету и по теме истинная новинка (nouvelle). Автор поворачивает сюжет то одной, то другой стороной, решает тему и так и этак: создает парные новеллы; рассказ становится понятным только в сравнении с себе подобным («Каменный человек» — «Неподвижность», «Белые нитки» — «Справедливость», «Поколения» — «Старик», «Одиннадцатый» — «Кличка», «Три безумные женщины» — «Сказка»).

Создавая такие сюжетные эксперименты, Барбюс, однако, далек от нарочитого эстетства, он не просто забавляется, не играет в новизну формы. Неожиданный поворот сюжета нужен ему для того, чтобы человек предстал во всей своей сложности, чтобы мы поняли, какими мы бываем «иными». Так раскрывается символика названия сборника.

Автор не отказывается от приема отстранения, любит контрасты, охотно использует гротеск.

Выбирая героя из массы, Барбюс часто не называет его по имени. Мы даже не знаем, как зовут того пытливого и сострадающего человека, который в романе «Ад» узнавал подноготную жизни и размышлял о ней.

Игнорируя собственные имена, автор подчеркивает, что его герой один из многих. Это в духе той концепции маленького, но не примитивного человека, какой подчинено все предвоенное творчество писателя. Оставляя без имени героев новелл «Их путь», «Похоронный марш», Барбюс не утрачивает интереса к личности. Он исследует индивидуальное в человеке с большой пристальностью; вот почему в новеллах столько неожиданных психологических нюансов.

Уже в те годы Барбюс тяготеет к обобщениям, к символике. Это пристрастие вылилось в концовках, которые завершают новеллы, как рондо в музыке.

И эти обобщения подчас полны большого философского и социального смысла. В них звучит пророчество, ослепительным светом пробивающееся сквозь мрак, пессимизм, печаль…

«Придет день, и сердца наши набухнут одинаковым пониманием и щедрых и скудных жизней. Благословляю грядущее. Оно лучше настоящего».

Но и эта книга, «Мы — иные», которой Барбюс отдал много сердечного жара, не была для него делом жизни.

Им владело недовольство написанным. Чтобы вздуть огонь, нужен ветер. В его книгах не было ветра. В них был воздух, но не было движения его.

ЧАСТЬ II
АВАНПОСТЫ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

1

Итак, считал ли Барбюс, что пошел сражаться за правое дело? Как многие другие, шагавшие рядом с ним, падавшие рядом с ним? Да, он так считал.

Позже его вера разобьется об острые камни действительности, как и вера других, шагающих и падающих рядом с ним. Тогда наступит прозрение. Он будет часто произносить это слово. Позже он найдет другое, более спокойное, более обещающее, несущее надежду, это слово — «ясность».

Но в самом начале… В самом начале он еще слеп. Он находит высшую справедливость в том, что почти вся. Европа поднялась против Германии. Он убежден, что немцы будут разгромлены. И он считает это справедливым.

Противоречит ли это тому, что он писал о войнах в «Аде», в новеллах? Нет! Он думает, что эта война последняя, что ее итогом будет «низвержение агрессора», как сказали бы в наше время.

Что сможет разуверить его? Только правда, которую ему предстоит увидеть, ощупать собственными руками и принять в свое сердце. Но это впереди.

Пока он слеп. Он пишет письмо жене, свое первое письмо после того, как он вновь надел солдатскую форму.

Странное чувство овладело им, когда он увидел себя в зеркале кафе. Это было в Альби, маленьком городке, где он второй раз в жизни принял солдатское обличье. И удивительно: стоило ему только натянуть военное обмундирование — не так легко его было подыскать на такой рост! — и вот ему уже кажется, что он снова в Компьене и снова молод! И только что впервые надел синий мундир и красные штаны. А между тем прошло двадцать лет с того памятного дня.

Этот костюм не связывал его. Наоборот, он словно сбросил с плеч груз годов, годов, туго, как сумка новобранца, набитых впечатлениями, событиями, трудами. Нелегкий груз. Тем ощутительнее казалось освобождение. Да, он словно освободился от чего-то. От чего? От каких-то казавшихся необходимыми условностей, от ноши сомнений и анализа, от необходимости делать выбор, избирать пути. Теперь он целиком зависел от приказа начальства. Как другие. Как все. Солдат Барбюс. Среди других солдат.

В кафе с маленькими столиками, такими маленькими, что он не может раздвинуть локти и пишет, держа их на весу, и с большими зеркалами, отражающими великолепие его солдатского облика, он сочиняет письмо жене.

Оно обстоятельно, полно подробностей. В нем много красок: розовый кирпич собора, сине-красная солдатская шеренга, коричневато-серые стволы старых деревьев.

Он видит город в сочетании цветов темно-розового и рыжего, как охра. А дома с плоскими крышами из крупных пунцовых черепиц напоминают ему дома Италии.

Он успокаивающе сообщает, что их часть, вероятно, не пошлют на фронт. Он отпивает глоток вина — ему приходится протянуть за фужером свою длинную руку на соседний столик, — на минуту задумывается и добавляет: «или пошлют не скоро». Это кажется ему недостаточно убедительным: он хорошо знает свою жену, — появляется следующая строка:…«и притом в окопы второй линии».

Между тем только несколько часов назад он выдержал баталию в канцелярии призывного пункта. Его хотели оставить в нестроевой части — он добился зачисления в подразделение, отправляющееся на позиции.

И сейчас он приближается к фронту… Несмотря на то, что сидит в этом почти роскошном альбийском кафе.

Но где-то в недрах генерального штаба разработан план. Во исполнение его уже летят указания фронтам. И вот с высот главного командования приказ спускается в низы дивизионных штабов, еще ниже — в чистилище полка и, наконец, в преисподнюю батальона. И тут наступает его очередь, очередь солдата Барбюса. Того самого, который отражается в зеркалах и пишет за маленьким столиком свое — последнее из тыла — письмо жене…

Проходит только двадцать четыре часа. И он уже в движении. В движении к позициям. Краски теперь другие. Только черная и белая, как у Мазерееля. Черная земля, растоптанная тысячами солдатских башмаков, и белый иней на деревьях и крышах. Черные обозы, бесконечно тянущиеся вдоль белых пашен. И даже облачка разрывающихся снарядов в небе: белые — свои, черные — немцев.

Долго эти однообразные черно-белые тона будут сопутствовать ему, и только изредка розовый восход или карминовая улыбка заката войдут в них отрадным световым пятном.

Многокилометровый переход с полной выкладкой — мучительная вещь. И все же Барбюс воспринимает эти краски и

удивительный, чем-то напоминающий запах свежего хлеба воздух снежных просторов. Да, все же просторов, несмотря на то, что здесь скопилось множество войск.

Он воспринимает подробности обстановки, внешнюю сторону декорации трагедии, которая разыгрывается ежечасно. Он еще не проник в ее суть, не принимает ее целиком. Она рассыпается на множество отдельных историй, каждая из них драматична по-своему. Каждая трогательна и поучительна, иногда наивна, иногда смешна. Все они глубоко человечны.

Мир простых людей окружает его, поглощает его, наполняет его. Он не наблюдает, он даже не сопереживает, он действует вместе со всеми, как все. Именно поэтому его наблюдения так богаты, переживания так сложны.

Но все еще впереди. Пока он живет впечатлениями, полученными мимоходом. Декорации меняются часто, и все же они ужасающе однообразны на переднем крае, который обозначился в этой войне очень четко. Позиционная война еще не изжила себя.

Война траншей, война окопов имела свой быт, своих тружеников и героев, поэтов, остряков и философов. Большая часть их жизни проходит под землей, или, вернее, в земле. Такова особенность позиционной войны. Ее солдаты главным образом землекопы. Они укрываются в земле при бомбардировке, земля служит им подушкой и опорой, ложем для уставшего тела, бруствером для оружия, банкетом для стрельбы. Едва передвинувшись, армия вновь зарывается в землю, чем глубже, тем лучше! В обычные «нормальные» дни, если можно вообще называть нормальным это чудовищное существование все время на краю жизни, солдат спит, питается и передвигается под землей: в землянках, в траншеях, в ходах сообщения. В результате успешной атаки он овладевает вражескими траншеями, такими же подземными владениями, как его собственные.

Окопная война. Такою она предстала перед Барбюсом осенью 1914 года. Неудивительно, что прежде всего он увидел ее подземное царство. Он не устает описывать в письмах к жене подземные улицы, «такие узкие, что края ранца, фляга, сумка и рукава задевают стенки». Он не раз возвращается к описанию то темного и сырого грота, то черных галерей и подземных залов, по которым солдаты бродят словно призраки.

Надо испытать весь ужас огневых налетов артиллерии, ощутить всю беззащитность тела, распростертого на земле, каждой своей частицей стремящегося вжаться в нее, срастись с нею, жадно прикрыться каждым бугорком, чтобы написать слова, понятные и близкие пехотинцу всех войн и поколений: «Потом

опять копаем, роем, и постепенно вырисовывается углубление… И как приятно, что ров мало-помалу становится глубже и можно спрятаться в землю».

Барбюс был в пехоте. Ему стоило больших усилий добиться отправки на передовую линию. Но в конце концов он оказался на позициях. Здесь рождалось товарищество, узы которого были сильнее всех человеческих связей. В это братство вошел Барбюс. Он вошел в него без предвзятой мысли. Не затем, чтобы возвыситься в глазах людей или хотя бы в своих собственных. Не затем, чтобы наблюдать жизнь, а затем, чтобы самому жить ею. Он получил сполна все, что полагалось на долю солдата, всю меру страданий физических и нравственных, испытаний страхом, холодом, голодом, изнурением, потерями на каждом шагу.

Но он узнал и другое: сплоченность людей перед лицом смерти, мужскую дружбу, не украшенную лишними словами и заверениями, безмерную выносливость и оптимизм народа.

Народ на войне! — эту книгу он прочтет от первой до последней страницы, прежде чем создаст свою собственную: «Дневник одного взвода», как он ее назовет, подчеркнув этим ее верность правде жизни.

Вероятно, он не думал о книге, когда писал жене или набрасывал свои заметки в окопах при свете огарка, прилепленного к донышку разбитой бутылки или воткнутого в горбушку хлеба; прижимая бумагу ржавым затвором немецкой винтовки; в землянке, накат которой содрогался от воздушной волны фугасных снарядов; в хлеву, на соломенной подстилке, под изрешеченными пулями балками, между которыми видно небо, угрожающее далеким гулом невидимых немецких аэропланов; в палатке полевого госпиталя, под стоны и крики, возгласы отчаяния, надежды, страна, безумия.

И если он даже не думал тогда о книге, она была уже в нем. Поиск всей его прежней жизни не был напрасным. Находит тот, кто ищет. Он искал всегда. Все, что он теперь видел, входило в него, как нож входит в масло: легко, но рассекая ткани. Будущая книга входила в него, с болью разрывая ткани сердца.

Он свалился в окопную жизнь, словно камень в воду: сразу и — на самое дно! В траншеи Артуа и Пикардии. В бои на равнинах Эны и на улицах Альбен-Сен-Назара. И он уже не хотел уйти из нового мира, он стал в нем своим, он подчинился его законам.

Он выполнял приказы командования, рискуя головой, как того требовали приказы. Он получал благодарности по бригаде, по армии. Его наградили крестом.

Он так прирос сердцем, всем своим существом к людям, окружающим его, что никакая сила не могла оторвать его от них.

Он заболел, его отозвали из действующей части. Он чувствовал сам, что сил для атак, для боя уже нет. Но у него не было силы и оставить своих товарищей. Братьев. Комбаттанов. Он стал просить, чтобы его включили в ротную команду носильщиков-санитаров.

Три раза он заболевал. Трижды его отправляли в тыл, трижды он возвращался на позиции. И опять его длинная тощая фигура возвышалась над бруствером окопа. И опять ему добродушно кричали: «Пригни голову ты, колокольня, а то тебя изрешетят!», «Ходячая каланча!», «Эйфелева башня в драной шинели!» И опять он слышал на привалах: «Подбери свои оглобли!», «Смотри, всю солому подгреб под себя, как барон!»

Он возвращался в безумие атак и напряжение ночных дозоров, в изматывающую тишину последних перед наступлением минут и грохот артиллерийских налетов, в мертвенный свет ракет и кромешную тьму «крысиных дворцов».

Он снова возникал в лабиринтах колючей проволоки, поливаемый пулеметным огнем, оглушенный разрывом фугасок, ослепленный жидким пламенем огнеметов.

Он возвращался, чтобы слышать команды: «Все к амбразурам!», «Гранатометчики, вперед!», «Пальба залпами! Цельсь!.. Огонь!..» И, чтобы повиноваться им.

Он всегда возвращался. Вечный правофланговый. Солдат первого разряда Анри Барбюс.

Простые чувства человека на войне! Чувства, роднящие его с тысячами других, для которых война это прежде всего работа. Он познал их.

Потом он назовет солдат «пролетариями битв». Да, они все здесь таковы, разные люди из разных мест: виноделы, лодочники, хлебопашцы, рабочие, мелкие служащие. Они все радуются, когда их голова уже не торчит над бруствером, когда отрыт новый окоп и можно выпустить лопату из натруженных рук. Но вот раздается команда, и они выскакивают из сомнительного убежища, чтобы ринуться в огонь.

Он вовсе не думает о той силе, которая заставляет их все это делать, живет вместе с ними и делает то же, что они.

Его отличает от остальных только одно: он пишет свои письма быстрее, чем его товарищ Медар, который часами сопит, вздыхает и мусолит огрызок карандаша.

2

Ночь под новый, 1915 год Барбюс провел в дозоре. В бойницы, вырезанные в верхней части бруствера, можно было

видеть овраг, засыпанный снегом, косяк леса и дальше — равнину. На заснеженных склонах кое-где росли невысокие елки, слегка присыпанные снегом. Украшенная елками и еще звездой над самой кромкой леса, эта ночь, несмотря ни на что, была нарядной, как и полагалось новогодней ночи.

По ту сторону оврага зарылись в землю немцы. Так же, как здесь, — французы. Оттуда не доносилось ни звука, не показывалось ни вспышки, ни единое облачко разрыва не пятнало неба. Между позициями лежала в мирном свете луны мирная полоса земли, созданная, казалось, лишь затем, чтобы дать пищу невысоким елям с голыми ветвями на подветренной стороне и рыжевато-бурой траве, стелющейся по склону, чуть присоленному снегом.

Вместе с тем тишина эта ощущалась как непрочная, зыбкая, готовая ежесекундно взорваться выстрелом, криками, отвратительным визгом шрапнели или уханьем крупнокалиберного снаряда.

Когда долго стоишь в таком напряжении, держа палец на спусковом крючке винтовки, начинает всюду мерещиться опасность. Какие-то тени, то соединяясь, то дробясь, передвигаются в глубине долины. Гранатометчики? Немецкий патруль? Нет, просто свои саперы ставят там новый ряд проволочных заграждений. Глаза напряженно всматриваются в темноту; ухо улавливает какие-то дальние шорохи.

Нервное напряжение, холод, пробирающий до костей, и удивительная тишина ночи вдруг пронизываются, словно порывом теплого ветра, мыслью о жене. Барбюс представляет себе ее в Омоне, в «Сильвии», тихом убежище, где с ними всегда были мир и счастье. Так проходит новогодняя ночь, первая новогодняя ночь на войне, проходит без особых событий.

И новый год начинается с отдыха, отдыха в деревне, по-настоящему. Полк отводят в тыл, а это сулит получение посылок и писем, что является во фронтовой жизни событием, номер один.

Тележка с брезентовым верхом, показавшаяся на опушке, выманивает всех на улицу. А важно сидящий в ней почтарь в этот момент главнее самого главного генерала!

Большинство посылок имеют чисто символическое значение: люди в тылу бедствуют, еле сводят концы с концами семьи тружеников, лишившиеся кормильца. Это вызывает привкус горечи и делает еще значительнее поток чувств и воспоминаний.

Пожалуй, никогда так ярко не выступает своеобразие характеров, как в этот момент. Только что они все походили друг на друга: на марше, в окопах, даже в бою. Сейчас каждый получил свою долю радости или огорчений, сбросил на короткое время

ярмо забот или еще глубже погрузился в уныние. Толстый, несмотря на то, что всегда голодает, крестьянин из Прованса, по прозвищу «Пузан», морщится и крякает над письмом жены. Все знают, что речь идет опять об ущербе в хозяйстве: только материальные нехватки способны вызвать у него такую скорбь.

Маленький солдат, которого зовут «Всезнайка», потому что он первый, как сорока на хвосте, приносит все новости, сияет: у него молодая жена; вот еще одно письмо — следовательно, она его помнит! А ведь за ней утрепывали лучшие парни села!

Большой коренастый Жером один спокоен, его крупные руки держат листок бумаги крепко, словно лопату или молот.

— Слава богу, мы с братишкой уже не сироты, у нас есть мама, — произносит он, потирает лысину и снова обеими руками берет листок, — наш отец женился.

Хохот окружающих оставляет его спокойным.

— А велик ли братишка-то? — спрашивает кто-то сквозь смех.

— Сорок четыре стукнуло. Он на два года старше меня. Чего ржете, жеребцы стоялые? — вдруг спохватывается Жером.

В этом же январе 1915 года Барбюс участвовал в первом большом бою и в отступлении на правом берегу Эны. Это был тот самый бой, после которого его произвели в солдаты первого разряда. Барбюс выполнил боевое задание в битве на улицах Круи, которую неприятель поливал сильным пулеметным огнем.

Все началось так.

11 января 1915 года солдат 231-го пехотного полка Анри Барбюс спал как убитый на краю большой воронки. Он спал, пренебрегая холодом, с сумкой вместо подушки под головой. Кепи его было пробито пулей ночью, когда их взвод доставлял деревянные рогатки, обтянутые колючей проволокой, за линию окопов.

Измученные этим ночным переходом с тяжелыми, громоздкими сооружениями, которые они тащили на спине все вверх, все вверх, на гребень холма, под свистом пуль, солдаты спали, повалившись где попало.

В четыре часа ночи их разбудила команда: «В ружье!» Началось сражение, которое длилось около двух суток. Оно шло в Круи по всем канонам уличного боя. Французы укрывались за баррикадами, ведя огонь по наступающим немецким частям. Немцы выбили их из деревенской улицы, и бой продолжался на баррикадах за околицей.

Наибольший урон французам наносил пулеметный огонь. Взвод, в котором был Барбюс, теряя людей, продолжал отбиваться. Надо было подавить пулеметную точку в конце

длинной улицы, несколько подымавшейся в гору. Этот незначительный уклон давал возможность немцам вести губительный огонь по защитникам баррикады.

Барбюс никогда никому потом не рассказывал о происшедшем в Круи. Он выполнял приказ начальства. И все. Захлебнувшись, умолк пулемет, только что сразивший половину взвода, с которым Барбюс шел с первого своего часа на фронте.

Через три дня всю дивизию, изрядно потрепанную, отвели в тыл. Барбюс пишет короткое письмо. Оно короче других его писем. Оно стремительно, оно полно жизненных сил: «Замечательное дело: я чувствую себя прекрасно…» Оно полно облегчения: «У-ух! Теперь кончено, нас отвели в тыл…» В нем есть слова, по которым можно судить о пережитом: «…Уши у нас оглохли от пальбы..», «бывали трудные минуты…» Это всегда «мы». Он пережил то, что пережили другие. «У полка много потерь, но он отмечен в приказе по армии за прекрасные действия, а меня собираются произвести в солдаты первого разряда за выполнение задания, представлявшего некоторую опасность».

Через две недели после этого боя, на стоянке в Виньоле, он снова писал жене. Это была стоянка «на отдых», а не на «очередь в окопах». Значит, можно было растянуться на соломе, завернувшись в одеяло. Он так и пишет, лежа на животе, вытянув свои длинные ноги и не обращая внимания на то, что кто-то, споткнувшись о них, громко ругается.

И он снова пишет о бое в Круи: «В нашем взводе выбыла из строя половина состава…»

Он вспоминает все. Картина живет в нем. Он описывает «улицу, перерезанную заграждениями из камней, разрушенные дома, продырявленные снарядами и пулями», вереницы раненых… Он готов рассказать и дальше… Он еще полон смятеньем тех минут. Что-то мешает ему, он заканчивает письмо: «Когда-нибудь в другой раз я расскажу тебе разнообразные перипетии боя в Круи». Когда-нибудь… «Кончится же когда-нибудь война», — он, не сознавая того, мысленно повторяет эту фразу, он ее слышит каждый день то от одного, то от другого. «… Я в конечном счете выбрался… вполне благополучно, — мне повезло», — заключает он.

Через полгода об эпизоде в Круи будет упомянуто снова в связи с получением отличия за спасение раненых. Барбюс объясняет жене, что «в казенной бумаге» отметили спасение им раненых «по соображениям злободневности»; «настоящая причина отличия другая: главным образом оно основано на том, что раньше, при других обстоятельствах, в Эне во время атаки я

собрал под огнем товарищей по взводу». «…Некоторую роль сыграло тут и задание, выполненное мною в бою на улице Круи, которую поливал пулемет, но за это, как я писал тебе, меня произвели в солдаты первого разряда».

Вот и все, что стало известно о действиях солдата Барбюса в бою на улице Круи.

Зимой 1915 года он уже имел вид бывалого солдата: шинель его изорвалась, штаны превратились в лохмотья, обувь как будто впитала в себя грязь и глину. Самое ценное его имущество, зажигалка, было потеряно вместе с сумкой в бою. Последнее, пожалуй, наибольшее его огорчение в данный момент.

Все остальное вовсе не так плохо, потому что рота снова была отведена на отдых. Из всех возможных случаев «стоянки на отдых» этот был наиболее благоприятный. В деревне, где расположилась их часть, не все жители эвакуировались. И — что было уже исключительным везением — под постой была занята настоящая кухня с очагом, в котором сейчас весело трещали поленья — самый приятный звук для уха фронтовика. Огонь такой разнообразный: губит, но и спасает. Тепло разливается по телу. И сейчас, когда он и его товарищи поели, их сморило. Побросав котелки куда попало, они свалились на солому и уже сквозь сон обмениваются ласковыми ругательствами. И теперь он мог подумать. Мог окинуть взглядом пройденный путь… Это всегда — опасности. Их ждали не только от немцев, но и от своих: то и дело попадали под свой же огонь.

Начиная от взвода и кончая армиями — всюду царила неразбериха, хаос. Вероятно, это и была стихия войны.

И теперь — тишина деревни, изморозь на стеклах, старушка хозяйка, кофе…

Его письмо домой, как всегда, обстоятельно, это скорее дневник, страница которого улетает от него раньше, чем начата новая.

Вероятно, он напрасно пишет жене обо всем, обо всей грязи, о всем ужасе. Но это для него единственная отдушина. И он не хочет, чтобы все, что он видел, ушло просто так.

Он пишет эти плотные, грубые, весомые строки. От них пахнет потом, соль его выступает из строк, кровь сочится из них.

Он обращает к ней, далекой, нежность, рожденную в окопах, никогда не покидавшую его. Скитающуюся с ним под землей, в норах, в грязи. Никогда не проявляющую себя слишком громко, а разве только легким вздохом. Такой легкий, он все же слышен среди орудийного грома.

Он спрашивает, как она одета. И просит не тратиться на посылки. У него нет уверенности в ее благополучии. Жалкое

военное пособие и пятьсот франков от общества литераторов? У нее нет денег даже на метро. Кто мог подумать, что этот транспорт станет роскошью для его жены? Они всегда жили нерасчетливо, не думая о завтрашнем дне. Жалеет ли он об этом? Нет! Он думает только о ней.

Исписав своим мелким почерком несколько страниц, он засыпает, ощущая крепкий запах аммиака, принесенный в дом вместе с соломой. И еще запах ваксы от ботинок Жерома, который храпит рядом. Ботинки стоят у его изголовья. Аккуратный Жером при первой возможности начищает их до блеска. Зато, когда приходит час их надевать, — это целая драма! Если бы не мелочи: начищенные ботинки, привязанность к драной кошке, уцелевшей в покинутой жителями деревне и теперь льнущей к людям, споры из-за того, кому идти за водой, переживания по поводу пропажи коробка спичек, — можно было бы умереть от тоски. Люди, только что пришедшие с последней черты между жизнью и смертью, суетятся вокруг бачка с пищей, долго и тщательно разглядывают, правильно ли пришита пуговица, судачат о достоинствах хозяйской дочки.

И это занимает большое место в жизни, мелочи военного быта сейчас важнее, чем все, оставленное там, дома, по ту сторону, на том берегу, тихом и тенистом. Получая письмо от жены, он старается вообразить ее рядом с собой, воспроизвести ее облик. Его забавляет представлять их обоих рядом. Ее — в обычном виде, его — в этих лохмотьях; ох, и смеялась бы она! Или заплакала бы…

Он думает о своей комнате, о своем рабочем столе. О своих книгах. В такой далекой дали… А вот очаг, и храпящий Жером, и его начищенные ботинки — рядом. Это реальность, и она дороже всего.

Эти мысли сменяются другими, несколько неожиданными: как, в сущности, приятен запах ваксы, запах чистоты!

И звук льющейся где-то в доме воды, — вероятно, хозяйка наливает воду в кофейник, — удивительно домашний, уютный.

В большой кухне, где они спят вповалку, полутемно, свеча потушена, хотя еще совсем рано. Но так приятен этот отдых при свете очага. Кто открывает дверь в сени?.. «Эй ты, сучье вымя! — кричит из угла Пузан. — Не видишь, что здесь спят люди?..» Но это сама хозяйка. Она входит медлительная и благостная в своей черной косынке, с постным лицом деревенской моралистки.

Она несет лампу, прикрывая ее рукой, и старческая рука выглядит такой нежной и милой от того, что через нее проходит свет. Позади идет какой-то человек, закутанный, как будто собрался с Амундсеном на полюс. Он идет со склоненной

головой, словно на похоронах. Они проходят в соседнюю комнату, которая служит парадной «залой» в доме. Интересно, что это за птица? Впрочем, что Барбюсу до него? Он спит. И ему плевать на все. Он уже видит сон. Нет, это Всезнайка толкает его в бок.

На этот раз он, видимо, узнал что-то особенное, необыкновенное.

— Послушай, ты помнишь Этьена, ну, маленького Этьена, который сел на горячую печку в Сен-Медаре?..

Да, господи, ну кто же его не помнит? И именно из-за случая с печкой. Все просто обхохотались, глядя, как бедный парень взвился с криком: «Горю!» И подумать только, сколько было смеху, хотя только что пришли с позиций, а в проклятом сарае негде было не то что лечь, а даже сесть! И жрать было нечего.

Этьен! Бледный, низкорослый юноша! Никто не сказал бы, что он достиг призывного возраста. Просто птенчик!..

Всезнайка прямо-таки заходится от воспоминаний. Пузан прерывает его:

— Что ты тарахтишь про Этьена? Неделю назад от него остались клочья шинели и медная пряжка от пояса. Снаряд оторвал ему начисто голову, а взрывная волна доделала остальное… Ну, и о чем теперь разговор?

— Тсс! Дело в том, что приехал его отец.

— Чей отец? Чей отец? — громовым голосом вопрошает Жером, просыпаясь. Он всегда просыпается так сразу и всегда с вопросом, если даже ему не о чем спрашивать. Но он все-таки находит, что спросить. Хотя бы, идет ли на улице дождь.

Как будто, если он идет, их не погонят обратно в окопы впредь до наступления хорошей погоды.

— Тише… Старик получил похоронку и прикатил из Парижа. Он хочет послушать про сына. Про его геройство… И все такое. Поняли вы, барабанные шкуры?

— А где же взять-подать ему геройство? — зевая, спрашивает Жером. — Парень был трусливее зайчонка… — Он собирается опять завалиться на боковую.

— Погоди, — Всезнайка дергает его за ногу, рискуя получить хороший пинок, — старику написали: «Геройски пал…» Вот он и прикатил.

— Пустой старикашка! — гремит Жером. — Я хочу спать!

Перебранка их подымает спящих. Все сначала ругаются, потом начинают вспоминать малютку Этьена. Это тот, что сел на горячую печку? В Сен-Медаре? Ну да… Хороший парень. Его разнесло фугаской. Неделю назад. На высоте 130.

— Так как же быть с геройством? — шепчет Всезнайка. Он выглядит так, словно у него нет других забот.

— Не пойму, чего ты добиваешься? — уже спокойно говорит Жером и начинает набивать трубку.

— Осторожно ты, кочерыжка! — кричит Пузан. — Тут солома. Это тебе не твоя кузня, где ты дымишь, как хочешь.

— Сразу видно мужика! — миролюбиво замечает Жером. — Плевал я на твою солому.

Всезнайка кричит:

— Да перестаньте вы, наконец, браниться! Если бы вы слышали старика, у вас бы тоже перевернулось нутро!

— Оно у нас и так переворачивается на дню по десять раз! Чего ты хочешь?

— Посмотрите на него сами, черти толстомордые!

Кое-кто перебарывает лень и тащится к двери, смотрит в щель. В «зале», небольшой комнате, где по стенам развешаны фотографии родственников хозяйки, страшный холод. Из экономии топится только в кухне.

За столом сидят старушка и гость. Бог знает каким образом рядом с ними оказался Луи Молчальник. Нельзя было придумать более неподходящую кандидатуру для получения каких-либо сведений. Вопросы разбиваются о его молчание, как об стену.

Старик, видимо, потерял всякую надежду что-либо узнать, у него убитый вид. Молчальник басит, как из пустой бочки:

— Жаркое было дело. Вот его и того…

Дальше этого беседа не идет.

Жером возвращается от двери к своему ложу, где солома еще хранит форму его мощного тела. Он натягивает свои великолепные, начищенные ботинки и расправляет усы, поднятые кончиками кверху, свои непатриотические усы, потому что они точь-в-точь как у кайзера Вильгельма. С этими усами и в блестящих ботинках он выглядит роскошно, словно витрина с бульвара Пуассоньер.

Он застегивается на все пуговицы и делает знак, словно желая сказать: «Смотрите только, что сейчас будет!», — и открывает дверь в «залу».

Если бы президент господин Пуанкаре появился в этой комнате под фотографиями родственников, в бедном свете керосиновой лампы, стоящей на столе, его появление не произвело бы такого эффекта.

Старушка закудахтала, распираемая сочувствием к папаше и восхищением бравым Жеромом, а Молчальник на радостях выговорил сразу четыре слова с паузами после каждого:

— Вот. Он. Все. Скажет.

Жером отвешивает поклон. Он садится, торжественный, словно на молебне. И все слушают, как вдохновенно врет Жером.

— Можно думать, что он был не кузнецом, а священником по крайней мере, — шепчет за дверью Всезнайка.

— Не говори. Торговцу тоже нужен ораторский талант, чтобы расхваливать свой товар, — замечает Пузан.

Жером ничего не слышит. Он изливается в воспоминаниях. Он вспоминает то, чего не было. Он описывает подвиги храбреца. Он рассказывает, как пуля «сразила отважного Этьена и он упал, словно стебелек травы под косой».

— Да, папаша, черт побери, все завидовали такой геройской смерти!

…Идет дождь. Старик уезжает. Он сидит на подводе, в нее впряжен какой-то скелет, кожа да кости, — разве это лошадь? Пузан ходит около и вздыхает.

— Обыкновенный конь военного образца, — замечает Жером.

Жером здесь самый главный… Старик обнимает его на прощанье и тычется трясущейся головой в его мощную грудь. Жером распространяет роскошный запах ваксы, он имеет элегантный — в окопном понимании — вид даже под дождем. Он подсаживает старика на подводу.

Все машут вслед шапками, кепи, а Пузан, который боится простудить голову, — какой-то рваной тряпкой.

— Спрячьте ваши кружева, мосье, — говорит Жером, — они пригодятся вам на следующем балу.

Барбюс стоит у окна, он наблюдает эту картину: ни дать ни взять прощанье родственников на деревенской улице. Он не может поручиться, нет, он вовсе не уверен в этом… Но ему кажется, что он узнал в старике своего давнего знакомого, собачника с улицы Аббатов.

Если это он, действительно он, то надо признать: жизнь и беды порядком изменили его. Почти до неузнаваемости.

Видимо, черты мальчика, его сына, тоже было трудно угадать в облике солдата Этьена. И все же неизмеримо легче, чем узнать солдата Этьена в том, что от него осталось на высоте 130.

3

Ночь была такой темной, что едва можно было видеть свои руки. Работали на ощупь. Укрепляли проволочные заграждения перед линией траншей. А проклятые колья прямо-таки вырывались из рук во тьме, так круто замешанной, что, казалось, с трудом можно протиснуться через нее. Разве это работа для строевой роты? Где же эти собаки из рабочих команд? Боятся высунуть нос из деревни? Дрыхнут в овинах, как фон-бароны. Дело строевых солдат — окапываться и стрелять, стрелять и

окапываться. А не путаться в проволочных полях, жалящих, словно крапивные заросли.

Но даже ругаться можно было только про себя, что, как известно, не дает никакой разрядки. Не могло быть и речи о том, чтобы запалить трубку. Неприятель, как уверял сержант, только того и ждет.

Черт его знает почему, но если бы сержант и не твердил об этом, они бы все равно почувствовали близость бошей. Они здесь, совсем близко. Притаились и ждут. Ждут, чтобы кто-нибудь выругался или запалил трубку.

Кто-то потянул Барбюса за полу шинели. Это Гюи, щупленький человечек с вечным насморком. Всегда у него под носом висит капля, как электрическая лампочка. «Эй, посвети сюда, сопливый!» — кричат ему со всех сторон. Но он не обижается.

Что ему надо? Он показывает жестами: давай отползем. Они отползают в сторону.

— Смотри, — шепчет Пои.

Теперь, когда они столько времени крутились в кромешной тьме, она уже не кажется непроницаемой. Контуры покосившихся столбов с обрывками проводов, бугры засохшей грязи, засыпанный фашинами ров — все выступает смутно, приблизительно, скорее угадывается. Просто уже знаешь наизусть вечный пейзаж войны!..

— Послушай, Барбюс, тебе ничего не кажется?

Что ему должно казаться? Все же он всматривается, он ощупывает глазами пространство впереди. Ничего не видно, однако он уверен, что там идет какое-то движение, что-то перемещается, что-то ползет, и так как не может быть ничего другого, то ясно, что это боши.

Надо предупредить товарищей. Не сговариваясь, они ползут обратно. Минута замешательства, неизбежный возглас, хотя очень тихий, но его достаточно, чтобы открыть огонь. Теперь каждый думает только о том, чтобы боши не обошли их с тыла. Почему же, черт подери, они не стреляют?

На войне все неожиданно. Ждешь выстрела, или удара ножом, или вспышки гранаты. Но вместо этого долетают только звуки человеческого голоса. Голоса человека, у которого зубы стучат от страха или волнения и все поджилки трясутся, — это ясно слышно в совсем уже близком шепоте:

— Камрад! Не стреляй! Мы эльзасцы!..

Если бы кто и хотел выстрелить, то не мог бы, такое изумление охватило всех. Оно ледяным ознобом пробрало французов, прямо-таки до костей.

Это были боши. И вместе с тем как будто и нет. Ведь нельзя себе представить, чтобы боши говорили на чистейшем французском языке и больше всего боялись, чтобы их не услышали в немецких окопах.

Потом еще много будет таких встреч, и не раз они услышат тихий возглас: «Мы эльзасцы!..» Но эти двое были первыми. И что-то изменилось оттого, что двое в немецких шинелях были тут среди них. И что они ползли рядом, безмолвные, слабые, навстречу неизвестности, навстречу своей новой судьбе.

Никому из французов не хотелось думать, какою будет эта судьба.

Теперь, что ни говори, получалось, что они захватили пленных. Или что-то в этом роде. Никто из них не рассмотрел толком своих «пленников». На них коршуном налетел сержант, и, подгоняемые его энергичной командой, «боши» скрылись в глубине хода сообщения.

Были ли такие встречи, эпизоды, разговоры пищей для огня, сжигавшего Барбюса? Не утвердился ли Барбюс в мыслях, посещавших его уже раньше, не собрал ли он по крупицам правду, которая сейчас лежала перед ним во всем своем величии и простоте? Может быть, найти эту правду ему помогло имя, хорошо известное по ту и по эту сторону фронта?

И, может быть, оно даст Барбюсу ту силу убеждения, с которой он вскоре скажет устами капрала Бертрана: «Есть человек, который возвысился над войной; в его мужестве бессмертная красота и величие… Либкнехт!»

Не потому ли и образ Бертрана возвышается над всеми другими героями книги «Огонь»? Именно ему приданы автором символические, обобщающие черты глашатая и пророка. И об этом сказано ясно, недвусмысленно: «В эту минуту он являл мне образ людей, воплощающих высокое нравственное начало, имеющих силу преодолеть все случайное и в урагане событий стать выше своей эпохи».

Через несколько лет в парижской квартире Барбюса между двумя бывшими фронтовиками, товарищами по борьбе за мир, основателями Союза комбаттанов, произойдет такой разговор:

— Как ты пришел к истине? К протесту? К социализму? — спросит Поль Вайян-Кутюрье, коммунист, депутат, партийный функционер.

Барбюс глубоко затянется. Выпустит серое облако дыма, окутавшее обоих. Задумается.

— Видишь ли… — скажет он, и лицо его примет знакомое Вайяну выражение, словно что-то давно пережитое и дорогое ему

возникло в сером облаке дыма. — Видишь ли, у каждого Данте был свой Виргилий.

ГЛАВА ВТОРАЯ

1

Шел 1916 год. Третий год великой бойни во имя интересов господина Капитала.

Угар шовинизма кружил головы. Во Франции — сильнее, чем где бы то ни было. Скрипели перья наемных трубадуров войны, призывавших к ее продолжению до победного конца.

В это время в швейцарской деревне Кинталь конференция социалистов обсуждала судьбы мира. Двенадцать делегатов, руководимых Лениным, положили начало подлинному интернациональному движению рабочих. Это были истоки могучей реки.

Против большой лжи восставала великая правда. Глашатаи ее были отважны, голоса их раздавались далеко и будили многих. Когда в славной стае зашумят сильные крылья автора «Огня», это будет ощутимо. К Барбюсу потянутся люди, настроенные на ту же волну, смывающую фанатическое опьянение войной. Они откроют массам опасность топкого болота, в котором шовинистические кулики пронзительно провозглашают непогрешимость своего отечества.

В марте 1916 года в окрестностях Парижа зашумели весенние ливни. Вдоль деревенской улицы бешено неслись потоки. Косые струи били по стеклам окон размашисто, во всю силу весеннего ветра, а в верхнем этаже было слышно, как суетливо и напористо стучал дождь по черепице крыши. Ветер гудел в трубе, но это не был суровый голос зимней вьюги. Шли добрые мартовские дожди, обещавшие щедрое лето.

В доме пахло дымком печей, затопленных впервые после долгого отсутствия хозяйки.

«Мадам Барбюс уже здесь», — говорили люди, увидев открытые ставни «Сильвии» и дым, низко стелющийся над ее покатой крышей.

«И в такую погоду!»

«Бедняжка не находит себе места. Небось здесь ей легче, чем в Париже, ждать. Сам-то ушел отсюда», — толковали женщины.

Этой весной все ждали. Может быть, потому, что весной легче ждать.

Зима все-таки кончилась. Трудная военная зима 1916 года с ее необычными холодами, нехваткой угля, дороговизной

припасов. Старики не помнили таких морозов, дивились невиданному ледяному покрову Сены. Она кончилась, зима, длинная и тоскливая, как бесконечное женское вязанье для солдат.

Все ждали, хотя ничто не изменилось в мире. Война продолжалась, изматывающая, требующая все новых жертв. Солдатские отпуска прекратились. Письма с позиций, заклейменные черной тушью военной цензуры, словно траурной каймой, стали короче и обыденнее. Всюду говорили о том, что готовится решающее наступление союзников.

К Восточному вокзалу, оцепленному сине-черными шеренгами полицейских, подходили санитарные поезда и отводились на запасные пути. Их разгружали ночью: вид пораженных огнеметами, изуродованных людей был слишком ужасен. Тяжелые запахи йода, хлора и запекшейся крови разносились далеко.

Говорили об очерствении и загрубелости молодых мужчин, вернувшихся с позиций. Говорившие не замечали собственной тупой бесчувственности к страданиям.

И все же ранняя весна несла дуновение надежды.

Одинокая женщина упорно возвращала жизнь в опустевший дом. Мирный свет лампы разогнал тени по углам, и растянувшийся у порога пес показывал всем своим видом, что не забыл привычное место.

Она ничего не изменила в комнате мужа. Все еще она ждала его, он писал ей об отпуске, который вот-вот должен получить. Потом пришло известие о запрещении отпусков. И опять — о том, что он все же надеется.

Ей действительно было легче ждать здесь, в Омоне, в этом доме, где два года тому назад они услышали барабанный бой и голос деревенского глашатая, возвестивший страшную перемену в их жизни, в жизни всей Франции.

Здесь ей казалось, что она ближе к мужу. И особенно в его кабинете, сохранившем свой характер, свою атмосферу. Ящики комода, набитые бумагами. Рукописи на столе и секретере. Папки, полные черновиков. Пишущая машинка в футляре. Его книги, его рисунки.

Война вырвала его из стихии творчества, из мира образов, которые роились здесь над ним бессонными ночами. Она видела его голову, склоненную над столом, освещенную лампой, его руку с папиросой, прядь волос, падающую на висок. Но все это смутно, расплывчато, как фотографический снимок не в фокусе. Глухо и невнятно слышался ей шелест страниц, скрип пера, и вот он осторожно, чтобы не разбудить ее, открывает окно и несколько

минут слушает тишину деревенской улицы.

Будет ли это все опять? Вернется ли он к своей работе? Придет ли он полным творческих сил или опустошенным?

Из всех перемен, происшедших в мире, ее интересует больше всего одна: перемена в ее муже, в его душе, в ходе его мыслей, в его чувствах.

И поэтому она опять перебирает его письма. Письма с фронта. В них он такой же, как был, и вместе с тем — иной. Они такие обстоятельные и такие нежные. В них мелочи рядом с важным, глубокие раздумья чередуются с заботами о ней, о том, как она одета и как питается.

Этот поток писем имеет свое начало и свой разлив. Она следует его течению, чтобы понять суть перемены.

Еще недавно он писал: «Я считаю необходимым приносить жертвы на войне, которая является войной за социальное освобождение». Следовательно, эта война разумна? Он считает ее разумной? Однажды он пишет свое письмо в деревне, напомнившей ему Омон, с яблоневыми садами, лесами, в которых цветут такие же фиалки и подснежники, как в лесах «его деревни». И та же весна, тихая и благоуханная, бредет вдоль изгороди, легко касаясь пальцами кустов боярышника.

Нелепость происходящего в нескольких шагах отсюда, грозящего ворваться в мирный уголок, вдруг потрясает его:

«…кажется невозможным, чтобы была война, вещь чудовищная и, главное, нелепая; невозможными кажутся бои, которые издали должны производить впечатление того, чем они и являются в действительности: самоубийством единой огромной армии».

Этот образ «самоубийства единой огромной армии» нов для него. Но раз возникнув, он уже не исчезает.

Она еще найдет его в письмах мужа. Позже, в связи с его производством в солдаты первого разряда, он пишет об «огромной трудной и страшной» работе простого солдата. Он прибавляет к этому слова, дающие понять ход его мысли: «Тем более, что это непрерывное проявление героизма совершается ради целей, которые я упорно считаю весьма туманными, не связанными с нашим существом и… противоречащими назначению человека».

Это уже очень далеко от настроения первых дней, когда война казалась ему необходимостью. Но еще так же далеко до ясности.

А жизнь идет, страшная, противоестественная жизнь, «противоречащая назначению человека». И все новые мысли приходят в голову человека, совершающего свой тяжкий путь

среди других, таких же, как он. И его ли это мысли? Не носятся ли они в воздухе, как нити «бабьего лета»?

Только посмотрев прямо в глаза войне, можно прийти к заключению, в котором уже меньше «туманного» и больше ясности: «Нужно добиться, чтобы после нас другим не пришлось повторять ужасы войны».

И еще: «Черт подери, если мы будем только портить себе глаза, оплакивая дикость и глупость наших современников, куда мы годимся…» Он взывает «к защите будущего, которое находится под угрозой».

Война — бедствие. Но не для всех. Есть люди, для которых она только ступенька к карьере. Они находятся в безопасности, отправляются в окопы, как на прогулку. «С понятной иронией, вернее — с презрением, смотрим мы на этих окопных туристов», — пишет о них ее муж-солдат.

Как назвать руководителей государства, для которых солдат — это только убойная скотина? Великая ненависть подымается против них. Солдатская ненависть, ненависть «пролетариев битв» к буржуазии войны. Вот основной конфликт времени.

Однажды затрубили сбор. И прошли мимо солдата Барбюса Жоффр, Пуанкаре и Александр Сербский. «Я видел зад господина Пуанкаре…» — в это сообщение он вкладывает убийственный сарказм по адресу тех, на кого работает война.

И рядом с этим… Она читает выписки из приказов, пересланных ей. «Солдаты Про Фернанд, Альбер Гийо, Феликс Розон, Нарцисс Михардиер и Анри Барбюс из 18-й роты 231-го пехотного полка… добровольно под неприятельским обстрелом спасли многих раненых… и доставили на перевязочный пункт».

Это приказ по бригаде 8 июня 1915 года.

15 октября 1915 года в приказе по армии говорилось о том, что солдат Барбюс «при наступлении… в сентябре 1915 года под огнем, в только что отбитых у неприятеля окопах устроил пункт связи…»

Что это? Подвиг? Презрение к смерти? Или равнодушие к жизни?

«Статейка в «Кри де Пари» приукрасила меня. Но я уже знаю, что создалась какая-то легенда о моем равнодушии к смерти и даже желании быть убитым. Эту нелепую репутацию, разумеется, нельзя объяснить ни единым моим словом…»

Она верит ему, верит, что никогда он так не хотел жить, никогда так не любил жизнь, как в эти дни.

Значит, подвиг? Во имя чего? Во имя родины? Да, но какой?

«Совершенно верно, что в «Аду» я резко и без обиняков нападаю на понятие родины, но не постарался уточнить, что речь

идет об агрессивном понимании родины, — родины, «которая сильнее всех остальных государств», — словом, о националистическом понятии родины…»

Так напишет Анри Барбюс 27 июля 1917 года. Но тогда он будет уже автором «Огня».

А пока женщина сидит одна в доме, из которого два года тому назад ее муж ушел на войну. Бушуют ливни. Это весенние ливни. Гудит ветер в трубе. Это голос весеннего ветра. Она перечитывает письма мужа.

Она не знает, каким он стал, каким вернется. Она чувствует в нем новую силу, растущую с каждым днем. И все же она далека от истины. Она не знает, что очень скоро голос его прозвучит на весь мир и само имя его станет знаменем — знаменем борьбы против войны, против реакции. Что он пройдет по земле как глашатай, призывающий покончить со всем злом мира. Она ничего не знает. Она только надеется и ждет.

2

А ее муж все еще был в окопах. Перед ним расстилалась изуродованная, вся в воронках земля, странная, как почва иной планеты. И смерть шагала рядом с ним, иногда заглядывая ему в лицо.

Это не была та смерть, которую он воспевал в своих стихах когда-то. Давно. В другой жизни.

Не та красивая, печальная дева в развевающихся одеждах, с черным флером за плечами, мелкими шажками бродящая по живописному кладбищу «среди уснувших миров», под журчанье фонтана и щебет птиц.

Эта была ужасна! Старуха с провалившимся носом, с зловонной пастью. Он ощущал ее так близко. На мгновение она схватила его за горло раскаленной добела железной рукой. Но он вырвался.

В разрывах шрапнели, в грохоте фугасок, в огненном воздухе атаки что-то внезапно изменилось. Из общего неистового хора вдруг выделился знакомый звук: это бьют французские семидесятипятимиллиметровки. И солдат Барбюс подымает голову. Он — на дне воронки. Ну и фугас запустили!.. Убей бог, он не помнит, как свалился сюда. И больше всего озабочен тем, как выбраться. Обратно, под огненный дождь. Он спотыкается о какой-то странный предмет. Непонятно, что это такое. Он только испытывает некоторое удивление: это непривычный, какой-то «невоенный» предмет. Не из того ряда, который, постоянно видоизменяясь, все же всегда повторяется: осколки снарядов,

предметы походной амуниции… Нет. Не шанцевый инструмент. И не ракетница. Даже не разбитая домашняя утварь. Он никак не может вспомнить, что это такое. Но неужели же это… складной мольберт?

Черт возьми! И он валяется на дне воронки, среди этого боя на голой равнине, вдали от населенных пунктов! Валяется, словно упал сюда вместе с пустыми гильзами. Новый огненный вал проносится там, наверху. И утихает. Теперь Барбюс чувствует, хотя еще ничего не видит в дыму и земляной пыли, что он здесь не один. В этом его окончательно убеждает отчаянная ругань.

— Где там мой ящик, там-тара-рам! — кричит невидимый сосед. Раз слышен его голос, значит там, наверху, утихло.

— Провались ты со своим ящиком! Нашел место и время для своей паршивой мазни! — отвечает, наконец, Барбюс, всецело озабоченный тем, чтобы выбраться отсюда и присоединиться к товарищам, которых он потерял во время огневого налета.

Он полез наверх, с трудом удерживаясь на крутом рыхлом склоне. Но безумный обладатель мольберта уцепился за erb ногу.

— Эй, приятель, — заорал он, — помоги мне выбраться с моей кухней!

Подумать только! Малый нагрузился, как дромадер: кроме мольберта, еще ящик с эскизами, рюкзак, набитый, судя по весу, кирпичами.

Барбюс вовсе не намерен отставать от взвода из-за несостоявшегося гения-баталиста!

Они по-настоящему знакомятся позже, в землянке. Впрочем, художник знал Барбюса и раньше — понаслышке. Они расположились в аккуратно отрытой норе. В комфортабельной норе, ибо есть и такие на войне. И начался тот сбивчивый, не блещущий логикой, но зато сдобренный крепкими словцами разговор, который только и могут вести люди в подобных условиях.

— Что у меня в этом мешке? О господи, здесь все мое богатство! Я ношу его с собой, чтобы, когда меня убьют, тыловые мазилы не присвоили себе мои опусы…

— В этом есть резон.

Он вытаскивает свой мешок с кирпичами. Это альбомы эскизов. Война во всем разнообразии ее облика. Трупы. Груды трупов. Динамика боя передана с удивительной, потрясающей силой. Здесь ничто не стоит на месте. Кипит сам воздух. Черт возьми! Как это достигнуто? Барбюс хочет уловить основу этой живописи. Манеру художника. Его метод. Сердцевину.

И вдруг он видит, что где-то в самой глубине — он сказал бы: в подтексте лежит одна мысль: «Нет — войне!» Протест.

Обличение. Эта мысль спрятана, словно канва под узором вышивки. Но она лежит там, в глубине, у корневищ картины, невидимая, не бьющая в глаза. Она определяет выразительность рисунков, их основу, как гамма в мелодии. Это сильно, это очень сильно.

— Ты давно в окопах?

— С самого начала! — художник пожимает плечами. — Если я останусь жив, в моих альбомах будет все: и начало и конец.

— Мы не знаем, каков будет конец, — задумчиво замечает Барбюс.

— Наверное, финал представления будет таков же, как начало, только с меньшим количеством участников.

— Нет. Этого не может быть. Будет взрыв. Будет перемена. Это не может кончиться просто так!

Художник смотрит на Барбюса, он обескуражен. Он уже слышал такие слова. Но он не ожидал услышать их именно от Барбюса. Он думает о том, что на войне, конечно, главным образом, умирают…

Но случается, и рождаются!

3

Барбюс лежал в прифронтовом госпитале с повторным воспалением легких. Весенняя ночь входила в палату еле ощутимым веянием молодой зелени, оно с трудом пробивалось в пропитанную запахами йода и лекарственных трав комнату.

Он смотрел в светлеющий квадрат окна с тонкими летучими тенями веток, раскачиваемых весенним ветром.

Ветер шумел, он беспокоил, он приносил воспоминания.

Однажды умный пожилой человек с лицом и осанкой патриция ввел юношу во дворец Поэзии. И юноша был счастлив. Потом он стал мужчиной. И увидел: то, что ему казалось дворцом Большой Поэзии, всего только ее прихожая. Посетители приходили и уходили, так и не увидев лица той, рыцарями которой себя называли.

Когда он понял это, жизнь его стала сначала ожиданием, потом — поиском. Был ли он теперь ближе к пониманию цели жизни и сущности искусства, чем в прежние годы?

Он всегда был против войны. Он всегда был гуманистом. Но только сейчас он увидел лицо виновников войны. И возненавидел их. Путь узнавания он прошел быстро — сроки сокращала война. Но от этого он не стал менее сложным.

Барбюс понимал, что должен порвать со многим, некогда ему дорогим, что держало его мягкими руками привязанностей,

сковывало обручами привычек. Он должен был отбросить, отринуть многое.

Может быть, в других условиях драматизм разрыва с прошлым выступил бы резче, ранил бы больнее. Но сейчас мысль о предстоящей борьбе несла ему чувство освобождения.

Он очень нуждался в дружбе. И на войне он нашел друзей.

Поль Вайян-Кутюрье был почти на двадцать лет моложе его. И все же его судьба напоминала Барбюсу его собственную. Вайян тоже происходил из семьи «интеллектуалов», любил искусство, знал живопись, писал стихи. Он пришел в окопы сложившимся человеком: доктор права, адвокат. Он уже был политиком и борцом. Классовые бои французских горняков, волнения виноградарей, восстание в 17-м пехотном полку были его университетами в большей степени, чем «Эколь жюстис», которую он окончил.

Вайян-Кутюрье — человек действия. Социализм был для него не смутной мечтой, а реальной программой, за которую он боролся.

И Барбюса потянуло к нему. Их дружбе суждено было стать долгой и крепкой. Но уже тогда, на ее заре, они смотрели в будущее, они готовились к нему.

4

13 июля 1915 года Барбюс написал жене: «Густав Тери просит меня прислать «зарисовки» для своей газеты… Если будет время, попытаюсь».

О чем идет речь? О «зарисовках», фактически о корреспонденциях.

Густав Тери, редактор либеральной газеты «Эвр», предприимчивый и не лишенный вкуса журналист, хотел иметь материал «с жару, с пылу», материал, от которого пахнуло бы на читателя порохом и кровью. Барбюс в окопах! Это само по себе уже заинтересует читателя.

Но автор не торопился. В последующих письмах к жене он вовсе не упоминает о предложениях издателя. Он продолжает описывать день за днем солдатские будни. Трагическое в них так естественно смешивается с обыденным: гибель товарища, война с мухами и крысами, «заблудившийся» автобус — все в одном ряду.

И вдруг в августе 1915 года он пишет о «счастливчике», некоем «докторе Л.». Почему он счастливчик? Потому, что доктор пишет роман. Он имеет возможность это делать, так как подолгу остается с госпиталем на стоянках.

Барбюс сообщает это в период, когда болезненное его

состояние могло бы ему дать основание проситься в тыл. У него плохо с легкими. Он чувствует недостаток воздуха, его мучает удушье, он то и дело заболевает то плевритом, то воспалением легких.

И все же он не хочет уйти из окопов первой линии. Даже для того, чтобы писать роман, подобно счастливчику доктору. Самое важное для него накапливать впечатления, видеть, ощупывать своими руками материал, из которого потом он воздвигнет памятник «пролетариям битв».

Доводы рассудка были бессильны. Он не мог уйти раньше, чем труд его будет закончен. Он грел руки у каждого костра, он выслушивал исповедь каждого. Перед ним раскрывались сердца. И они были единым большим сердцем. Сердцем народа. Потому что только оно могло вместить столько благородства, доброты и отваги.

Как рождается книга?

Когда писатель говорит себе: «Довольно! Я переполнен до краев. Я боюсь расплескать все, чем я полон. Я сажусь за стол, чтобы писать»?

Когда пчела кончает брать нектар и летит к улью со взятком?

26 января 1916 года Барбюс писал: «… я накапливаю капитал, а затем смогу с полной свободой орудовать и перекраивать материал, имея в своем несгораемом шкафу готовую богатую рукопись».

В «несгораемом шкафу»? Это шутка или действительно он откладывает «перекройку» материала до далеких дней мира?

Почему именно 9 февраля того же года, как это говорится в письме к жене, он уже занят «сооружением большой махины» и ему «необходим весь материал для того, чтобы каждый отрывок встал на свое место»?

Так начинается создание «Дневника взвода».

И с этих пор работа над ним идет все с большим напряжением. Он с головой погружается в творчество. Он пишет на коротких стоянках, в канцеляриях, в деревенском кабачке, где за два су можно взять кружку пива или чашку кофе и сидеть весь вечер. Он так боится помех, вынужденных перерывов в работе, что вырабатывает в себе постоянную готовность к ним. Он то и дело говорит себе: «Сейчас тебе помешают».

Что же происходит в этой походной мастерской художника, удивительной мастерской, где портретное сходство растет вместе с силой художественного обобщения?

Барбюс осуществляет свой большой замысел. Поиск его жизни закончен. Он обрел ясность. Он увидел героизм простых людей и воспел его. Он увидел безумие и преступления

капитализма и проклял его.

Книга любви и ненависти, подобная «Огню», могла быть создана только человеком прозревшим.

«Магический кристалл» ее творца стал магическим тогда, когда в нем появилась новая грань. Эта грань — ясность. Мировоззрение.

Он по-прежнему готов «страдать общим страданием», которого не существовало бы, если бы каждый думал так, как он, — он пишет об этом жене 14 апреля 1916 года.

Как же думает он?

Социализм — это единственная справедливая политическая доктрина, «которая… озарена не только светом человечности, но и светом разума». Эти слова не дошли до ушей Густава Тери, но либеральный редактор «Эвр» и без того понял, с кем имеет дело.

Автор «Огня» далеко ушел от теплого болотца пацифизма. Он был не только убежденным, он был непримиримым противником капитализма и войн, которые капитализм несет.

Тери читал рукопись, принесенную солдатом-отпускником, плохо выбритым и в поношенной шинели, в котором он с трудом узнал Барбюса. По редакторской привычке Тери начал было отчеркивать карандашом места, казавшиеся ему сомнительными. Но вскоре прекратил это занятие. Такую рукопись нельзя было править. Ее надо было бросить в корзину или печатать. Так, как она есть.

Тери читал именно те строки, о которых мечтал. С запахом крови и пороха. Тери держал в руках бомбу, начиненную сенсацией. Как всякая бомба, она была прежде всего опасна…

Над Парижем повисло знойное марево. В это лето, военное лето 1916 года, только немногие покинули столицу. Все ждали… Ждали «похоронок», боясь признаться себе в этом. Ждали обнадеживающих вестей: о легком ранении, о болезни не опасной, но все же достаточно серьезной для того, чтобы не вернуться в окопы. Только непоколебимые оптимисты уповали на мир.

За широкими плечами русских войск, сковывавших силы германского блока, Англия и Франция сколачивали новые армии.

Дымы военных заводов заволокли поля Нормандии. Антанта, вышедшая из прорыва, готовилась к сокрушительному удару. Население готовилось к новым жертвам. Но можно ли быть готовым к потере сына, мужа, отца?

Однако люди привыкали к ужасам войны. После газовых атак на Ипре, после Вердена. Привыкали к чудовищным переменам. Безвестная река в Бельгии дала имя одному из страшнейших средств уничтожения. Маленький городок на северо-востоке,

имевший славу «кондитерской Франции», снабжавший страну сладостями, любимыми детьми, и ликерами, стал символом бойни, могилой миллионов солдат обеих сторон.

Парижане привыкли к страшным поездам на запасных путях у Восточного вокзала. Дамы-патронессы — «крестные» — находили изощренное удовольствие в общении с молодыми калеками. Смесь горечи и разочарования с обострившейся жаждой наслаждения украшала солдат в глазах женщин общества. Инвалидов приглашали наперебой, для них устраивали балы. Это были странные, необычные балы. Здесь звучала грубая речь фронтовиков, лексикон окопов был принят салонами. Пахучая портянка пуалю развевалась над «лучшими домами», как знамя патриотизма.

Что могло изумить, пробрать до костей общество? Никто не мог отгородиться от войны. Даже те немногие, кто лично не был тронут ее лапой с железными когтями, погружались во все ужасы бойни при посредстве прессы. Каждый получал из собственного почтового ящика ежедневную порцию разрушения, смертей и всех ужасов войны.

И все же было в рукописи Барбюса нечто совершенно новое. В ней был вызов. В ней показывался просвет.

Можно было относиться как угодно к воззрениям автора, но не удавалось отмахнуться от простой мысли: это война жирных.

Тери перечитал рукопись солдата-отпускника. Оценил ее. Затем мысленно разбил ее на куски, которые можно будет дать в номер. Ослабит ли дробление ее взрывчатую силу? Отчасти. Во всяком случае, легче будет смягчить, спустить на тормозах, приглушить! Тери не был трусом. Правда, он и не отличался особой смелостью. Но он был газетчиком. Сенсация была его хлебом.

Газетчик взял верх над политиком. Хотя газета и была политикой, но существовала какая-то развилка. Тери не хотел уходить очень далеко, он рассчитывал укрепиться на этой развилке. Здесь были истоки «иезуитских каверз», о которых потом с яростью будет писать Барбюс.

Тери сообщил Барбюсу, что будет печатать «Огонь».

С этой минуты оба: и Тери и Барбюс, знали, что они вступают в войну.

Тери в ней имел преимущества: он сидел в Париже и был хозяином газеты. Барбюс располагал возможностью нанести решающий удар: запретить печатание «Огня». Но это было бы равносильно самоубийству.

Плохо подлеченный в госпитале, Барбюс снова на фронте. В полковой канцелярии он разворачивает «Эвр» и видит анонс о

том, что «Огонь» начнет печататься с 3 августа. Сегодня! Он взбешен: он не видел корректуры! Он не знает, получила ли газета его правку! Он боится завтрашнего дня. Он ждет его!

«Огонь» начинает печататься… с бесцеремонными купюрами, с возмутительной заменой сочных народных словечек «приличной, аристократической, академической» размазней.

Пуалю превращаются в оловянных солдатиков в результате Манипуляций с ножницами и резинкой.

Барбюс прекрасно понимает, что дело не только в цензуре, — это безобразия Тери!

Война ведется по всем правилам. Применяется военная хитрость: редакция посылает корректуру с умышленным запозданием, чтобы автор не мог внести исправления к сроку.

Барбюс атакует Тери негодующими письмами. А куски «Огня» продолжают выходить. И все хитроумные «ходы» редакции не могут, не в силах уберечь читателя от грозной силы «Огня».

— Гип-гип, ура! — кричит Барбюс уже лежа, так как снова оказывается на лазаретной койке. — Разговор с Бертраном прошел полностью! — …Бесконечно дорогой автору разговор о Либкнехте!

Тери сдался. Нюх газетчика подсказал ему блистательную победу «Огня». Он учуял, что поражение Тери-политика будет победой Тери-газетчика. Парадокс тоже может оказаться лошадкой, выносящей к финишу успеха!

Еще не смялись листы номеров «Эвр», в которых печатался «Огонь», а различные издательства засыпают автора предложениями. Их не всегда даже останавливает категорическое требование Барбюса: никаких купюр! До смерти перепуган Фурэ, но Киньон предлагает тираж в десять тысяч. Предлагают перевод «Огня» на английский.

Барбюс, больной, истерзанный фокусами редактора более, чем уколами какодилата[9], по уши в творческой работе: готовится отдельное издание «Огня».

В художественной литературе века не было книги, которая вызвала бы такую бурю восторгов и хулы, сочувствия и озлобления, как «Огонь». И не было книги, в такой мере ставшей фактором политическим.

По сигналу монархической «Аксьон франсез» заговорили пушки главного калибра: реакционная пресса ударила по «крамольной книге», «ужасной книге», «книге, полной дерьма», «пытающейся деморализовать Францию», «служащей врагам отечества»… Продажные писаки, состоящие на жалованье у Шнейдера — Крезо и Круппа, не нюхавшие пороха, зарывшиеся,

как в тещиных пуховиках, в грудах зловонных листков, расписывали подвиги прилизанных пуалю, умирающих с улыбкой на устах. Могли ли они принять правоту Барбюса?

Все, кого ужалила книга Барбюса, накинулись на «Огонь» и его создателя. «Лжец», «Безумец», — пищали крысиными голосами самые робкие. «Вредитель!», «Агент врага!» — вопили самые наглые.

Под прохладными сводами духовных учреждений звучали проклятия служителей бога. Некий аббат требовал крови Барбюса, взывая по всем правилам риторики: «Если военный суд ставит к стенке простого солдата, который не решался отдать свою кровь за отечество, какого наказания заслуживаете вы, господин Барбюс?»

«Государственно опасная книга!» — раздался приговор официальных кругов.

А «Дневник взвода», эта правдивая и жестокая, простая и патетическая, полная любви и ненависти летопись, совершает свое победоносное шествие по свету. Ее запрещают — она переходит границы государств вопреки запрету; ее изымают из книжных магазинов и библиотек — она уходит в подполье. Ее поднимают мужественные руки бойцов, тонкие руки матерей и невест; всех, кому ненавистна война.

Книга побеждает вопреки заклятиям реакции, она становится знаменем, в алом полотнище которого трепещет ветер эпохи.

И если бы в это время некий провидец возвестил миру, что через семнадцать лет люди в коричневых рубахах с кабалистическим знаком на рукавах сожгут эту книгу на костре, полыхающем на площади перед Берлинским университетом, — такого провидца сочли бы безумным.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

1

Громыхая траками, примкнув штыки, шел четвертый военный год. Германия вела стратегическую оборону на суше и крейсерскую войну на море.

В России при царском дворе занимались спиритизмом. Вызванный с того света «дух» Марка Аврелия сказал, что Распутин — хитрая бестия и морочит голову царице. В доме Пуришкевича готовили убийство Распутина.

В районе Пикардии четыре русских солдата, посланных в разведку, наткнулись на немцев. Немцы отбросили винтовки. Русские тоже. Они договорились. Они не только не стали стрелять друг в друга, колоть друг друга штыками, резать ножами — они обещали рассказать товарищам о своей встрече и уговорить их бросить оружие.

Это было первое братание. Русское слово «братание» с быстротой света облетело фронт.

Железный строй полков заколебался. Семена правды падали на почву, вспаханную снарядами, и давали ростки гнева.

В эту пору лучшие люди мира искали и находили друг друга, они знали: сила их умножится, если они будут вместе.

В маленькой квартирке на улице Бель-Апаранс сидел перед зеркалом человек, чья слава в это время облетела мир.

Он снова в Париже и ищет приметы нового. Ему кажется, что мир должен был существенно измениться за время его отсутствия. Время катаклизмов, землетрясений, горообразований… Но вокруг все тот же старый Париж. Разве только поубавилось такси, появившихся незадолго до войны и тут же угнанных на позиции. И автобусы вытеснили старинные двухэтажные омнибусы.

Барбюс отпущен из госпиталя. Он дома. Он рассматривает себя в зеркале. Он видит ставшее немного чужим лицо пергаментного оттенка, который он сам, в бытность свою санитаром, наблюдал у обитателей госпиталей, тощую шею, выступающую из ворота потрепанной шинели, бледные губы под темными усами, тоже как будто выцветшие.

Впрочем, он не задерживается на лицезрении своего печального образа. Настроение его абсолютно не соответствует внешнему виду. Он счастлив. Его ждут письма. Кипы писем.

Большинство — от друзей. Друзей его, друзей его книги. Но есть и другие письма: ругань вперемежку с призывами оголтелых реакционеров.

Он с отвращением отбрасывает их. Оказывается, он предал свое писательское звание! Нет, никогда в жизни он не чувствовал так ясно и сильно, что выполняет свой писательский долг.

Он просматривает вырезки из газет, подобранные его прилежным секретарем — его женой.

«Огонь» сорвал маски с его врагов, но он же соединил его с друзьями.

Кто они, эти люди, которых Барбюс встречает, широко раскинув свои длинные руки? К речам которых задумчиво прислушивается, по привычке рассыпая куда попало пепел папиросы?

Их посещения не похожи на довоенные визиты хороших знакомых. И это волнует хозяйку дома. Они вносят в квартиру иной воздух, она вдыхает его с опасением.

Короткие, энергичные реплики, которыми они обмениваются, не похожи на беседы друзей, они не похожи… на разговор. Тот разговор, который доставляет удовольствие собеседникам, обогащая и развлекая их.

Но здесь как бы мысли вслух, незаконченные, клочковатые, колючие. Ее муж и его друзья перебрасываются ими с таким темпераментом, так напряженно. И они понимают друг друга не то что с полуслова, а, кажется ей, даже когда молчат.

Так могут говорить только очень близкие люди.

Но ее муж не говорит так с ней. Она присматривается к ним тревожно, ревниво.

Поль Байян-Кутюрье и Раймон Лефевр еще в шинелях. Жорж Брюйер — в штанах и куртке из бумажного бархата, какие носят парижские каменщики.

Нет, непритязательность одежды ее не смущает. Поэты и до войны рядились по-чудному. Один дадаист[10] посещал салон ее отца, одетый почти что в рубище и с четками в руках.

…Они не замечают, что им подано: они не находят вкуса в еде. Хотя она, хозяйка, вложила в прием немало выдумки. Но им это неважно. Ее пугают их речи. И то, как страстно воспринимает их ее муж.

Самое странное и страшное для нее — они вовсе не говорят об искусстве. И это у них в доме, где все жили только литературой! А если даже и говорят, то всегда в связи с событиями. И слова: «империалисты», «милитаризм», «пролетариат», «интернационал» — слетают у них с языка чаще, чем ей бы хотелось.

Конечно, и раньше, до войны, в интеллигентных домах говорили о политике. Как же иначе? Говорили в меру, как о чем-то далеком: где-то существуют люди, удел которых политическая борьба. Но какое отношение она имеет к литературе? Ее бурное море не доплескивает свои мутные волны до вершины Парнаса. Где поют птицы, где цветут цветы… Так она всегда считала.

Но, видимо, ее муж и его гости так не считают. Окутанные табачным дымом, проводят они напряженные часы, строя планы. Насколько она может понять, это планы борьбы с войной. Она слышала, что такие гиганты, как Ромен Роллан и Анатоль Франс, интересуются этими планами. Но ей не верится: разве не утопия — война против войны? Она смотрит на своего мужа, на острый выразительный профиль Лефевра, на открытое лицо Вайяна с широким носом и энергичным ртом, на мужественную фигуру Брюйера. Война опалила не только этих четверых. Но другие залечивают раны и хотят забыть о пережитом. Разве они не правы? Разве не такова жизнь?

Эти ничего не желают забывать. Похоже, что они дорожат страшными воспоминаниями и не хотят их растерять. И потом она просто боится за мужа. Он так худ, так кашляет. А курит, сколько он курит! Без трубки он не мыслит себе рабочего состояния. Врач серьезно предупредил его. Он сказал иронично, в своей манере: «Легкие у вас не в самом лучшем состоянии». Врач — светский человек. Лучше бы он сказал грубее: «Вам грозит туберкулез». Но раньше Анри прекрасно схватывал подтекст. Теперь он делает вид, что ничего не понимает. Он не хочет изменить фронтовым привычкам, не хочет бросить курить, не хочет снять военную форму.

Они могли бы теперь жить так хорошо. Непривычно большие деньги появились в доме. Ведь тираж «Огня» все растет. Альбен Мишель осаждает Барбюса по поводу переиздания «Ада». Теперь роман заинтересовал издателей в Германии, в Италии, в Швеции. И никто даже не вспоминает, что его называли «неприличным».

Пришла настоящая, всемирная слава! Неужели он не чувствует этого, не дорожит этим?

Только что почтальон снова принес немалую сумму. Кажется, он еще внизу: обсуждает с консьержкой быстрое обогащение ее мужа. Анри с удовольствием расписался на бланке, протянутом ему почтальоном. Он встал и проводил до дверей пожилого человека с кожаной сумкой на боку.

— Мосье Барбюс, а что такое «Огонь»? Я повсюду слышу о нем. Говорят, это про нашего брата, солдата.

— Как, и ты, приятель, побывал в окопах? — Ее муж готов без конца толковать с почтальоном.

И тот уходит, засовывая в свою сумку небольшую книгу в сером переплете.

Теперь, когда пришло благополучие — видит бог, они выстрадали его, — ее муж не хочет пользоваться им. Он даже сказал как-то, что деньги ему нужны «для большого, общего дела». Что это за дело? Не о нем ли они сейчас говорят?

Она мечтала быть хозяйкой литературного салона. Хранительницей традиций династии Готье и Мендесов. Конечно, ее муж теперь был тоже знаменит. Но к славе его примешивалось нечто чуждое ей, непонятное и опасное. Оно доходило до нее еще в строках его писем с фронта. Но тогда она закрывала на это глаза. Она думала только о его возвращении и надеялась: он вернется, все пойдет по-старому.

И что же? Теперь от него отшатнулись люди, которые преклонялись перед его талантом. Они не понимают, не могут оценить «Огонь»? Пусть так. Но почему они отворачиваются от писателя?

Ее мужа это не волнует. Он и не хочет бывать у своих прежних знакомых. При этом он просит ее: «Сходи одна, если тебе хочется!» Какой интерес ей бывать в домах, где об авторе «Огня» говорят в лучшем случае с сожалением, как о тяжелобольном?

Ей было неуютно с новыми друзьями мужа. И страшно за него. Он отдалялся от нее. Ей казалось, что он отдаляется от литературы.

Барбюса связывало с друзьями не только то, что все они хлебнули войны. Что они не отряхнули еще со своих подошв каменной пыли Артуа и меловой крошки Шампани. Их связывало не только прошлое — и будущее.

Ассоциация фронтовиков! Вот замысел, связавший их.

Не дать погаснуть искре, засветившейся в окопах. Собрать всех, кто помнит ужас атак, грязь, холод, нечеловеческую усталость. Обиды и презрение, которым обливали их старшие чины.

Собраться и поговорить по-солдатски. Найти путь к сердцу бывших комбаттанов, поднять всю массу людей, видевших войну без прикрас. И объявить единственно справедливую мобилизацию: войну войне!

Этот лозунг пришелся по сердцу Барбюсу: лаконичный и полный большого смысла.

В феврале 1917 года Лефевр начинает подготовку издания большого международного журнала. Барбюс работает над манифестом, обращенным к интеллигенции всего мира.

Вероятно, это и было началом кипучей общественной деятельности Барбюса, вскоре захватившей его целиком.

Он вкладывает все свои деньги в организацию Лионского сбора фронтовиков.

5 октября 1917 года он выступает на конгрессе Ассоциации бывших фронтовиков в Париже. А 7 октября он — в Лионе. Врач отговаривал его ехать в Лион, взывал к его рассудку и возрасту. Фраза «нужен покой» сходила с его уст осторожно, примирительно. В устах жены она была полна глубокой тревоги.

Барбюс никого не слушал. «Теперь покой, когда все только начинается? Нет! Покой — в движении, покой — в действии! Чем радикальнее действие, тем больше оно успокаивает!» — такими парадоксами он отбивался от домашних.

В Лионе на первом заседании Национального конгресса республиканской Ассоциации бывших фронтовиков он произносит речь.

Его провожают овациями. Вот он — солдат, автор «Огня», тот, кто сумел подслушать мысли каждого. Он прав — надо действовать! Война войне!

Барбюс едет в Италию. Мощная организация бывших фронтовиков встречает его здесь как своего признанного вождя.

Барбюс провозглашает: «Если мы не объединимся для борьбы с капитализмом, нас ждут новые войны! Если мы хотим избегнуть бойни, мы должны показать пример!»

Это рождение Барбюса-трибуна, пламенного оратора, бросающего в аудиторию слова, как бросают гранату, — широким взмахом и — в цель!

Удивительна взрывчатая сила его речей. И уже открывается драгоценное свойство Барбюса-оратора: великие истины он облекает в форму, понятную каждому. Эти истины не для того только, чтобы владеть ими, они зовут к действию.

G этой поры Барбюс принадлежит массам. Принадлежит весь, со своими идеями и со своим вдохновением.

Возвращение из Италии было тяжелым. Снова удушье, боли в груди, изнуряющий кашель, и это подымающееся откуда-то из глубины существа ощущение: будто уходит жизнь. Теперь он сам чувствует, что очень болен. Он не сдается на милость болезни. Водоворот событий небывалой важности увлекает его.

Приходят первые известия о революции в России. Они изменяют всю его жизнь. Как жизнь миллионов других людей.

Пролетариат России, руководимый гением Ленина, шел за своей испытанной партией на штурм старого мира. Победа социалистической революции громом восстаний и массовых рабочих выступлений потрясла цитадель капитализма. И она

дрогнула.

Тогда ее старые воины, понаторевшие в боях против революции, облачились в ржавые доспехи и объявили крестовый поход против Республики Советов.

Во Франции таким престарелым рыцарем царства тьмы был премьер-министр Жорж Клемансо. Именно он возглавил конференцию, которая кощунственно называлась «мирной». Здесь старые волки империализма, представители «стран-победительниц», рвали добычу, доставшуюся им в результате первой мировой войны. Они хотели быть сытыми и спокойными и впредь. И потому главным вопросом конференции был так называемый «русский вопрос»: организация вооруженной интервенции против Советской России.

Здесь никто не сомневался в ее успехе. Здесь вынашивались планы расчленения России и обращения в рабство ее народов. И хотя они потерпели позорный крах, уроки истории были забыты буржуазией и ее агентами. Через двадцать лет тайный сговор, носящий условное название «план Барбаросса», повторит роковую ошибку Клемансо.

В пору, когда одни интеллигенты стали в ряды вандейцев, другие притихли, ожидая, «что будет», передовые люди всех стран протянули дружеские руки Стране Советов.

«Мы ваши друзья. Россия должна обрести стабильный режим, чтобы найти новую жизнь», — пишут социалисты-парламентарии.

Барбюс возвышает гневный голос против врагов Советской России. С этих пор и до последних дней жизни он друг и защитник русской революции, русского народа.

Миру открывается новый Барбюс. Барбюс-публицист. Звучат «Речи борца». Они покоряют железной логикой силлогизмов и высоким накалом страсти, вдумчивостью и боевитостью, остротой и пылкостью.

К Барбюсу стекаются чувства и мысли множества людей. Его захлестывает поток писем и телеграмм. В них отклики, призывы, пожелания. Он ощутил радость настоящей дружбы, спаянности, сознательного коллективизма. Это оказалось выше того, что было испытано в окопах. Там он тянулся к людям, солдаты открывали ему свои сердца, но он еще не знал, что они все вместе — могучая сила. Теперь, в дни Великой революции в России он узнал эту силу.

Пишут не только друзья. И он читает все, даже презренные анонимки, полные грязных намеков и угроз. Он постигает психологию тех, кого раздражает «Огонь», кто ярится против его автора. Стоящие по ту сторону баррикады ясно видят, насколько

близка эта книга русской революции. Книга — оружие. И не могут простить этого.

Коричневая колонна начинает разворачиваться.

15 января 1919 года убиты Либкнехт и Роза Люксембург. Убийца занимал видное место в рядах контрреволюции.

Боевая публицистика Барбюса взывает: «Держите порох сухим против врагов революции!»

Новый Барбюс! Но в то же время он и прежний. Барбюс-трибун остается Барбюсом-писателем. Он возвращается к форме романа.

Он уезжает из Парижа на берег Средиземного моря. Вилла, которую он снял, расположена на высокой скале. Вероятно, поэтому она названа «Vertige» — «Головокружение». Здесь Барбюс начал писать роман «Ясность».

2

«Огонь» и «Ясность». Ленин ставит эти две книги Барбюса рядом. Они едины, они подпирают друг друга, как порою в окопах солдаты подпирали друг друга плечом. Без «Огня» не могло быть «Ясности». Чтобы понять «Огонь», нужно знать «Ясность».

Скромные маленькие герои новелл из сборника «Мы — иные» метались в тесных рамках провинциальной жизни. В новых книгах герои Барбюса вступили в большой мир. Огромное историческое событие побудило их к этому. Грянули первые выстрелы, и люди надели серые шинели. Отныне их домом стали окопы, их бытом — поля сражений, их горем — гибель товарищей, их радостями — короткий отдых, баня, пара чистого белья.

Но это внешняя сторона дела.

Барбюс обладал искусством видеть, он проникал взглядом художника в душу солдата. В каждой главе «Огня» появлялся новый портрет героя с его внутренней жизнью. Из массы людей, одинаково одетых, вырисовываются образы рассудительного Вольпата, «мордастого крестьянина из Пуату», толстяка Ламюза, хрупкого, опрятного Фарфадэ, медлительного, добродушного Фуйяда, лодочника из Сетта, наконец, рабочего — капрала Бертрана, «который всегда держится в сторонке, молчаливый и вежливый, с прекрасным мужественным лицом и открытым взглядом».

«Ну и не похожи мы друг на друга», — замечает один, приглядываясь ко всему взводу.

«Да, право, все мы разные, — констатирует автор. — И все-

таки мы друг на друга похожи». Война несет с собой чудовищную нивелировку. «Связанные общей непоправимой судьбой… мы все больше уподобляемся друг другу… на расстоянии все мы только пылинки, несущиеся по равнине».

Из общей массы и выходит «лирический герой» скорбной и величавой книги, немолодой солдат Анри Барбюс. Это и есть «активный, развивающийся человеческий характер», который искали и не увидели в книге некоторые исследователи.

«Огонь» — цепочка точных, броских, заостренных новелл и вместе с тем героическая эпопея. Эпопея народного страдания, бед, принесенных войной, эпопея тяжкой солдатской повседневности. И эпопея прозрения.

Французы любят афоризмы. Поль Дезанж сказал об «Огне»: «Это искусство, более правдивое, чем сама жизнь». Наконец-то в литературе Запада послышался трезвый голос реалиста, не остановившегося перед самыми неприглядными картинами военной страды.

То, что называли натурализмом, золяизмом, поэтизацией ужасов, было фронтовой правдой.

Первое, что увидел Барбюс на войне, — трупы. Он видел их повсюду. Он нес в свою книгу страшное свидетельство бессмысленной бойни. Он не говорил о количестве убитых. Он показывал их:

«…лежит парень задом в яме, весь согнулся, глазеет в небо, а ноги задрал вверх. Как будто подставляет мне свои сапожки и хочет сказать: «Бери, пожалуйста!» — «Что ж, ладно!» — говорю. Зато сколько хлопот было стащить с него эти чеботы; и повозился же я! Добрых полчаса, пришлось тянуть, поворачивать, дергать, накажи меня бог: ведь парень мне не помогал, лапы у него не сгибались. Ну, я столько тянул, что в конце концов ноги от мертвого тела отклеились в коленях…»

Некрасиво, неэстетично, натурализм? Как мог Барбюс-эстет, Барбюс-художник дойти до подобных крайностей?

Но ведь Барбюс не поэтизировал ужасы. Он рисовал окопную жизнь такой, какою она была. Правда книги в том, что он видел не только сапоги, «занятые чужими нотами»; он познал и радость общения с простыми людьми, с рабочими парнями, со вчерашними пахарями. Он разгадал их душу, он полюбил их навсегда.

Книга, написанная о жестоких вещах, глубоко гуманна. «Солнце существует», — вдруг обнаруживают солдаты. «Правда существует», — как бы говорят они. И автор, чье сердце кровоточит при виде страданий однополчан, постигает радость прозрения!

Так уже в «Огне» появляется ясность видения, ясность мышления, ясность чувств. Уже сюда проникает свет правды, единственной правды на земле — правды Революции.

Имя Либкнехта произносит солдат Бертран. В полемике с теми, кто рисовал ура-героику войны, кто лживыми речами одурманивал головы соотечественникам, призывая их на позиции, а сам «окапывался» в глубоком тылу, — в этой полемике и пришло познание истины.

Ее носитель — коммунист Либкнехт. Немец? Да, немец! Барбюсу только в 1916 году стала понятна великая интернациональная идея, провозглашенная Карлом Марксом в середине прошлого века. На той стороне воюют такие же рабочие и крестьянские парни, как и на этой. Высшим сферам нужно, чтобы братья по классу истребляли друг друга.

Барбюс и раньше над этим задумывался, еще не зная войну в лицо. В романе «Ад» два врача беседуют у постели больного:

«— Он русский или грек?

— Я не знаю. Я умею заглядывать в нутро человека, и я вижу, что там люди все одинаковы.

— Они одинаковы повсюду, — пробормотал другой, — хотя и силятся разжигать огонь, хотя и становятся врагами».

И в новелле «Злюка-луна» болгары и македонцы убивали друг друга, не отдавая себе отчета в том, что они братья. «Как это всегда бывает на войне», — добавлял автор. Теперь он увидел воочию, *как* это бывает на войне. И с еще большей болью и сочувствием написал о бессмысленности «коллективного убийства».

Раньше он мог представить себе войну лишь издали, в кабинете виллы «Сильвия». Теперь, вместе со всеми стоя в воде по пояс, пробираясь ночью ползком по нечистотам, теряя день за днем товарищей, теперь Барбюс утверждается в истине: нельзя убивать себе подобных.

В этом кредо можно, конечно, усмотреть и христианскую мораль, и толстовство, и, наконец, пацифизм. Барбюса еще не раз обвинят в пацифизме его друзья и недруги. Но нет! Книга «Огонь» не была смиренной, непротивленческой. Как вспышка пламени, как очищающий поток, проносится через книгу мысль о будущем. Как захватывает и несет в грядущее автора и героев образ Либкнехта!

«— Будущее! Будущее! — говорит Бертран. — Дело будущего — стереть это настоящее, решительно уничтожить его, стереть, как нечто гнусное и позорное!..

В эту минуту он являл мне образ людей, воплощающих высокое нравственное начало, имеющих силу преодолеть все

случайное и в урагане событий стать выше своей эпохи».

Барбюс всегда был немного пророком. Эти вещие строки о будущем он написал уже тогда, когда к нему пришло прозрение. Среди безысходности настоящего он увидел свет будущего. Это социализм. «В социализме, — писал он с фронта жене, — я с математической неизбежностью вижу единственную возможность предотвратить войны в будущем. Никаких других возможностей нет».

Мысль эта, истина эта была понята не только Барбюсом. С огромной экспрессией выражено в «Огне» прозрение масс. «Дневник взвода» ведется не от лица одного героя; местоимение «мы», вырастающее в символический образ масс, придает книге эпическое и народное значение.

Прозрение. Это для Барбюса не понятие, не состояние, не внутреннее движение образа. Это целый мир революционного открытия.

«Превращение совершенно невежественного, целиком подавленного, идеями и предрассудками обывателя и массовика в революционера именно под влиянием войны показано необычайно сильно, талантливо, правдиво»[11], — писал Владимир Ильич Ленин об этой книге, которую ему довелось прочесть еще в Швейцарии, а затем вернуться к ней в 1919 году, после знакомства с «Ясностью».

Роман Барбюса стал не только крупным общественным событием, но и новаторским художественным достижением. Новая проблема, новый герой, новое художественное решение темы — все это открытия Барбюса, проложившего дорогу современному эпическому изображению социальных сдвигов. Недаром Ленин отмечает силу таланта Барбюса.

В то время Барбюс еще не смог сформулировать свои мысли о современном романе, но позднее он установит: «Роман — это современная форма большой поэмы», — и назовет художника поэтом-романистом. В «Огне» Барбюс — поэт-романист; он пропел скорбную и торжественную песнь подвигам народных героев.

Старое испытанное оружие контраста, символики, гротеска, краски пейзажа, тонкие наблюдения над движениями души героев — все снова пригодилось Барбюсу. Но все, чем владел он и раньше, теперь сослужило ему новую службу. Заиграло по-новому, заискрилось слово Барбюса. Несколько отвлеченный, риторический язык «Ада» заменился сочной, броской народной речью. Он вводит в роман то, «о чем не говорят в обществе», — «грубые слова», и ревниво следит за тем, чтобы редактор их не вычеркнул.

Раскрывая «Эвр» с очередным фрагментом будущей книги, он

с яростью констатирует, что газета опять «приукрасила» его стиль.

Жене он пишет: «Нелепо выбрасывать, как они это делают, крепкие словечки. В общем тоне разговоров эта грубоватая приправа почти необходима, как чеснок в некоторых простых блюдах, от этого диалоги солдат становятся ярче и правдивее. Недавно опять произвели у меня смехотворную, пошлую замену — напечатали: «ударил ногой по заду», тогда как Мольер устами артистов «Комеди франсез» выражается покрепче».

Живой разговорный язык рабочих кварталов Сен-Лазара, землепашцев Нормандии, докеров Марселя придает книге особый аромат достоверности.

Так случилось, что, преследуя Ромена Роллана, Жана Ришара Блока, Анатоля Франса и других антимилитаристов, французские правящие круги в самый разгар войны проглядели выход в свет не только антивоенной, но и революционной книги Барбюса.

Не была ли публикация «Огня» признаком страха перед пробудившейся силой фронтовиков и не эта ли боязнь открыла двери книге Барбюса?

Автор «Огня» сознательно не пошел по следам своих предшественников в построении романа. Ни раньше, ни теперь он не ставит в центре книги одного героя и не описывает его, подобно Бальзаку, во всех жизненных положениях.

Барбюс пишет о множестве. «Конечно, интересно, — скажет он позднее, — и, пожалуй, потрясающе показать страждущего индивида, например солдата в империалистической войне. Но гораздо интереснее, гораздо более потрясающе показать тысячи солдат, которых гонит в бой за свои интересы империализм».

«Огонь» — это новая форма политической эпопеи, поэма в прозе о народе, для народа, принятая народом.

Это парадоксально: рисуя портрет каждого солдата в отдельности, Барбюс, однако, не дробит изображения. Он соединяет их в огромный и значительный образ множества, массы, народа. А там, где обобщение, вступает в силу символ.

Подобно своему учителю Золя, Барбюс ведет повествование к символическому финалу. Бытовые сцены, солдатские будни, походы, побывки, привалы, сражения и многие другие факты ратной жизни завершаются обобщающим, монументальным символом в главе «Заря». Война еще идет. Люди еще терпят нечеловеческие муки, но они уже «иные», «…черное грозовое небо тихонько приоткрывается. Между двух темных туч возникает спокойный просвет, и эта узкая полоска, такая скорбная, что кажется мыслящей, все-таки является вестью, что солнце существует».

Проблеск света — это ясность, символ прозрения, символ Грядущего.

Так прозревали миллионы.

Ну, а как же это было с каждым в отдельности? Или Барбюса действительно совсем не занимала отдельная личность?

Как в поэзии «лирический герой», автор «Огня» самораскрывается от первой страницы до последней. Он и возвышается над собратьями, обладая способностью понять разительные перемены в их сознании, и не щадит себя, обнажает свои слабости, посвящая читателя в динамику своего пути к прозрению.

Через четыре года после «Огня» Барбюс возвращается к исследованию. Психологию прозрения индивида, одного из тысяч, он проследил в «Ясности».

В России в первой редакции роман назывался «Свет». Ленин, переведя это заглавие как «Ясность», открыл значение книги как эпопеи революционного прозрения.

В «Ясности» вступили в строй законы старого классического романа. Снова пригодился опыт и Бальзака и Золя. И во главе романа оказался один из множества — Симон Полен, «обыватель и массовик».

Нет, это не был художественный эксперимент.

Пройдя за четыре года большую школу политической борьбы, став в центре антимилитаристского движения во Франции и сделавшись крупной фигурой в международном прогрессивном лагере, Барбюс испытывал потребность в художественном выражении той правды, которая ему открылась в русской революции.

Он писал об этом в публицистических книгах, провозглашал с трибун собраний, митингов, конгрессов. Но, как большой художник, Барбюс не мог быть удовлетворен только этими ораторскими выступлениями.

Он написал «Ясность» — детальное психологическое исследование, где день за днем прослеживал эволюцию рядового человека, постигшего великую революционную истину века. Таков рядовой человек Симон Полен, герой «Ясности».

«Конечно, я многого жду от жизни… но я не хотел бы слишком больших перемен. В глубине сердца я хотел бы, чтобы ничто не тронуло ни печки, ни крана, ни коричневого шкафа, ничто не изменило условий моего привычного вечернего отдыха», — таково кредо мещанина Симона в начале романа.

«Годы шли. В нашей жизни не было ничего замечательного… Иногда подкрадывается скука». Так начинается недовольство установившимся порядком серой, бесцветной жизни.

«Я еще молод… я должен… победить в себе обывательское желание предоставить событиям идти своим чередом».

«В жизни моей, протекающей нормально, намечается пробуждение воли», — эта мысль удивляет и радует Симона. Оказывается, и он на что-то годен. Хотя бы на то, чтобы быть недовольным и желать. Постепенно приходит ожидание чего-то необычайного, что могло бы окончательно встряхнуть его. Нужен удар колокола, разрыв грома или., грохот орудийного залпа. Такая минута настала, пришла война. Симон надел серую шинель, и началась окопная жизнь.

«В ту пору лишь вечер и утро сменялись обычной чередой. Все остальное было нарушено и казалось временным».

Нарушился обывательский покой: заработала мысль, горячее забилось сердце, пришло смятение.

«А я? Я в поисках; это лихорадка, это потребность, это безумие… Я ищу различия между теми, кто убивает друг друга, и не могу найти ничего, кроме сходства. Я не могу освободиться от сходства людей…

Единственная причина войны — рабство тех, кто ведет ее своими телами, и расчеты финансовых королей», — так приходит ясность, так проникает свет в сознание героя.

Появляется и чувство ответственности.

«А я?

Я, человек нормальный, что делал я на земле? Я поклонялся ослепляющим силам, не спрашивая, откуда они исходят и куда ведут. На что же мне послужили глаза, созданные, чтобы видеть, разум, чтобы судить?»

Развенчав прежние кумиры, человек должен найти идеал. И Симон его находит:

«Спасение только в тех, кого мир обрекает на каторжный труд, и кого война обрекает на смерть, и кому нужен только свет. Спасение только в бедняках». Эта мысль не дает Симону замкнуться в своем индивидуальном мирке. Она соединяет его с массой. «Равенство всех человеческих пятен, явившихся в мрачном, грозовом освещении, — да ведь это же откровение! Как случилось, что я никогда не видел этого?»

И тут рождается странное ощущение: иллюзии утрачены. В литературе XIX века герой, потерявший веру в былые идеалы, становился опустошенным, он деградировал. Симон переживает иное. Его прежние верования погребены, а он испытывает чувство исцеления, он как бы заново рождается. Ему не жаль своих иллюзий, потому что он теперь принадлежит «не к тем, кто кончает жизнь, а к тем, кто ее начинает».

И, наконец, вершина мыслей Симона, вывод, открывшийся

ему на войне:

«Я вижу приближение великого прилива. Истина революционна лишь потому, что заблуждение беспорядочно. *Революция — это порядок».*

Идя по ступеням этих признаний, постигаешь, какую огромную ломку характера и верований претерпел этот человек.

В признании Симона — исповедь самого автора, чьи переживания, сомнения и обретения так сходны со всем тем, что пришлось пережить герою романа на войне. Но, разумеется, Барбюс не пришел на войну мещанином и обывателем. Тем сложнее была его эволюция, что он стал солдатом в сорок лет, будучи человеком со сложившимся мировоззрением, одаренным и прославленным художником.

Вот почему особенно важен его отказ от прежних иллюзий, постижение им революционной истины.

Барбюс в «Огне» уже достаточно широко нарисовал военный быт, сражения, переходы, привалы, чтобы в новой книге иметь право не задерживаться на этих картинах. Теперь перед ним другая задача — проникнуть во внутренний мир «обывателя и массовика», одетого в серую шинель.

«Ясность» — это не только психология прозрения, но и психология любви. Ясность наступает и в мышлении и в чувствах героя. Истинно счастлив тот, кто познал всечеловеческую революционную истину, утверждает Барбюс. Прозревший восходит на высоту нравственного величия и начинает по-новому понимать красоту чувства, постигать радость любви, как вообще теперь полнее воспринимает весь многоцветный мир — мир природы, общества и человеческих отношений.

Эта мысль облекается в финале «Ясности» в несколько причудливую форму абстрактно-отвлеченных суждений о любви, вдруг уступающих место конкретно-образной картине, исследованию оттенков человеческого чувства.

Это была удивительная творческая способность. В одном писателе совмещался пророк, трибун и тонкий живописец чувства, художник, не пренебрегающий картинами чувственности. Проповедник, мыслитель, публицист и эротический писатель, пропевший гимн плоти.

В последней главе книги «Лицом к лицу» Симон, движимый стремлением к ясности во всем, исповедуется перед Марией. «Я ворошу прошлое, перечисляю похождения, сменявшие одно другое и даже неудавшиеся. Я был обыкновенным человеком, не хуже, не лучше других, — вот я, вот мужчина, вот любовник».

Как бы споря с самим собой, Барбюс пересматривает то, о чем писал в романе «Ад». Там было преклонение перед страстью, ее

обожествление, и чем исступленнее она была, тем богаче, тем красочнее казались люди молодому писателю. Здесь Барбюс вовсе не отказался от земного понимания любви, не охладел, но поднял страсть на высокую ступень нравственно прекрасного чувства.

Теперь и герой «иной». Он понял цену безудержной чувственности, унижающей человека. «Я чувствую, как во мне подымается проклятие этому слепому обожествлению плоти. Нет, два чувственных любовника не два друга. Скорее, два врага, связанные близостью… Очная ставка двух эгоизмов, исступление».

В отношениях между мужчиной и женщиной должна быть ясность, нужна правда, нужна поэзия самоотвержения, гуманности.

«Когда я кончил говорить, мы были уже не прежние, потому что не было больше лжи». Симон и Мария снова стали любить друг друга. Им пришла на помощь правда. «Понять жизнь и полюбить ее в другом существе — в этом задача человека и в этом его талант».

Такова эта новая философия любви, стройная наука о человеческом чувстве. Барбюс остается поэтом сердца, но теперь он соединяет эмоциональный и духовный мир человека. Чувство нельзя оторвать от сознания.

Эта мысль пленяет его, захватывает, влечет за собой, и он все более приподнимается над реальностью, уходя в монументальные образы, в отвлеченные символы, характерные для зрелого таланта Барбюса. Ораторские рассуждения, риторика уже коснулись и темы любви.

Они могли бы повредить художественному эффекту книги, если бы в ней не было поэзии мысли, высокой и чистой. Последние патетические страницы «Ясности» насыщены пафосом величия, святости любви, ее нравственной красоты, ее человечности, ее гуманности.

Так в двух романах обнажились внутренние миры многих и интимный мир личности. Сердца солдат взвода и сердце одного из тысяч.

«Огонь» и «Ясность» написал новый Барбюс. Он далеко ушел от того молодого поэта, который, по словам Альфреда Куреллы, «в начале столетия ошеломил простодушного французского читателя и увлек молодое поколение страстным гимном плоти, смелой картиной горячей чувственности, теми новыми словами, которые он нашел для выражения интимнейших переживаний».

Бесконечно далеки те времена, когда игра сюжетами, красками, психологическими нюансами привлекала Барбюса как самоцель. Эти времена ушли вместе с юностью, отшумевшей в

кабачках Монмартра, где богема жила своей призрачной жизнью, относившейся к реальности, как аквариум к бурно текущей реке.

Не там и не тогда почерпнул Барбюс необычайную энергию, толкавшую его сейчас на аванпосты борьбы. Она родилась в огне войны.

Большой болью переболел он, прежде чем написал эти романы-близнецы, похожие друг на друга и в то же время очень разные. Эпопею прозрения масс и героический путь личности к *Революции.*

А между тем образы поэтические, лирические не оставляли его. Они не покидали его в пору самых бурных политических и теоретических споров. Он продолжал быть художником-психологом, художником-лириком.

Литературных гурманов не удивило, что автор «Огня» «вдруг» издал изящную книжечку новелл с неожиданным названием «Несколько уголков сердца». Они держали в руках эту книжечку в светло-палевой обложке с черными рельефными буквами заглавия, напоминающую другие, выходящие в издательстве дю Саблие в Женеве. Они перелистывали страницы, просматривая выразительные гравюры на дереве, которыми Франс Мазереель иллюстрировал новеллы Барбюса. Может быть, гурманов-то больше всего влекла необычность, контрастность черно-белых сочетаний в иллюстрациях великого графика, а не содержание новелл.

Что же касается Барбюса, то, должно быть, кое-кому показалось, что он вступил на прежнюю стезю искусства, далекого от социальной борьбы.

Однако все было сложнее. Среди многочисленных дел, в заботах об издании публицистического сборника «Речи борца», между встречами, заседаниями, полемикой работа над сборником новелл не была чем-то чужеродным для Барбюса того времени.

В нем не умолкал художник. Он настойчиво требовал внимания к себе. И чем бы ни была занята голова мыслителя, как бы ни взмывал вверх его темперамент политического деятеля, поэт, художник, мастер продолжал жить и мыслить образами.

Исследуя «несколько уголков сердца», Барбюс смотрит теперь на человека глазами писателя, для которого социальное начало стоит на первом месте. Если человек совершает дурные поступки, в этом часто повинны среда, воспитание, социальные условия.

В чеканные фразы необычайной ясности, в выразительные образы, в пластические описания выливается та самая философия, какой кончалось психологическое исследование в «Ясности». Вот уже из этой мысли родилась самостоятельная новелла «Мужчина» («L'Homme»). Необузданная страсть,

чувственное исступление символизированы в образе главного героя, и они осуждены автором.

Маленькая Ивонна полна лучших стремлений; ее душа чиста, как душа ребенка; она горячо сочувствует своей подруге Марии, покинутой вероломным любовником. Она находит, этого Мужчину, бросает ему в лицо гневные обличения, требует, протестует.

«— Я никого не люблю, — объясняет он Ивонне свое поведение. — Я буду любить того, кто будет любить меня».

Он прошелся вразвалку, снова приблизился, взгляд его загорелся внезапной идеей.

«— Вас, если хотите».

«Страшный вербовщик» Мужчина покорил еще одну жертву.

Трагична судьба смирившейся, подчинившейся Ивонны.

Новелла обрамлена картинами меняющегося ландшафта. Воинственному настроению Ивонны соответствует буря, проливной дождь; в финале умиротворенная природа, стихия покоряется так же, как смиряется Ивонна, подчинившаяся грубой, властной силе.

«Там, наверху, грозовые тучи вдруг рассеялись. Заходящее солнце разлило по небу свои лучи. Женщина больше не могла ни думать, ни говорить. Она была бессильна».

Разумеется, эта картина умиротворения не в духе Мазерееля. Его гравюра передала смятение, динамику чувств, гнев, протест: густыми черными штрихами — ливень, а на его фоне — две мрачные фигуры женщин в черном. В их стремительном движении — порыв к мести. Таким, непримиримым, полюбил своего друга Франс Мазереель, соратник Барбюса по воинственному «Клярте».

В новелле «Женщина» («La Femme») героиня воплощает в себе высокое начало сострадания. Эта новелла, так же как и первая, свидетельствует об иллюзорности счастья в мире, где все подчинено купле-продаже.

В иной тональности написана новелла «Ребенок». Это уже сатира.

…Благонравное дитя, поощряемое наградами в школе, ласками родителей дома и наставлениями кюре в церкви, совершает десятки «невинных шалостей». Кики стреляет из рогатки в птицу, мучит беззащитных котят.

Дома, читая после завтрака газету, отец Кики вскрикнул от возмущения: «В Париже арестован убийца, семнадцатилетний юноша, почти дитя!»

И отец и мать залюбовались своим Кики, его благонравным видом и его наградным листом. Не будь это напечатано в газетах,

они не поверили бы, что есть дети с порочными наклонностями: «наследственный алкоголизм, увы!»

Потайные уголки сердца открывает Барбюс, пытливый, вдумчивый, размышляющий, синтезирующий. Путь от конкретного образа к обобщению-символу — это типичная черта творческого метода Барбюса. Сколько бы «земных», бытовых, повседневных наблюдений ни встречалось в новеллах, ни одно из них не представляет для Барбюса цели само по себе. Все они — отправная точка, толчок к углублению в более общие истины, в закономерности.

Прогресс художника в этом сборнике, как и в книгах новелл «Иллюзия» (1919) и «Незнакомка» (1922), в том, что он пишет не отвлеченные портреты, а людей определенной социальной среды.

Немало общего между этими миниатюрами и теми новеллами, которые вошли в сборник «Мы — иные».

Но как возросло изобразительное мастерство Барбюса! Как математически точно построены его новеллы! Как сильны, динамичны характеры, как афористичен, меток его язык! И как ясны идейные позиции!

Маленькие новеллы походят на драгоценные камни: творец как бы перебирает их в прекрасной, полной сверкания игре.

В большой прозе Барбюс мог бесконечно нанизывать образ на образ, доказательство на доказательство. Его захлестывал и подчинял себе материал, и он возвращался к одной и той же мысли, к одному и тому же художественному решению.

Форма новеллы сразу дисциплинировала художника. Он становился строгим, требовательным к себе. Беспощадно отбрасывал лишнее, был предельно скуп и широко пользовался тем, что называется теперь подтекстом.

Так в одном художнике уживалось ораторское многословие с лаконизмом, широкая панорамность с искусством миниатюры.

И совсем особой, новой гранью его таланта оказалась публицистика. Барбюса невозможно себе представить без журналистики, без публицистических выступлений.

По натуре он был горяч и страстен. Весь огонь его, вся пылкость были переключены на публицистику. Постоянные, многократные выступления приучили его к повторению одной и той же мысли, к спиральному развитию идеи, к нанизыванию одного доказательства на другое. Митинги приучили к лозунгам. Приемы его публицистики могут показаться однообразными, если… если не почувствовать ее страстность.

Революционный пафос, романтическая восторженность человека, которому открылась истина; горячее стремление открыть ее другим, исцелить людей от болезни социального

равнодушия; предельная человеческая искренность и огромная любовь к людям делали его речи, статьи не только программными. Это были как бы гимны, эпические песни, это были десятки новых марсельез, способных повести за собой людей.

Барбюс показывает «взрывчатую силу правды» и говорит о ней с той ответственностью, какая далась ему нелегким путем фронтовика. «Нравственная и социальная правда взывает к нам так красноречиво, что кажется, она зовет каждого из нас по имени!» Вот мера ответственности. Это его окопная правда призвала быть ее апостолом.

История дала людям в руки великолепный «проявитель». Теперь ценность человека в обществе измеряется отношением к русской революции. Барбюс широко понимает ее международное значение и разъясняет это своим слушателям на митингах и конгрессах.

Вершина его публицистических выступлений этого времени — статья «Мы обвиняем» (1919).

Впервые Барбюс подхватил гневную формулу своего кумира — Эмиля Золя: «Я *обвиняю!»* С этим возгласом в 1898 году один честный человек ринулся в бой против опасных общественных сил, которые пытались оклеветать невинного, чтобы убить его.

Ныне это клич всех честных людей, всех, в ком жива совесть. И Барбюс строит статью, как цепь обвинений. Каждый ее абзац, начинающийся словами «Мы обвиняем», — это гнев, направленный против тех, кто захотел потопить в крови русскую революцию. Эти повторяющиеся зачины словно подкрепляют не только мысль — они усиливают пламя революционной страсти.

Факты, неопровержимые улики против реакционных правительств Франции, Англии, Америки, против международной клики империалистов; острая саркастическая характеристика «всех этих палачей, бандитов, царских наймитов, колчаков и Деникиных»; призыв, исходящий из самого сердца писателя-гуманиста, обращенный к мужчинам, женщинам, девушкам, юношам, матерям, к тем, кого обрекают на смерть, к старым бойцам, которые прокляли войну, к работникам физического и умственного труда, ко всем французам, сохранившим верность благородным освободительным традициям родины, — этот призыв вылит в афористическую форму, в политический лозунг дня: «Спасайте правду человеческую, спасая правду русскую!»

Статья кончается коротким, разящим «Нет!» зачинщикам новой войны.

Какой бы грани дарования писателя мы ни коснулись, все говорит о том, что начало второго десятилетия века можно

назвать годами зрелости Барбюса.

Стали точными, отлились в логические формулировки и эстетические суждения. Они проходят через полемику с Роменом Ролланом и через статью «Творчество и пример Золя» (1919), но главным образом через «Исповедь писателя» (1924).

Барбюс — защитник высокой гражданской миссии искусства. Особенно в век революции, в век социализма. Ни писатель, ни интеллигент вообще не могут стоять в стороне от борьбы за социализм. Он иронизирует над эстетами, он просто «списывает их с корабля современности», вычеркивает из активной литературной жизни. Он призывает к единению всех духовных сил, всей интеллигенции, но особенно тех, кто может рифмой, образом, красками проникнуть в душу читателя-«массовика».

Его больно ранит, когда эстеты, жрецы теории «искусства для искусства» сводят роль литератора «к роли беспристрастного свидетеля и аморфного наблюдателя».

Действие, только им поверяет он гармонию, ценность людей искусства и интеллекта.

Его неистовая целеустремленность, его цельность и прямота, его непримиримость и ни на минуту не прекращающееся горение привлекали к нему всех выдающихся современников. Они могли спорить с ним, в чем-то не соглашаться, но они любили в нем эту высокую страсть служения человечеству.

«Прометей революции», «Рыцарь печального образа», «Бесстрашный трибун», «Неукротимый комбаттан» и много других сердечных и патетических определений выражают как нельзя лучше это признание, а подчас и благоговение перед Барбюсом и решимость идти за ним, потому что такой человек не предаст Истину.

ЧАСТЬ III
АТАКА

ГЛАВА ПЕРВАЯ

1

На арену истории вступали двадцатые годы: наметом буденновской конницы; железным шагом пролетарских Таращанского и Богунского полков; маршем Перекопских дивизий; стачечными пикетами английских горняков; отрядами защитников гамбургских баррикад…

Под знаменем III Интернационала шли победоносные двадцатые годы.

В пушечном гуле белопольских армий, в жестокой пурге кулацких восстаний, в огне кронштадтского мятежа наступали трудные двадцатые годы.

«Ночь кончается в Туре» — назовет свою книгу французский писатель-коммунист Жан Фревиль.

В 1920 году в Туре ветеран революционных битв Марсель Кашен, двадцатилетний Морис Торез, уже испытанный боец пролетарского движения, пламенный трибун Поль Вайян-Кутюрье и многие другие, чьи имена дороги рабочим Франции, закладывают основы великой партии коммунистов.

Ее незапятнанное знамя будет реять в политических боях с буржуазией и в стычках с реакцией. Оно подымется символом братской помощи республиканской Испании и протестом против угнетения Марокко и Туниса.

В дни тяжких испытаний, незримое, оно будет шелестеть над головами франтиреров. Оно прошумит грозным предупреждением поджигателям войны и клятвой генерального секретаря Коммунистической партии Франции — Тореза: «*Никогда народы Франции не будут воевать против Советского Союза!*»

«Спасите человеческую правду, спасая правду русскую!» — взывает Барбюс.

Для того чтобы родились эти слова, мир Барбюса должен был неизмеримо расшириться. «Только тот видит правильно, кто смотрит далеко», — таксам Барбюс определил свое новое видение мира. Барбюс разоблачает палачей русской революции, правителей, организовавших нашествие четырнадцати государств на молодую республику. Его публицистика мускулиста, она бьет с размаху, она не дает противнику подняться.

Меньше всего Барбюса соблазняет роль воинствующего

одиночки. Как никогда, он чувствует потребность объединения.

Первый, к кому обращается мысль Барбюса, — это его великий соотечественник. В 1917 году Ромен Роллан сказал добрые слова об «Огне». Это было неожиданно. Он показал тем самым свое отношение не только к борьбе с насилием вообще — свое отношение к империализму.

С двойственным чувством прочитал Барбюс статью Ромена Роллана в «Журналь де Женев». Тронуло искреннее волнение, с которым автор статьи писал об «Огне». Но было еще нечто, привлекшее Барбюса: весь дух статьи.

В ней Роллан не был самим собой, не был автором книги «Над схваткой». И, может быть, это был новый Роллан? Он выглянул в окно своей «башни из слоновой кости». Значит ли это, что он готов выйти из нее и спуститься на землю? На землю, где дуют жестокие ветры классовых битв, где в огне и муках рождается новый мир? Не подать ли ему руку. Руку друга, на которую он может опереться? Барбюс был готов на это.

До войны они были слишком далеки друг от друга. Писателя-философа, вероятно, покоробила грубая чувственность барбюсовского «Ада», и шум, поднятый вокруг «неприличного» романа, оскорбил его слух.

В годы войны Барбюс ловил отголоски споров вокруг книги Роллана «Над схваткой». Без размышлений он отринул позицию автора, позицию абстрактного гуманизма. Как могло быть иначе? Барбюс был в самой гуще схватки. Солдату, стоявшему сутками в воде по пояс, были чужды абстракции, рождавшиеся у Роллана на вольных просторах «нейтральной» Швейцарии.

Когда у парижских книгопродавцев появилась новая книга Роллана «Клерамбо», Барбюс схватил ее с надеждой. И не разочаровался. Он нашел в ней нечто близкое, почти родное. Если отшельник из Веве так перестрадал войну, Барбюс готов протянуть ему руку.

Так началась дружба-полемика, дружба — вечный спор и постоянное взаимное влечение.

Два высоких, чуть сутулых человека стоят друг против друга в редакции «Юманите». Взгляд Роллана задумчив, туманен, у него бледное лицо, несущее следы глубокой мысли. Барбюс порывист, нетерпелив, напорист. Их взгляды скрестились. Они как бы говорили: «С тобой будет нелегко, но и без тебя уже невозможно».

Они пришли к мысли о необходимости создания новой организации и нового издания — «Клярте» («Свет»).

Этим словом кончается манифест организации, написанный Барбюсом. Журнал назван чисто по-барбюсовски: символично и броско. «Пусть и группа называется «Клярте», — предложил

Роллан. «Свет» и «Ясность» — это самые человеческие слова.

Читатели «Юманите», любимой газеты всей трудовой Франции, называемой дружески-фамильярно «ЮМА», нашли в первомайском номере известие о создании международного объединения интеллигенции «Клярте» и о его составе.

Барбюс и Роллан открывали список имен известных всему человечеству мастеров культуры: Анатоль Франс, Поль Вайян-Кутюрье, Георг Брандес, Томас Гарди, Бласко Ибаньес, Эптон Синклер, Альберт Эйнштейн, Стефан Цвейг…

Могучее сообщество. «За такими можно в огонь и воду!» — с радостью говорили одни. Другие исподволь начинали собирать силы противодействия. Третьи настороженно молчали.

Что объединило людей и художников столь разных направлений? Какой флаг поднялся над строгим зданием «Клярте»?

Верность идее освобождения человечества. Поддержка народных масс, идущих к власти ради справедливой перестройки общества. Решимость соединиться с массой борцов против чудовища империализма, против губительного лицемерия лжепатриотов, против гнусности морали, скрывающей жадность хищника.

Такие мысли были положены в основу объединения.

Слова об «общем строе» «боевого отряда» на страже культуры придавали манифесту звучание сигнала к атаке.

Так создавался «интернационал мысли». Он просуществовал недолго, и некоторые из участников его в бурном течении времени утратили боевой дух зачинателей «Клярте». И все же этот союз оставил на страницах истории печать благородных стремлений — разить империализм и отвести от молодой Страны Советов руку ее палачей.

«Клярте» впервые соединила Анри Барбюса и Ромена Роллана.

Роллан дивился энергии, боевитости Барбюса. Он не мог, как Барбюс, искать схватку, но уже был готов прикрыть собрата в ее разгаре.

Новый друг овладел мыслями Роллана, как овладевает образ воображением художника. Вот такими могли бы быть в жизни сильные духом люди, которых Роллан изображал в своих книгах. Даже сам Жан-Кристоф Крафт!

При встречах они все чаще обращаются к имени русского титана. Они решили писать ему, привлечь его к их общему делу.

— Какие у вас сведения о Горьком? — спрашивает Роллан.

— Увы, неважные. У него туберкулез, он сам написал мне об этом из Берлина. Теперь он уже, вероятно, в Шварцвальде.

— Но ведь он обещал писать в «Клярте»?

— Да, как только почувствует себя лучше. — Барбюс помолчал немного. — Чем только платить будем? Наш бюджет — это чистая символика. Двадцать пять франков за страницу — становится даже стыдно.

— Дорогой друг, надо знать Горького. Ваш тариф только убедит его в независимости «Клярте», в том, что наши руки чисты.

И все же что-то сильно беспокоило Роллана в тактике Барбюса. Горячность и резкая прямота, ярая ненависть к зачинщикам войн и страстная революционность — не угрожают ли они устоявшемуся идейному миру Роллана?

Автор «Жана-Кристофа», хранитель духовных ценностей человечества, встревожен. Он опасается «крайностей» Барбюса, а в особенности его прямолинейных сторонников.

Признав необходимость борьбы против войны, Роллан еще живет в «царстве Духа и Разума». Только на несколько ступенек он спустился вниз из своей башни с надписью: «Над схваткой». Но, пройдя эти несколько ступенек, он увидел, что нужно отдать правде Барбюса все — проститься со всеми своими абстрактными святынями.

Тогда и начались разногласия. Незаметно для самого себя, честного сторонника революции, Роллан оказал услугу всевозможным прекраснодушным жрецам «независимости Духа», тем, кто стал «более роялистом, чем сам король». «Ролландистами» в пору расцвета деятельности группы «Клярте» называли Жоржа Дюамеля, Пьера Жана Жува, Стефана Цвейга и других «подданных царства Духа», боявшихся революционных мер и предпочитавших позицию «над схваткой» борьбе с капитализмом.

3 декабря 1921 года подписчики «Юманите» с изумлением прочли статью Анри Барбюса, впервые употребившего термин «ролландизм». Он объявил войну «политике невмешательства в политику».

«Как ни переворачивай в разные стороны слово «политика», оно от этого не перестанет означать «осуществление», — в области, где все надо осуществить и где чистая идея улетучивается или так и остается чистой идеей», — писал Барбюс.

Так начался жаркий спор между «ролландистами» и «клярт истами», как называли сторонников Барбюса.

«Я поднял перчатку», — сказал Роллан и в январе 1922 года в открытом письме, напечатанном в брюссельском журнале «Ар либр», вступил в «генеральное сражение». Роллан снова напоминал девиз Клерамбо: «Один против всех». Разумеется, он

чувствовал всю несостоятельность этого девиза. Приходилось прибегать к туманным разъяснениям: «Один против всех — это тот, кто спасает сокровище, принадлежащее всему человечеству, сокровище, которое в пылу битвы оно рискует потерять».

Как много нужно будет пройти великому мыслителю, чтобы понять истину Горького: «Один и все!» Роллан признается в своих заблуждениях, он скажет: «Горький открыл мне глаза на мои ошибки».

Пока же в споре с Барбюсом Роллан со страстью фанатика пытается примирить позицию индивидуализма с симпатией к революции.

И все же Барбюс очень дорожил им. И потому, что Роллан был ему лично близок. И потому, что это имя помогало привлекать к движению «Клярте» других колоссов мысли. Но даже Роллану Барбюс не может уступить ни крупицы своих убеждений. Его бесит расплывчатость мысли, размывание действенной революционной страсти в потоке общих фраз.

А ретивые «кляртисты», такие, как Марсель Мартинэ, закусив удила, стремились вовлечь Барбюса в травлю Роллана. Они отказывали Роллану в праве называться революционером.

Атмосфера накалялась. «Какое вы имеете право выносить такие решения, что кто не думает, как вы, тот уже стоит за порогом революции?» — пишет Роллан в феврале 1922 года.

«Кляртисты» вещали: «Цель оправдывает средства», они призывали интеллигентов отказаться «от щепетильности в вопросах чести». И как часто бывает, крайние взгляды высказывались неустойчивыми. Марсель Мартинэ, так «непримиримо» бившийся с «ролландистами», позднее совсем отошел от рабочего движения, так и не сделав ничего существенного для народа.

Барбюс не поощрял нападки «бешеных» на «ролландистов», ранившие и самого Роллана. Его критика была дружеской, тактичной. Он боялся оттолкнуть Роллана. Он разоблачал «софистов с того берега», которые пользовались именем Роллана всуе. Он оберегал от клеветы «человека, которым заслуженно гордится эпоха».

Вот почему личные отношения между двумя великими французами оставались дружескими, несмотря на горячую полемику. «Я всегда восхищался тем поразительным умением владеть собой, какое проявлял Барбюс в самый разгар схватки, перед лицом противников, часто допускавших язвительный тон», — писал позднее Ромен Роллан.

Однако нападки Мартинэ сделали свое дело. Со злобной радостью Мартинэ и его единомышленники расширяли пропасть

между Ролланом и «Клярте». Не выбирая выражений, не щадя авторитетов, они наскакивали на противников. Это переполнило чашу терпения. В последней статье, помещенной в «Ар либр» в апреле 1922 года, Роллан — восстал против «фанатической узости некоторых революционеров». Он снова подчеркнул свою симпатию к Барбюсу с мудростью, доступной мыслителям широкого масштаба, и отделил его от «кляртистов».

Роллан остро ощущал наступление реакции. Он уехал из Франции 30 апреля 1922 года, вновь избрав своим пристанищем Швейцарию.

В Вильнёве Роллан не был одинок. «Мое относительное отдаление от Парижа приблизило меня к остальному миру», — записал он в дневнике. Возникли многослойные связи с прогрессивными деятелями всего мира, Европы и Азии. Пришло увлечение гандизмом.

На некоторое время оборвались дружеские нити, связывавшие Роллана с Барбюсом, но они снова будут вместе в правом бою, в наступлении на фашизм.

…В своем дневнике Роллан вспоминает, что в детстве он молил бога, неведомого бога, сделать его великим или послать ему смерть! «Еще и теперь я прошу его: «Сделай так, чтобы я каждый день шел вперед — или убей».

Барбюсу было по пути только с теми, кто «каждый день шел вперед». О своем пути он мог бы сказать словами Роллана:

«Дорога была крутая, каменистая. Но вопреки всему прекрасная. Было из-за чего кровавить ноги».

…Много сил отнимала у Барбюса «Клярте», особенно борьба мнений в группе. И все же эта организация делала свое дело. Ее ядро составляли те, кто считал политическую программу группы близкой к целям и задачам III Интернационала.

В ноябре 1922 года важное событие всколыхнуло «Клярте», дало новые силы участникам организации. В редакции журнала собрались разные по темпераменту, характеру, даже по убеждениям, но живущие одной всеобъемлющей идеей люди: Барбюс, Франс, Вайян-Кутюрье и другие.

В глубоком и строгом молчании они слушали Барбюса, в руках которого была телеграмма Ленина. Имя Ленина вошло в жизнь каждого из них. Нельзя было разделять передовые взгляды времени, не зная Ленина, не видя в нем знамени эпохи.

В словах Ленина, исполненных мудрости, они слышали понимание и поддержку:

«Дорогие друзья!

Пользуюсь случаем, чтобы послать вам наилучший привет. Я

был тяжело болен и более года не мог видеть ни одного произведения вашей группы. Надеюсь, что ваша организация «des anciens combattants» сохранилась и растет и крепнет не только численно, но и духовно в смысле углубления и расширения борьбы против империалистической войны. Борьбе против такой войны стоит посвятить свою жизнь, в этой борьбе надо быть беспощадным, все софизмы в ее защиту надо преследовать до самых последних уголков.

Лучшие приветы.

Ваш *Ленин*»[12]

Вероятно, наиболее бурно, восторженно, глубоко воспринял эти слова Барбюс. Пусть были трудности и тернии. Однако его линия была верна. Дело «Клярте» нужно международному движению. Письмо Ленина было признанием их дела.

Из-под пера Барбюса снова пулеметными очередями вылетают острые, разящие статьи против врагов мира, против империализма.

Барбюс атакует, но вместе с тем он показывает, какой рассвет, какая ясность ждет за гранью ночи, прошитой пулями, озаренной пламенем битвы. Журнал «Клярте» расхватывается многоликим читателем.

Среди массы людей, с ожиданием и надеждой разворачивающих «Клярте», есть могучее ядро — вчерашние окопные братья.

Они не были людьми «потерянного поколения». Наоборот, эти люди обрели, они нашли правду. Вышедшие из их среды солдаты мира Барбюс, Вайян-Кутюрье и Лефевр помогали углублять эту правду в сознании бывших фронтовиков.

Собратья по окопам, к которым они обращались, хорошо понимали, что им не могут посулить никакого рая. Фронтовики-трибуны не сулили ничего. Они звали не складывать оружия, не терять боевого духа, сохранить его для наступления на империализм.

В эти годы была написана еще одна антивоенная книга. Она появилась в шуме одобрения, отголоски которого слышны еще и сегодня: «На западном фронте без перемен». Ее автор Эрих-Мария Ремарк заклеймил войну, обнажил ее ужасы и… оставил в безнадежности и растерянности своих читателей. Ему нечего было сказать им, кроме того, что «война — это подло». Глубоко человечная и прочувствованная, книга эта была, однако, лишена крыльев. Ее идеи не поднимали, а обессиливали. Антиимпериалистский дух ее находил отклик в душе бывших солдат. Но в ней не было просвета. И ей предпочитали «Речи

борца» и уже вышедшую к тому времени отдельным изданием «Ясность» Барбюса. Прочитав их, человек убеждался, что он чего-то стоит, что он может многое сделать и многое предотвратить. Нужно только единение.

Барбюс любил повторять это слово. Герои его книг находили радость в солидарности. Без нее человек попадал в тупик, его подстерегали отчаяние и безнадежность. Герои-одиночки Ремарка не поняли этой непреложной истины века. Герои Барбюса ее обрели.

В мае 1920 года Барбюс открыл в Женеве I конгресс Интернационального союза фронтовиков. Этому предшествовали отклики на манифест Союза комбаттанов, демонстрации, митинги. Правительство встревожено популярностью этой организации. Начинаются аресты и обыски. Реакционная пресса пускается на гнусные измышления о руководителях союза.

Тревожные, напряженные дни. Их тревогу, напряжение, трудности Барбюс разделял с друзьями. В своем большом труде он идет рядом с Марселем Кашеном, Морисом Торезом, Вайяном-Кутюрье — руководителями Коммунистической партии Франции. Между ними не было разногласий, они одинаково оценивали обстановку и в равной степени принимали на себя удары реакции.

Статья Барбюса «С ножом в зубах» была прямым и суровым обращением к интеллигенции, набатным призывом стать на сторону социалистической революции. Статья, резкая, не оставляющая сомнений в позиции автора, создала ему особое положение в литературе и обществе.

«Неистовый комбаттан» был неистов и в любви и в ненависти. И он получил сполна все, что заслужил: любовь одних и ненависть других. И чем острее был политический момент, тем выше вздымались волны любви и ненависти вокруг Барбюса.

2

Здоровье Барбюса, подорванное войной, заставляло его «продлевать лето». Зимой он жил в Антибе. Из окон виллы «Селестина» широко открывалась перспектива. Старый город, выдаваясь далеко в море, встречал его прибой древними стенами крепостей, придававшими Антибу суровый и романтический вид.

Город амфитеатром спускался к морю, обвитый спиралями дорог. Во всем облике Антиба было что-то мужественное, напоминавшее о его героическом сопротивлении австрийцам в начале прошлого века. И это не смягчалось бело-розовой пеной фруктовых садов, затопляющей веснами склоны холмов.

Вилла «Селестина» была невелика. На второй этаж вела провинциальная деревянная лестница с крутыми ступенями. Барбюс работал в маленькой комнате с окнами, распахнутыми в густую синь моря. Зимой в доме топили печи. Барбюс любил, отрываясь от работы, подбрасывать в огонь сосновые поленья, глядеть на пламя, прислушиваться к треску сухого дерева.

В комнате царили хаос и табачный дым, как везде, где он работал.

Все, что здесь стояло: стол, стулья и даже кровать, было завалено бумагами. Они торчали из ящиков комода, устилали пол. Это было наводнение, поток бумаг затоплял комнату. Барбюс стоял у окна, небрежный и живописный в своем рабочем костюме — зеленой куртке и коричневом жилете. Его руки были в непрерывном движении, нервные, худые, с тонкими, очень выразительными пальцами. Он отбрасывал прядь волос, падавшую на висок, стряхивал куда попало пепел папиросы, теребил концы своего кашне.

Он диктовал секретарю: это были ответы на бесчисленные письма, адресованные группе «Клярте», или рукопись книги «Речи борца». Литературная и организационная работа переплетаются: Барбюс не умел и не хотел их разделять. Он диктует своим низким, чуть дрожащим голосом.

Аннет Видаль делает свою работу точно, деловито и с тем вдохновением, которое дается глубоким пониманием хода мыслей ее шефа.

Как она попала сюда? Как это случилось?

В январе 1920 года Аннет Видаль встречала Маргариту Кашен, приехавшую из Антиба. В вокзальной сутолоке были сказаны слова, повернувшие жизнь маленькой женщины, — ни одна из собеседниц ни в коей степени не предугадывала этого!

Просто Маргарита Кашен попросила:

— Наш друг Анри Барбюс живет в Антибе. Он мучается без секретаря. Может быть, вы ему поможете, постенографируете.

Нет, Аннет не умела стенографировать. И вместе с тем она не хотела отказывать: она уже знала Барбюса по его книге. Она хотела его увидеть. Она нерешительно ответила, что может ненадолго поехать в Антиб. Ей достаточно было провести несколько часов в этой странной комнате, полной дыма и беспорядка, где все было подчинено бешеному темпу работы ее хозяина. И вот она уже захвачена удивительной атмосферой, наполнявшей «Селестину».

«Я приехала помочь ему в течение нескольких дней и осталась на пятнадцать лет», — напишет она позднее в своих воспоминаниях.

В Антибе необыкновенно красивая, мягкая зима. Однажды утром яркая зелень деревьев покрывается блестящим на солнце белым покровом. Туи под окном похожи на святочные елки, посыпанные бертолетовой солью. Лавры несут неожиданную ношу со всем достоинством своей вечнозеленности. Идет снег. Снег, падающий в море… Растворяющийся в море, поглощаемый им, бесследно исчезающий. Как символ тленности человеческой жизни. Как напоминание. Как memento mori[13].

Барбюс вспоминает строки, когда-то тронувшие его: «Символ жизни людской, бесконечно слабый и нежный, в море, все пожирающее, падает снег»… Но что-то в нем самом сильно, решительно изменилось. И человеческая жизнь представляется ему уже не в образе снега, а скорее — моря. Вечного, стремительного, животворящего.

В Антибе, как всегда, мобилизация, боевая тревога, аврал, несмотря на то, что это всего лишь рабочая комната. Поток свежего воздуха, целебной смеси ароматов моря, солнца и только что выпавшего снега, не в состоянии заполнить ее. Так прочно поселились здесь другие запахи: табака и кофе — спутников рабочей поры Барбюса.

В этот день с его неожиданным морозцем, снегом и чистотой Аннет пришла, разгоряченная спором, из которого только что вышла, ну, конечно же, победительницей! О чем был спор? О судьбах мира. Таково наше время. Споры ведутся на уровне эпохи. Решается судьба поколений. Барбюс отлично понимает эту девушку, живущую в самом центре, в самой точке кипения политических страстей. Крайность ее воззрений созвучна ему.

Разматывая шарф, румяная с мороза, с блестящими глазами, маленькая, подвижная, как ртутный шарик, Аннет мелькает в разных углах комнаты: одновременно она собирает листы рукописи — у ее шефа такой беспорядок, — налаживает машинку и рассказывает, все еще погруженная в недавний спор:

— Дискуссии идут сейчас всюду. Они разбивают дружбу и раскалывают семьи. В нашей семье все трое — на разных позициях… Второй Интернационал себя изжил: надо понимать!

Барбюсу нравилась прямолинейность этого крошечного солдата революции.

— Вы, конечно, на крайних позициях?

— Я не на крайних, я на справедливых. Я за Третий Интернационал.

Он согласен с ней. Он всем сердцем с русской революцией, с коммунистической партией, с Вайяном и Кашеном. Но, может быть, его деятельность будет менее эффективной, если он и организационно свяжет себя с партией?

Его прямодушный секретарь Аннет не разделяет этих сомнений. И, может быть, она права.

Черноволосая голова маленькой девушки склоняется над рукописью, ее пальцы летают по клавишам машинки. Аннет Видаль не только секретарь. Это сама юность Франции, ее боевитость, ее порыв, ее страстность вошли в дом Барбюса.

Идет тревожный 1923 год.

Французские войска вступают в Рур. Коммунистическая партия Франции раскрывает глаза массам на этот акт. Она обрушивается на политику насилия и захвата. Она пророчески заявляет, что Пуанкаре-Война льет воду на мельницу германского реваншизма. Она призывает французских солдат брататься с немцами.

Коммунистическая пропаганда имеет огромный успех. Французские солдаты отказываются стрелять в безработных Эссена. В Дуйсбурге и Дортмунде солдаты отбрасывают винтовки и обнимают своих врагов. В строю вспыхивает песня: это «Интернационал». На штыках карабинов загораются красные лоскутки. Они как обещание, как клятва, как знак того, что это оружие не обратится против братьев.

Буржуазная пресса подымает привычный вой о «заговоре», об «измене родине». Разворачивается пожелтевший альбом с адресами опытных провокаторов.

Компартию обвиняют в антифранцузской пропаганде. За дымовой завесой воплей об «антипатриотизме» коммунистов Пуанкаре подписывает ордера на аресты. Схвачены все деятели партии, даже пользующийся депутатской неприкосновенностью Марсель Кашен. В тюрьму Санте брошены руководители партии и унитарной конфедерации труда.

Как всегда в решающие поворотные моменты, политические авантюристы, случайные элементы, маловеры спешат покинуть корабль партии, выходящий в открытое море большой политики, готовый к генеральным боям за рабочее дело.

Партия только выигрывает от их ухода.

В тяжелые дни репрессий против коммунистов раздается мужественный голос Барбюса: «Я с вами. На всю жизнь. Я ваш».

18 февраля Барбюс сказал Аннет:

— Сейчас я продиктую вам… — Это было заявление в секцию Французской Коммунистической партии VII округа Парижа.

Барбюс — член коммунистической партии! Это произвело впечатление на всю Францию. Посыпались письма, запросы: что побудило его? Автор «Огня» с коммунистами? Тут было над чем задуматься среднему человеку.

Ему пятьдесят лет. Он вступает в Коммунистическую партию Франции зрелым, видавшим виды солдатом Он не чувствует бремени годов. И теперь, когда он вошел в братство, скрепленное великими идеями коммунизма, силы его удесятерились. Он становится коммунистом в тяжелые дни борьбы и репрессий, когда над партией нависли грозовые тучи.

«…Мы могли поздравить себя с блестящим приобретением: автор книги «В огне» Анри Барбюс, основатель республиканской Ассоциации бывших воинов, вступил в коммунистическую партию», — записал в своей книге «Сын народа» Морис Торез.

Политические преследования Барбюса принимают ощутимые формы.

На заседании съезда Международной ассоциации комбаттанов Барбюс, обращаясь к старым фронтовикам и французской оккупационной армии в Германии, говорил: «Если вам прикажут выступить против ваших немецких братьев, которые в своей груди и сердце носят солидарность с другими пролетариями, никогда этого не делайте. Поймите, на чьей стороне стоит ваше дело и ваша судьба, прежде чем совершить преступление послушания вашим руководителям».

Основываясь на этих словах, французская юстиция выдвигает против Барбюса обвинение в подстрекательстве к неповиновению приказам командования. Это опасное обвинение, оно зиждется на законе 1921 года, грозящем суровой санкцией каждому, кто в любой форме будет призывать войска к невыполнению их обязанностей. Начинается следствие. Барбюс вынужден переступить порог Дворца правосудия на площади Нотр-Дам в качестве обвиняемого.

Друзья предупреждают Барбюса: возможен обыск, может быть, арест. Однажды вечером он сжигает в камине письма. Он смотрит на охваченные огнем страницы и вспоминает дорогу, пройденную вместе с людьми, исписавшими их словами доверия и любви.

Он передает рукопись новой книги Аннет Видаль, и она увозит ее с собой в Париж. Он провожает ее до станции, настороженный, собранный, готовый ко всему.

Но даже прожженные политические махинаторы не решились привлечь к суду Анри Барбюса.

В 1925 году вышел последний номер журнала «Клярте» с декларацией Барбюса: «Осуждаете ли вы войну? Да или нет?» Более сотни писателей, художников, ученых подписали протест против войны в Марокко.

Их манифест напечатан на обратной стороне оттиска картины Стейнлена «Цивилизация»: по пустыне, залитой кровью,

по трупам негров движутся дикие отряды завоевателей.

Это было вызовом пацифизму, культу Духа и Интеллекта. Факты призывали к антивоенным действиям.

Поднялся вой со стороны «благонамеренных». Французские ученые взяли в штыки манифест Барбюса. Они вещали: «Интеллигенция на стороне родины». В их воплях вскипала грязная пена ура-патриотических речей 1914–1915 годов.

Реакция активизировалась. Она привлекала на свою сторону неустойчивых, бывших энтузиастов «Клярте». Отступники становятся раболепными слугами империализма.

«Тем теснее нужно сплотить тех, кто тверд, вокруг партии, — так думает Барбюс, перечитывая истерические статьи в правых газетах. — Партия! Вот опора».

ГЛАВА ВТОРАЯ

1

Двадцатые годы шли по Европе, пестрые, шумные и загадочные, как маскарадное шествие. Еще трудно угадать, безумец или преступник скрывается под маской шута, имитирующего Наполеона. Трудно разобрать, картонным ли мечом — а может быть, сталь блеснула? — размахивает человек с бычьей шеей, в доспехах оперного тореадора.

В Италии дюжие парни в черных рубашках бросают камни в евреев и пишут на стенах погромные лозунги. Они называют себя «фашисто», болтают о свободе и кричат, что им будет принадлежать мир.

Никто не обращает на это серьезного внимания. В эстрадных театрах поют модную песенку: «Бродят по улицам фашисты. К дамам они пристают».

В мюнхенской пивной «Левенброй» Адольф Шикльгрубер, закатывая глаза и брызгая слюной, вопит о реванше. Над ним' не смеются только потому, что считают его припадочным.

Но в глубокой тайне уже действуют люди, в далеко идущие политические расчеты которых входят и «чернорубашечники» и припадочный ефрейтор.

Существует мнение, что Барбюс после «Огня» и «Клярте» — это оратор, организатор, трибун… Писатель? Да, конечно. Но особого толка. Пламенный публицист, газетчик.

Между тем никогда Барбюс не был в такой степени Писателем с большой буквы, как в эти годы. Прозрение сделало его счастливым. Ясность мировоззрения цементировала все, что разрозненно блуждало в его сознании. Теперь это мировоззрение укреплялось. Оно освещало ровным и сильным светом его путь.

Барбюс полон творческих замыслов. Идея новой книги созревала долго.

В мае 1924 года Аннет Видаль возвращалась из Швейцарии по вызову Барбюса. Старенький экипаж мягко катил по лесной дороге из Санлиса в Омон. Стояла обычная и всегда удивительная французская весна. Галатский лес кончился. В конце длинной деревенской улицы путница искала зеленую ограду с узкой калиткой и табличкой «Сильвия». Она долго напрасно дергала ручку звонка. Возница, поворачивая свой неуклюжий рыдван, бросил ей: «А у них всегда открыто!»

Она слышит громкий лай Ариеля: ей кажется, что он стал басовитей и солиднее. И вот по дорожке идет навстречу ее шеф, высокий, худющий, характерным жестом отбрасывающий прядь волос, падающую на висок.

И тотчас он ведет ее в дом, где еще топятся печи и стоит сухой, чуть припахивающий дымком сосновых поленьев воздух. Как всегда — наводнение бумаг. Всюду листы, исписанные бисерным почерком. Это начало работы над книгой «Звенья». Она задумана давно, к ней делались эскизы, наброски.

Труд над книгой начался. Барбюс работал над черновиком, потом диктовал. Под стук машинки он продолжал вносить поправки в текст. Потом снова работал над отпечатанным вариантом. Правильнее сказать, заново писал его. И снова диктовал. Книга много раз переделывалась. Барбюсу хотелось достичь простоты и ясности формы, из которой выступала бы основная мысль.

Работа шла трудно. И все же книга была сделана в полную силу.

Начиная с «Ясности» Барбюс формировался как мыслитель. В книге «Звенья» он и предстает мыслителем с философским видением мира, с раздумьями о будущем.

А в декабре все началось сначала. Но это была уже работа над корректурой. Такая же скрупулезная, с тем же изнуряющим напряжением бессонных ночей.

Это происходило на «зимних квартирах». Вилла «Вижилия» в Мирамаре была пуста и холодна. Наступала новогодняя ночь, и, как говорят в народе. Новый год обещал все то, чем была заполнена эта ночь. В данном случае — вдохновенным трудом. И это могло только радовать Барбюса, склоненного над листами корректуры в большой нетопленной комнате.

Около полуночи последний лист лег на кипу выправленных страниц.

— C’est tout![14]

На возглас Барбюса Ариель поднял свою большую голову. Глаза его понимающе засветились. Во всяком случае, так утверждал его хозяин.

— Сейчас мы будем праздновать.

Аннет удивлена. Чем можно отпраздновать Новый год? Они бедны. Ни у кого из них не было времени подумать о празднике.

Барбюс с лампой в руке отправляется на поиски. Маленький секретарь следует за ним, чрезвычайно довольный окончанием изнурительной работы. И несмотря на то, что нет никакой надежды что-нибудь поесть.

Они бредут по комнатам. Их смешные тени, большая и

маленькая, крадутся за ними, как тайные сообщники. Тщательный обыск принес некоторое утешение. Обнаружены яйца и полбутылки рома. С необычайным воодушевлением Барбюс объявляет меню новогоднего стола: омлет с ромом!

Большая печь в кухне холодна и величава, словно саркофаг. С солдатской сноровкой Барбюс раскалывает сухое полено и разжигает печь. Он подбрасывает сосновые ветки — в широкую дверцу печи, огонь охватывает их постепенно. И вот тонкие сучья вспыхивают, искры сыплются из печи. Это настоящий новогодний фейерверк!

Омлет великолепен. Прежде чем зажечь ром, которым он облит, они тушат свет. Синее пламя, пляшущее на блюде, торжественно и немного таинственно освещает большой пустынный стол и десятком бликов мерцает в зеркале на стене.

Здравствуй, 1925 год! Что ты сулишь? И какая судьба ждет книгу? Утром 1 января 1925 года Аннет несет на почту толстую рукопись.

Марсель Виу, садовник, смотрит вслед девушке. Она забыла перчатку на перилах террасы. Но он не возвращает Аннет: он суеверен!

2

Новая книга «Палачи» была создана по живым следам событий.

Осенью 1924 года мир был потрясен злодеянием румынских властей в Татарбунарах. Три дня повстанцы удерживали в жестоких боях с регулярными частями свою цитадель — деревню Татарбунары. Целью ее героических защитников было установление советской власти и воссоединение с великой страной по ту сторону Днестра.

Восстание было подавлено. Каратели растерзали Татарбунарскую республику, замучили и убили более двух тысяч человек.

Через год состоялась комедия судилища над сотнями крестьян. Правительства Франции и Англии пытались использовать процесс для провокационной кампании против СССР. Прогрессивные силы встали на защиту татарбунарцев.

В эти годы создается организация с коротким названием, звучащим, как сигнал бедствия, как призыв о помощи: «МОПР» — Международная организация помощи революционерам.

Она проникает в застенки белой Румынии и Венгрии, панской Польши — всюду, где во тьме казематов, в каменных мешках томятся борцы революции. Ее символ: красный платок, как язык

огня, вырывающийся между толстых прутьев тюремной решетки.

Барбюс отдает организации весь пыл своей ненависти к палачам. Как сейсмограф, точно отмечающий колебания почвы в любом пункте земного шара, он получает сигналы отовсюду, где наступает реакция, и спешит на помощь.

В середине 20-х годов одним из очагов злодейских преступлений против революции и против человечности была белая Румыния.

Тысячи невинных людей заполнили тюрьмы страны.

МОПР повел кампанию в защиту татарбунарцев. Барбюс выезжает на место событий.

Редкий снег медленно, нехотя падал на серо-черную карту полей. Скудные, растрепанные деревушки, казалось, беспрерывно повторялись за окном поезда — так однообразен был унылый их вид. Иногда у переезда мелькала телега с возницей в рваной овчинной шубе, безучастно глядящим на пробегающий поезд; группа детишек, переминающихся с ноги на ногу в своих худых постолах; из пролетки с поднятым кожаным верхом выглядывало холеное лицо священника. Неподалеку от станции молчаливые, укутанные до бровей женщины, нахохлившиеся, словно куры под дождем, продавали сушеные сливы и кукурузные лепешки. Станционный жандарм в косматой шапке похаживал среди них нарядным и бездельным петухом. И не слышно было ни бойких выкриков, ни обычного шума базара.

Три пассажира в купе курьерского поезда поддались щемящему чувству печали, исходившему от этих мест. Барбюс, мадемуазель Поль Лами, адвокат из Брюсселя, и учитель Верноше, председатель Интернационала работников просвещения, понимали трудности своей миссии на Балканах: проверить ужасающие вести о терроре; собрать материалы о татарбунарских событиях; сделать все возможное для облегчения участи жертв реакции.

Правительство Румынии не могло запретить въезд в страну Барбюсу и его спутникам, но им было ясно, что будет нелегко вырвать жестокие тайны палачей.

И сейчас разговор вращался вокруг событий на Балканах. Барбюс знал о них больше, чем его товарищи. Готовясь к поездке, он углубился в изучение материалов, в письма заключенных в тюрьмах Румынии. И во Франции и во время его поездок по Европе к нему обращались беглецы, вырвавшиеся из застенков Балкан. Их истории, каждая по-своему трагическая, глубоко проникали в его сознание. Он воспринимал беду народа через судьбы людей, которых с содроганием слушал в Париже, Берлине

или Вене. И перед ним возникали улицы городов, в которых он никогда не был, и дома, порога которых не переступал, обездоленные семьи у разрушенного очага и те, кого они лишились: отцы и сыновья, схваченные палачами. Он видел их в тюрьмах Галаты и Жилявы, истерзанных физическими и нравственными пытками.

Поглощенные разговором, спутники не сразу заметили, что поезд стоит у семафора в виду большой станции. Суета на путях подсказывала необычность остановки.

— В чем дело?

Проводники пожимали плечами.

Началась странная передвижка на запасный путь. Никто не мог объяснить, в чем дело. Начальник станции бормотал о «неувязке в расписании», пассажиры соседних купе криво усмехались.

Отчаявшись выяснить причину задержки, Барбюс нервно ходил вдоль состава, подняв воротник пальто и глубоко засунув руки в карманы. Снег все еще шел. Ветер гнал по насыпи поземку. Впереди желтели огни станционных фонарей. Какое-то беспокойство было разлито в воздухе, что-то гнетущее ощущалось вокруг: поезд, замерший на рельсах тупика, настороженные лица пассажиров, уклончивые объяснения железнодорожных служащих.

Он не заметил, как очутился в хвосте поезда и едва не налетел на согнувшуюся фигуру у вагона. Это был смазчик. Он выпрямился и рассмеялся в ответ на отрывистое извинение Барбюса. Белые зубы его на закопченном лице сверкнули неожиданным веселым бликом в мрачном сумраке.

На ломаном французском языке он спросил:

— Небось посылаете ко всем чертям эту поездку?

Барбюсу понравилась непосредственность молодого человека с черными цыганскими глазами, полными дружелюбного любопытства.

— Послушай, приятель, может быть, ты объяснишь, почему мы торчим в этом закоулке?

— Здесь пахнет фокусами тех, кто стоит повыше… — смазчик изобразил в воздухе спираль, покрутив пальцем снизу вверх. — Впрочем, я сейчас узнаю точнее у телеграфиста, если…

Он красноречиво оглянулся по сторонам.

Смазчик сдержал свое обещание. Оказалось, что трудящиеся Бухареста готовились встретить Барбюса и его товарищей демонстрацией. Власти, узнав об этом, распорядились задержать поезд в пути, пока не будет наведен «порядок».

Таким образом, Бухарест встретил Барбюса лишь

крикливыми заголовками реакционных газет, поносившими его и его миссию, воплями правых депутатов в парламенте, именовавшими Барбюса «агентом Москвы», и сворой филеров, следовавших за ним по пятам.

Барбюс выехал в Кишинев. Город наводнили войска и полицейские части. Провинциальные сыщики оказались не очень искусными в своем ремесле, и Барбюс с отвращением поймал хвост слежки, потянувшийся за ним по улице Александру Чел Бун до самой гостиницы «Сюис», где он остановился.

Он не знал, что документы «об осуществлении надзора за пребыванием в Кишиневе Анри Барбюса и группы иностранных журналистов» едва уместятся в двух пухлых папках кишиневской сигуранцы.

Несмотря на объявленное в городе военное положение, поздно вечером 20 ноября в гостиницу к Барбюсу проникла группа кишиневских рабочих и учащихся. Впервые в этой сумрачной стране он был согрет теплотой незнакомых людей, которые бесстрашно принесли ему свою благодарность, свои надежды.

Барбюсу отказывают в разрешении присутствовать на процессе татарбунарцев, он проявляет настойчивость. Он проходит через строй канцелярий от провинциального полицейского присутствия до приемной министра внутренних дел. Он просит, требует, угрожает.

В конце концов железные двери тюрьмы распахиваются перед ним. Он спускается в подвалы, в каменные мешки, шкафы-гробы, где заключенный не может повернуться. В казематы, где человек стоит в воде. В «герлы» — норы в скале, куда арестанта «вбивают» ударами плети со свинцовым наконечником.

Кишиневская тюрьма, место расправы с татарбунарцами — крепость с высокими стенами. Процесс сопровождался мерами почти осадного положения. Тюрьма обнесена окопами, расставлены пулеметы. На вышках установлены прожекторы. На подходах к тюрьме — скрытые в зелени артиллерийские орудия.

Сюда, в цитадель палачей, проник Барбюс. Он был свидетелем фарса, названного судом. Он стал очевидцем зловещей процедуры, он запомнил контраст блестящих офицерских мундиров судей и серой толпы подсудимых в глубине наскоро сколоченного барака за крепостными стенами.

Он читал на простых крестьянских лицах татарбунарцев всю их жизнь с ее скудными радостями и извечным горем, их страстную ненависть к угнетателям и го высокое человеческое достоинство, которое обретают люди труда, соединяясь для

боевого протеста, для подвига.

Позже Барбюс напишет о кишиневском процессе: «… если бы я не был революционером, я стал бы им, выйдя оттуда».

Барбюс возвращается а Бухарест. Его встречает демонстрация рабочих и учащихся. В клубе объединенных профсоюзов он выступает с речью. Люди, собравшиеся здесь, уже стали близки ему. Он ходил по улицам городов, так часто представлявшихся ему. Он погрузился в атмосферу страны, этой смеси азиатчины и европеизма в худших их проявлениях, средневековья и колониализма, неприкрытого палачества и чудовищного лицемерия церкви.

Он постиг драму народа и величие балканских революционеров. Он узнал историю матроса Иона Гречи, простого человека, после мучительных лет заключения, перед лицом смерти ставшего сознательным борцом революции. И адвоката Букара, шесть лет пробывшего в полной изоляции, без света, без звука человеческого голоса, но сохранившего веру в победу.

— Эта вера — самое страшное из взрывчатых веществ революции, — говорит Барбюс.

Сложными тайными путями дошло к Барбюсу письмо рабочих-коммунистов, заключенных в казематах: «…Удары дубинами, вырывание волос… топтание ногами… Мы рассказываем тебе это, дорогой товарищ Барбюс, чтобы мировой пролетариат услышал о наших страданиях».

…Он кончает свою речь, и участники собрания окружают его. С ним хотят говорить. Поток фактов, человеческих свидетельств, документов устремляется к нему. Он идет по улице, окруженный взволнованными людьми; их голоса вносят в подавленную тишину города веяние другого мира, посланцем которого приехал Барбюс.

Неподалеку от отеля «Атене-Палас», где он остановился, банда фашистских хулиганов с ножами и дубинками напала на Барбюса и его спутников. Рабочие и студенты отбили нападение. Кровавая стычка на улице Бухареста могла произойти лишь при попустительстве властей.

Барбюс возвысил свой голос против душителей балканских народов, и мир услышал его.

Документальная книга «Палачи» — это крик боли и гнева. В ней список злодеяний, истязаний и убийств, сатирические портреты «национального героя» Румынии, палача лейтенанта Моррареску, душителей болгарского народа Цанкова и Ляпчева.

Жизнь призывала Барбюса быть судьей в каждом отдельном

случае. И как судья, нелицеприятный и суровый, он записал факты предфашистского разгула, чудовищного террора в порабощенной Бессарабии, самой многострадальной — в семье балканских народов. Она вновь пережила трагедию того народа, из которого вышел свободный стрелок Вильгельм Телль. Повторились и трагедия и фарс, воспроизведенные когда-то Фридрихом Шиллером.

Барбюс приводит выдержки из приказа капитана Димитриу, начальника гарнизона Эдинце в северной Бессарабии:

«Население Эдинце должно приветствовать румынских офицеров следующим образом:

1. Каждый прохожий должен остановиться, повернуться лицом к начальнику и с приветливой улыбкой быстро снять головной убор и сделать глубокий поклон до земли.

2. Чтобы научить население строгому выполнению настоящего приказа, на улицах города в различные часы дня будут проносить мою фуражку, и все обязаны приветствовать ее, согласно пункту 1 настоящего приказа».

Ослушавшихся вешали, расстреливали на месте или подвергали зверским пыткам в тюрьмах.

Барбюс подымает завесу над самыми зловещими тайнами века: у власти в Румынии стоят злейшие враги народа; они милуют уголовных преступников, но нет пощады борцам за справедливость.

Барбюс уехал, но образы героев и мучеников остались с ним.

Это была семнадцатилетняя девушка, работница, веселая, беспечная, несмотря на свою бедность, любительница танцев и вечеринок. Она попала в квартиру Адвоката случайно. Просто потому, что его посещал ее друг, юноша, с которым она встречалась уже целый год. Такой же бедняк, как она, и такой же беспечный.

Вероятно, она вышла бы за него замуж и через несколько лет превратилась бы в обремененную детьми, измученную работой и нищетой женщину, интересы которой делились бы между убогим семейным очагом и церковью.

Она пришла на квартиру Адвоката. Здесь были юноши и девушки, были и немолодые рабочие. В общем не так уж много народу. Все они были друзьями Адвоката и пользовались случаем посидеть в гостеприимном доме, в обществе умного, много видевшего человека.

Адвокат не был коммунистом, но с большой теплотой говорил о Стране Советов. Он никогда не бывал по ту сторону границы, но мысль о свободной России помогала ему жить.

Девушка слушала Адвоката, потому что его слушал ее друг. Она думала о том, что беседа скоро окончится и юноша пойдет ее проводить. Улица предместья будет пустынна, и только их шаги прошуршат по камням, слитно, как шаги одного человека. И у ворот дома он поцелует ее, молча, потому что у ее родителей чуткий сон.

Думая об этом, Девушка плохо слушала Адвоката и не замечала, что его немолодое лицо озарялось светом произносимых им слов. Это были слова о свободе и мщении.

Потом Адвокат исчез. Рассказывали, что однажды ночью его схватили жандармы и увезли в автомобиле, который в народе называют «черным вороном», а жена и дети его скрылись из города.

Юноша и Девушка кружили вокруг его квартиры и однажды осмелились приблизиться. На двери дома висела печать, темная и зловещая, как лицо палача.

Девушка жила, как раньше, такая же беспечная — ей было всего семнадцать! Но однажды, когда она возвращалась с работы, сплетницы предместья зашептали ей вслед: «Любовница Адвоката!» «Любовница Адвоката!» — кричали мальчишки с жестокостью детей улицы. «Любовница Адвоката!» — закричал отец Девушки и схватил ее за косы.

Плача, она убежала из дому. Тогда Юноша и его товарищи объяснили ей: Адвоката пытают страшными пытками в тюрьме Дафтана. Но он молчит. Вызывают людей, знавших его и допрашивают их много часов подряд. Но никто не может сказать ничего дурного об Адвокате. И вот тюремщики пустили в ход клевету. Они назвали Адвоката развратителем, а Девушку — его любовницей.

Когда Девушка услышала это, в ней проснулась гордость ее свободолюбивых предков, крестьян — повстанцев 1907 года.

— Ну что ж, — сказала она, — если я его любовница, они дадут мне свидание с ним.

Она была очень скромна и краснела при вольном слове. Но, обивая пороги тюремных канцелярий, Девушка упирала руки в бока и мерила тюремщиков дерзким взглядом.

— Я — любовница Адвоката. Вы должны дать мне свидание. Я требую свидания с моим любовником!

Над ее бесстыдством тюремщики смеялись. Она смеялась вместе с ними и показывала им язык.

Ее прозвали бешеной девкой и в конце концов разрешили на одну минуту увидеться с заключенным.

Адвокат был уже тенью человека. Физические пытки не могли его сломить. Тогда палачи стали подсаживать в его камеру людей,

которые отравляли его сознание ложными вестями о страшных переменах в мире, о том, что пала Страна Советов.

Безумие нависло над Адвокатом.

Однажды его вызвали в тюремную канцелярию. Когда дневной свет брызнул ему в глаза, он упал: слишком долго он жил во мраке. Его подняли и потащили вверх по ступеням железной лестницы.

Через две проволочные сетки он увидел Девушку и узнал ее. Она стала только на один год старше за то время, что он превратился в глубокого старика.

Она испугалась, увидев тень человека, и закричала, приникнув к холодной железной сетке:

— Я принесла вам привет от друзей!

Он не спросил, где его семья. Он спросил только: крепка ли по-прежнему Страна Советов?

— Да, да, да! — закричала Девушка.

Стража оттащила ее от сетки, но она вырывалась и опять кричала:

— Да, да, да!

Ее повлекли прочь, но все же она услышала вздох облегчения по ту сторону двух железных сеток.

Девушка стала борцом Революции. В глубоком подполье она носила много имен, под которыми ей удавалось ускользнуть от жандармов. Но в народе ее звали почетным именем: «Любовница Адвоката».

Может быть, эта или подобная история послужила основой новеллы Барбюса «Неукротимый».

«Палачи» уже были изданы, о преступлениях узнал весь мир, но Барбюс еще не «остыл». Картины террора продолжали мучить его. Через два года после «Палачей» выходят «Правдивые повести» («Faits divers»).

Обе книги сходны по материалу и стилю. Это начало возрождения во Франции того животворного потока политической проблемности, который затем хлынул в литературу. В этих книгах нашла свое выражение боевая муза художника-публициста. Муза во фригийском колпаке французской революции, муза с кулаком, сжатым в приветствии германских коммунистов: «Рот Фронт!», муза пылающих стягов антифашистских демонстраций, муза в облике вооруженного матроса, атакующего Зимний дворец.

Постоянный прием Барбюса — поэтические обобщения, построенные на документальной основе, — исполнен политического пафоса. Барбюс подчеркивает документальность своей книги. Он поведал миру правду для цели, которая им же

определена как цель действенная: «Пусть эти заметки заронят, наконец, в сердца искру ненависти и негодования против тех ответственных лиц, которых все зовут по имени, а главное — против режима систематического угнетения, который порождает столько ужасов и бедствий на поверхности земного шара».

Один заключенный кровью написал на клочке бумаги письмо Барбюсу: «Твой голос поднял наш дух. Наши тяжелые цепи стали легче. Спасибо, Барбюс!»

Изнурительная поездка на Балканы нанесла Барбюсу душевные раны, которые потом уже никогда не заживали. Он увидел подлинный ад, не похожий на тот, который когда-то молодой Анри Барбюс, модный французский литератор, живописал в своем сенсационном романе: ад круговорота капиталистического города, богатого и запущенного одновременно, как на пейзажах Утрилло. Ад, в котором человеческие души бродят в знойном тумане секса и опустошенности. Между тем подлинный ад, из которого он недавно вернулся, был родным сыном того, им изображенного. Его порождением, его продолжением, его страшным подобием.

Барбюс вернулся с Балкан невероятно измученным, но более чем когда-либо готовым к новой атаке.

Человек, который очень чутко слышал биение пульса века и глубоко проникал в душу современника, отметил особое настроение Барбюса в эту пору. Он видел усталую и ироничную усмешку, с которой Барбюс разворачивал листы газет. И этот человек писал, что никакими джаз-бандами клеветы и насмешек, никакими заговорами молчания нельзя заглушить спокойный голос Барбюса, спокойный потому, что он правдив.

Этим человеком был Анатолий Васильевич Луначарский, встретивший в Париже Барбюса после возвращения того с Балкан. Луначарский любил Барбюса. Можно сказать, что он «открыл» Барбюса-организатора. До их знакомства о Барбюсе говорилось лишь как о разоблачителе ужасов войны. Приехав в Париж в начале 20-х годов, Луначарский увидел единственного человека среди «левой» интеллигенции, на которого события могли возложить задачу объединения всех прогрессивных сил. В это время Барбюс уже был коммунистом.

В 1928 году Луначарский писал: «Барбюс — это гордость, сила и любовь пролетарских масс современного человечества».

Продлевая лето, Барбюс ежегодно уезжает на Лазурный берег. Между Трайя и Феулом есть участок, пронизанный солнцем, запахом древесной смолы и трав. Здесь вилла «Вижилия» — приют Барбюса.

Как всегда, он мало заботился о своих удобствах. Вокзал

Трайя не так близко? Тем лучше! Поблизости нет ни магазина, ни ресторана, ни даже какой-либо харчевни? Совсем хорошо: запах жареного мяса не будет перебивать волшебные ароматы водорослей и сосен. Не будет и самого мяса? Не надо! Он гогов питаться добычей местных рыбаков и деревенским сыром.

«Вижилия» — значит бодрствующая. Дом, в котором не спят. Что такое дом, где всегда горит огонь? Это маяк. Рыбаки, идущие с моря, называли «Вижилию» маяком, домом, где бодрствуют. В окне Барбюса до утра горел свет.

Он очень много работал. Борьба против войны и фашизма разрасталась. Тысячи писем, множество встреч связывали Лазурный берег с большим миром.

«Вижилия» оживлялась, «Вижилия» наполнялась громким мужским говором, «Вижилия» содрогалась от взрывов смеха, когда приезжал любимый друг, желанный гость Поль Вайян-Кутюрье. Едва его ладная фигура спортсмена возникала в аллее, Барбюс с наслаждением бросал на стол перо и с шумом отодвигал свое кресло от письменного стола. Его охватывало полузабытое ощущение школьных вакаций.

— В действительности это были парламентские вакации Вайяна, которые он обычно проводил в «Вижилии».

Они обнимаются, они разглядывают друг друга придирчиво и любовно. Собственно, они мало изменились! Они все те же окопные братья, только их «окоп» безмерно расширился, и они видят совершенно отчетливо мишень, по которой ведут огонь.

Вайян-Кутюрье — член Центрального Комитета Французской Коммунистической партии, депутат парламента. Политика — его стихия. Так же как и литература: он поэт, прозаик, публицист. В каждой из этих сфер он отнюдь не вялый любитель, а страстный борец.

Он вообще не может ничего делать вполовину. Даже в рыбную ловлю он вносит багаж эрудита и вдохновение художника. Он не только поглощен ею как спортом, он увлечен ее историей, эстетикой, философией…

— Столько умствований, чтобы подвести теоретическую базу под бесцельное времяпрепровождение с удочкой в руках, — бормочет Барбюс, сталкивая в воду лодку.

Вайян отталкивается веслом и ставит ее наперерез волне. Солнце садится в совершенном покое и полной невозмутимости моря — будем с рыбой! Вайян опускает самодельный якорь, закрепляет лодку и яростно плюет на червяка. Он забрасывает все десять удочек и застывает, как Будда, скрестив босые ноги на корме.

Барбюс машет с берега рукой, и добрая улыбка не сходит с

его губ все время, пока он подымается к дому. И весь вечер, за работой, он чувствует радостную полноту бытия, которую всегда приносит с собой его друг.

Потом внезапно, как бывает на море, все изменилось. Задул мистраль, заходили волны с белыми гребешками, предвестниками бури. С проклятьями в адрес непогоды Вайян гребет к берегу.

Начиналась полоса прохладных дней, в дом врывался шум прибоя и металлический шелест туй.

В рабочей комнате Барбюса читали новые листы рукописи, курили, строили планы, вспоминали. Образ друга, погибшего так рано, так нежданно, возникал в сумраке приморского вечера.

Летом 1920 года Раймон Лефевр был послан в Москву Комитетом борьбы за присоединение к III Интернационалу. Б России он участвовал в работе II конгресса Коминтерна, встречался и беседовал с Владимиром Ильичей Лениным.

Вдохновленные всем увиденным в Советской стране, Лефевр и его товарищи рвались обратно, на родину, чтобы продолжать революционную борьбу.

В Россию Лефевр прибыл нелегально. Блокада закрыла ему путь через Польшу. Три француза: Лефевр и его спутники Лепти (Ф. Барто) и Марсель Верже — приняли решение отправиться морским путем из Мурманска на рыбацком баркасе. Они ушли в море с русским товарищем Александром Шубиным.

Никто из них не вернулся…

Перебирая события первых дней своей дружбы, первых лет совместной борьбы, Барбюс и Вайян-Кутюрье всегда возвращались мыслями к Раймону Лефевру.

Здесь, в «Вижилии», возник план нового журнала. Было облюбовано и название будущего журнала: «Монд».

По настоянию Вайяна-Кутюрье Барбюс взял на себя ведение литературного отдела в «Юманите». Он был увлечен этой работой. Он высказывал свои мысли о боевой роли искусства, о литературе — оружии в социальных битвах.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

1

В мире назревал новый революционный кризис. В Англии бастовало более пяти миллионов человек. В Вене вспыхнуло рабочее восстание.

А на востоке подымался желтолицый гигант. В распахнутой на груди рубашке хаки, с винтовкой наперевес, по лессовым дорогам шла революционная война в Китае.

Через моря и хребты к нему тянулись желтые и черные руки дружбы Индии и Марокко. Окраины мира ловили лучи дальнего маяка. Этим маяком был Советский Союз.

Ему было трудно. В темных закоулках Европы капиталистические наймиты убивали советских полпредов. Подлые убийства из-за угла, провокации, фальшивки, подрывная деятельность — с легкой руки английского империализма были (впервые в истории!) возведены на уровень большой политики. Бомба диверсанта обрывала жизнь партийных работников, собравшихся в партийном клубе.

Всю ночь на пустынную Лубянскую площадь смотрели бессонные окна серого здания ОГПУ, где осуществляли революционную бдительность ученики железного рыцаря революции — Дзержинского.

Страна пролагала путь, создавала индустрию, добивала остатки капитализма. Подвиг стал уделом целого народа.

В сентябре 1927 года Барбюс впервые пересекает границу СССР. Он входит в новый мир. Все в этом мире делалось в первый раз. В первый раз в истории создавалось и укреплялось государство рабочих и крестьян. Рождалась новая промышленность, новая школа, новая культура, новый театр, новая литература — все в первый раз.

К Негорелому подъезжали ночью. Севшие в поезд на разъезде советские пограничники методически открывали двери купе, собирали паспорта пассажиров, привычным движением поднося руку к околышу фуражки.

«Люди в зеленых фуражках»! Вспомнился какой-то «опус» из серии «Криминаль-романов» в крикливой обложке, что по стандартной цене в одну марку продавались в вокзальных киосках Германии. Советские пограничники фигурировали в нем в качестве изощренных агентов Чека с демоническим взглядом, проникающим в скрытое нутро каждого, осмеливающегося

пересечь границу «Совдепии».

Молодые люди в зеленых фуражках, с простыми крестьянскими лицами и неторопливыми отчетливыми движениями, проходившие по вагону, были собранны, подчеркнуто спокойны. Не герои детективного романа, нет.

Носильщики быстро выгрузили багаж пассажиров и на тележках повезли на таможенный пункт.

— Не торопитесь! Ваши вещи будут в зале досмотра! — объявили проводники.

Пассажиры имели время осмотреться. Ночь была удивительно тиха. И вообще эта граница отличалась от всех границ мира прежде всего тем, что здесь было тихо. Ни суеты, ни многолюдства, обычных на пограничных пунктах Европы. Может быть, просто потому, что с поездом прибыло не так уж много народу.

Барбюс подумал о своеобразном одиночестве этой страны, поставленной недоброжелательством ее соседей в положение отчуждения и изоляции, о героизме народа, пролагающего путь.

С великим напряжением налаживались внешние связи России. Прежде всего с Германией. В вагоне вместе с Барбюсом ехали представители фирм Бамаг и АЭГ, специалисты, прибывшие для монтажа германского оборудования, пресс-атташе германского посольства в Москве. Все они прибыли в СССР впервые. У них был такой вид, словно они ступили на почву Марса или Венеры. Это смешило и немного раздражало Барбюса.

Соседями Барбюса по купе была советская семья: сотрудник торгпредства, возвращавшийся на родину с женой и дочками. Они немного говорили по-французски.

Когда переехали границу и увидели первого советского пограничника, женщина закричала, замахала рукой и вдруг заплакала легко и радостно. Ее муж, тоже очень взволнованный, сказал:

— Знаете, целый год не были дома…

Хотя было уже поздно, девочек не уложили спать, чтобы они тоже видели, как будут пересекать границу. И разрешили им постоять у окна вместе с родителями. К ним подошел еще один русский из купе в другом конце вагона. Незнакомый человек. Они даже не говорили друг с другом до этого. Но сейчас он подошел к стоявшей в коридоре семье и молча присоединился к ним. Они долго смотрели на бегущие за окном рощи, неясные, как облака, и поля в сумраке, таком густом, что с трудом угадывалось светлеющее во мгле шоссе, словно свиток сурового полотна, быстро-быстро развертывающийся навстречу поезду.

Из этих мелочей складывалось впечатление, что для

советских людей выезд за границу и возвращение на родину — нечто очень значительное. Не так, как для европейцев. Какой-то Рубикон. «Это понятно. Это естественно, — сказал себе Барбюс, — другой мир. Они попадают в другой мир».

Началась посадка в вагоны советского поезда. Вагоны были комфортабельны, рассчитаны на длительное путешествие.

Было далеко за полночь, все улеглись. Барбюсу не спалось. Ночь была беспокойная, вся пронизанная неярким светом ущербной луны. Барбюс стоял в коридоре, куря одну папиросу за другой. Леса тянулись бесконечно; казалось, что поезд вошел в лесное царство, где нет ничего, кроме этого могучего полчища зеленых гигантов, касающихся друг друга плечами.

Потом лес кончился, и возникла на кромке его деревня, избы, крытые соломой, колодец, купол церкви без креста…

Ни один огонек не светился в окнах, и от этого, может быть, или оттого, что лес подходил к деревне так близко, она казалась глухой, заброшенной, безлюдной.

И опять тянулись леса. И хотя это были не тронутые человеком владения природы, от них исходило не только ощущение богатства страны, но и ее силы.

Барбюс опустил окно. Резкий ветер бросил ему в лицо пепел его папиросы. Проводник, мягко ступая по ковровой дорожке, произнес на плохом французском языке, видимо, заученную фразу: «Закройте, пожалуйста. Мост».

В Советском Союзе готовились к празднествам. Великая революция справляла свое десятилетие.

Поэт-горлан, поэт-пропагандист заполнил Москву. Он взывал напористым голосом реклам: «Нигде, кроме как в Моссельпроме». «Нигде кроме! Нигде кроме!» — лаконично выкрикивали на Тверской девушки в высоких кепи, с лотками, в которых папиросы «Люкс», «Сафо» и «Наша марка» являли пестроту и великолепие первенцев советской табачной промышленности.

Поэт обрушивался на врагов революции гневным языком сатиры.

«Маяковский улыбается! Маяковский смеется! Маяковский издевается!» — кричали афиши. Люди смеялись, негодовали, хвалили: «Вот это да! Даешь, Маяковский!»

Поэт открывал философию эпохи кривыми лесенками поэмы.

На площадях огромные плакаты останавливали прохожего далеко видными, аршинными буквами заголовка: «Хорошо!»

Это слово уже не отпускало. Каждый, подойдя, читал набранное удивительно зазывным шрифтом: «Владимир Маяковский», и ниже, двумя столбиками — другим, но тоже очень

«вкусным», шрифтом были напечатаны строки, звучащие то как раздумье: «И жизнь хороша, и жить хорошо!»; то лирически: «глаза — небеса, любимой моей глаза»; то простецки и смешно, в ключе быта 20-х годов: «две морковники несу за зеленый хвостик…»

Поэт привел свою музу в Красный зал Московского комитета. На ней была синяя рабочая блуза и красный платочек. Она была здесь своя. И партийный актив слушал поэму «Хорошо!», которую поэт читал трубным голосом, взмахивая ручищей, словно дрова рубил. Эта поэзия была работой, нужной как сталь и хлеб.

Позднее Барбюс скажет о Красной площади: «Ее обширная панорама словно раздваивается: то, что есть теперь… и то, архаическое, что было до 1917 года».

Москва 1927 года «раздваивалась» на каждом шагу. В Охотном ряду царила старина едва ли не XVIII века. Торговки птицей в прабабушкиных полушалках выкликали свой товар с прибаутками столетней давности. Продавцы пирогов московским бойким говорком нахваливали: «Пирожок советский, свежего теста, с пылу, с жару, хоть самому комиссару!»

Тут же в деревянных, неряшливых лавках торговали пухом-пером. В лавках толпилось множество людей, москвичей мало, больше — Подмосковье. Бабы кидались на пух и перо, изголодавшись по перинам за военные годы.

У Иверской жарко молились бывшие монахи, бывшие институтки, бывшие «просто старушки», ныне «гражданки домохозяйки».

На Ильинке из-под полы солидные дельцы бойко торговали валютой: зелененькими (цвета надежды!) долларами, легкомысленными франками, невесть что обещавшими австрийскими кронами и пезетами — это уже для любителей экзотики! Дельцы были важные: приобщались к Европе, к мировому рынку, но опасливо поглядывали в сторону Лубянки.

Сухаревка еще жила лихорадочной, судорожной жизнью. «Бывшие» — удивительное слово, рожденное революцией, — всех мастей сносили сюда атрибуты старого быта вместе с черепками своих иллюзий.

Все это воспринималось как диковинные островки в океане новой жизни.

Барбюс походил по музеям. Присматривался к посетителям. Измучил переводчиков: о чем говорят люди?

Рабочие экскурсии затопляли залы. Сколько их было, музеев! А никогда не кончалась человеческая река. И текла, и текла… Человек искал в прошлом себя. Где было его место? На господской конюшне? В цехе бельгийской, французской

акционерной компании завода?

Почти все улицы Москвы перегорожены строительными лесами. Весь город как бы занесен метелью стружки.

Люди на улицах плохо одеты, женщины неумело накрашены или не накрашены вовсе. Почти все ходят с портфелями, плотно набитыми бумагами, тетрадями, учебниками. Революция требует много бумаги: массы поднимаются к культуре по лестнице печатных страниц, еще пахнущих краской. «Мы не рабы» — это уже пройдено, усвоено. Теперь подымаются выше. К Толстому и Чехову.

Театры ставят пьесы Шиллера и Всеволода Иванова. Во МХАТе идет «Бронепоезд». Когда Васька Окорок — Баталов — «упропагандировывает» американского солдата, зал разражается аплодисментами, ломающими традиции «Чайки».

Стоит уже сентябрь, сухой, солнечный, овеянный вьюгой желтой листвы. Кажется, что рука времени чересчур быстро листает страницы календаря.

20 сентября 1927 года Барбюс делает доклад в Колонном зале Дома союзов: «Белый террор и опасность войны».

Впервые Барбюс подымается на трибуну Колонного зала, щедро украшенную купами хризантем. Потом ему еще не раз доведется говорить с этой трибуны. Он встретится здесь со своим старым другом Луначарским. За столом президиума он будет сидеть рядом с Горьким, Мануильским, Георгием Димитровым, со многими друзьями СССР из разных стран. Он как бы открывает их славную шеренгу.

Для Барбюса все откровение: простота и доступность руководителей государства и партии и прославленных полководцев; высокая культура выступающих с приветствиями рабочих и крестьян, энтузиазм молодежи и звонкий задор пионерских делегаций.

И все это, вместе взятое, создает особое настроение приподнятости и ощущения глубокой связи с массой людей в ясно-белом зале.

Поэтому так проникновенна была речь Барбюса, так страстно и искренне звучал голос человека, пристально и тревожно вглядывавшегося в потемки мира, где собирались силы войны.

Барбюс кончил, и шум оваций в зале потонул в пении «Интернационала».

Он едет в первое свое путешествие по СССР. Он проезжает по Украине, потом перед ним проходят живописные, экзотические города и селения Грузии, Армении, Азербайджана.

Факты жизни, приметы нового так разительны и так увлекают

его, что Барбюс не успевает порадоваться красоте природы. А она величественна. Снеговые вершины, зеленые долины, бурные, несговорчивого характера горные реки. А люди? Прежде всего они красивы.

— У вас миллионы красавцев. Страна красавцев! — говорит своему спутнику грузину Барбюс.

Он изучает, систематизирует документы, данные, цифры, факты. Давно ли обнаружилась у него страсть к фактам? И как уживается она с давней возлюбленной — поэзией?

Еще в 1925 году, работая над «Звеньями», Барбюс познал радость исторических сопоставлений, почувствовал вкус к исследованию.

Он ощутил весомость книг, подкрепленных густым подбором материалов, доказательств. Документальность он готов назвать душой литературы.

Сейчас он чувствует себя пионером, первооткрывателем. Он открывал для Франции новую страну. Он напишет книгу о новой Грузии. И пусть те, кто кричит о «красном империализме», увидят расцвет Советской Грузии.

Он назовет книгу: «Voici ce qu'on à fait de Géorgie» («Вот что сделали с Грузией»).

Он увлечен необыкновенными судьбами обыкновенных людей Грузии.

Простые, с открытой душой жители чудесного края: Кобидзе, Тодрия, Беридзе… У них гортанные голоса, смуглые лица. Они немного похожи на крестьян-виноделов с юга Франции. На них длинные блузы с высокими воротниками, башлыки, напоминающие головной убор XIV века.

Они встретились в горном селении Янеули. Барбюс пробирался по головокружительным дорогам верхом. Ночные беседы в ауле напоминают ему откровения у фронтовых костров. О чем они говорят? О прошлом — оно мрачно, оно живет в памяти, как след давнего глубокого страдания. О настоящем — они горды им. Оно дело их рук. О будущем — это счастье их детей. И звучит песня, удивительная, как этот край. И в песне — то же: мрак прошлого, гордость настоящим, мечты о будущем.

20 ноября в «Правде» появляется статья Барбюса «Кавказ вчера и сегодня». Это зачин книги о Грузии, ее зерно.

2

1928 год был для Барбюса годом больших свершений. Вышли «Правдивые повести». Книга — вся как фотография без ретуши: резкая, откровенная, с обобщениями, острыми и разящими, с

картинами, где все только красное и черное, все вопиет, сочится кровью, как у Гойи.

В 1928 году вышел первый номер еженедельника «Монд» — событие, бесконечно радовавшее его основателя Барбюса, подготавливаемое им давно. С «Монд» связывались надежды Барбюса и его друзей на объединение передовых литераторов Франции и всего мира.

В 1928 году в Кёльне состоялся конгресс общества «Друзья СССР». Барбюс внес в него свою лепту организатора и трибуна.

И в этом же году он снова едет в СССР. Поездка была знаменательной: он встретился с Горьким.

Встреча была долго-долгожданной. Он не мог уже точно припомнить, когда этот человек стал для него тем, чем был сегодня, — Светочем.

Его имя Барбюс впервые услышал еще в юности. Образ Горького являлся ему словно в тумане. Слишком далекий, слишком чуждый. Голос народного писателя не достигал ушей молодого эстета, воспевавшего красивую Смерть и печальную Красоту в звучных стихах.

Потом Барбюс «Плакальщиц» стал автором романа с социальными мотивами. Не очень ясными, но уже тревожившими общество.

Но и в ту пору Горький остается не познанным им. Большая и трудная слава русского титана идет дорогой, не пересекающейся с путем Барбюса.

И уже на позициях, в огне войны, имя Горького прозвучало для него по-иному. Когда же это случилось? Тогда, когда Барбюс стал борцом. Вместе со словом «революция» в его жизнь вошло имя: Горький. И это был Светоч.

Слово «светоч» — немного старомодное, торжественное, праздничное — Барбюс потом повторит не раз, желая выразить, чем стал для него Горький.

Буревестник революции коснулся его своим крылом тогда, когда он вступил в полосу Ясности.

В окопах Барбюс стал революционером. И когда это случилось, он встретился с Горьким лицом к лицу. Хотя личное их свидание должно было состояться много позже.

Именно Горький открыл России «Огонь» Барбюса. Б 1919 году Барбюсу принесли советский журнал с названием, звучащим как лозунг времен Парижской коммуны: «Коммунистический Интернационал».

Ему перевели статью об «Огне», и в ней были слова, глубоко тронувшие его.

«Это — книга простая, исполненная пророческого гнева, это

— первая книга, которая говорит о войне просто, сурово, спокойно и с необоримою силою правды… Барбюс глубже, чем кто-либо [из писателей] до него, заглянул в сущность войны и показал людям бездну их заблуждения».

Так писал Горький об «Огне». Барбюс принял слова учителя бережно, как берут самое дорогое. Не для того чтобы полюбоваться и забыть. Нет. Чтобы всегда иметь при себе. Как обязательство. Как клятву.

После этого они не раз выступали вместе против опасности войны, против реакции. Они знали друг друга, может быть, глубже, чем люди, видящиеся ежедневно. И все же встреча должна была внести в их отношения нечто новое.

Подъезжая к Москве и думая об этом, Барбюс волновался. Он знал, что Горький приехал в Москву всего несколько дней назад. Москва встретила Буревестника революции таким ликованием, таким бурным проявлением любви и поклонения, что сильный духом человек плакал, тронутый памятью и любовью народа.

Барбюс понимал грандиозность этой встречи Горького с родиной. И все же личное свидание его с Горьким раскрыло ему нечто новое и в этом.

«*27 июня 1928 года*

Мой дорогой и великий товарищ, я нахожусь в Москве и хотел бы повидать Вас и поговорить с Вами. Передаю это письмо в ВОКС и прошу о свидании с Вами.

Ваш преданный поклонник

Анри Барбюс.»

«*Москва, 7 июля 1928 года*

Мой дорогой и великий товарищ…

Разрешите, наконец, признаться Вам, какой волнующей радостью было для меня личное знакомство с Вами — ведь я долгие годы восхищаюсь Вами и люблю Вас…

Надеюсь, что мне удастся вновь встретиться с Вами, и я прошу Вас подумать и об этом…

Итак, дорогой и великий товарищ, говорю Вам: «До скорой встречи». Жму Вам руки и с братским восхищением обнимаю Вас.

Анри Барбюс».

Между этими письмами была встреча. Их первое личное свидание.

В сорока километрах от Москвы, в Морозовке, в одном из живописных мест, которыми так богато Подмосковье, встретились два человека, на лицах которых лежала печать большого и подчас

горького опыта жизни. Борцы. Собратья. Комбаттаны. Люди аванпостов.

Они встретились, как друзья, они обнялись. И потом стояли некоторое время молча на ступенях лестницы между белыми колоннами загородного дома. И тогда Барбюс подумал, как он рассказывал потом, что Горький «непохож». Его лицо было другим, чем на множестве портретов. Более тонким и менее суровым.

Луначарский находил, что у Барбюса есть нечто общее с Горьким. Даже во внешности. Оба они высоки, костлявы. Оба впечатлительны до болезненности, склонны к анализу.

С этим можно согласиться только отчасти. В них было больше различий, чем сходства. Вероятно, это определялось национальными чертами, которые они несли в себе выразительно, отчетливо.

В Горьком сразу открывалось чисто русское спокойное и широкое внимание к миру; он впитывал то, что Барбюс, более порывистый (и, может быть, более поверхностный), просто схватывал иногда на лету. Но в этот момент первой встречи они в самом деле показались окружающим очень похожими друг на друга.

Когда Барбюс спросил Горького об его первых впечатлениях в России, тот ответил:

— Все это потрясающе.

Горький получал в Италии обильные вести из России. Он знал все. И все же «знал, не зная». Для него новая Россия была другой, чем для Барбюса, хотя оба они находили ее «потрясающей». Горький слишком хорошо знал Россию старую.

Когда Барбюс заговорил о живописности окрестностей Москвы, о своеобразии подмосковного ландшафта с его необычайными красками, с декоративностью деревень, с пронзительной яркостью церковных куполов, унизанных воронами, Горький сказал тихо:

— Я не узнал даже полей и птиц.

Горький был прикован своим духовным взором к главному: к изменениям в стране, изменениям, сделавшим ее «омоложенной».

Это слово он повторил несколько раз. И Барбюс понял, что речь идет о внутренней, о духовной жизни страны, народа. Хотя они много говорили и о внешнем облике Москвы: об ее новых магистралях, о новом доме Центрального телеграфа, о зданиях «Известий» и Института Ленина, в которых стремление к простоте, к кубизму в стекле и железобетоне было выражено чрезмерно, утрированно.

Горький подымался над ландшафтом новой Москвы. Он как

бы парил над ней, открывая некое обобщение: независимость, и уверенность созидателей нового. Он говорил об атмосфере «энергии духовного творчества и здоровья».

Они не могли не произнести имени человека, стоявшего у истоков великой эпохи.

Барбюсу были очень близки мысли Горького о Ленине. Горького потрясало величие основателя Советского государства. Тем сильнее, что он лично знал Ленина. Он воспринимал гармонически Ленина — государственного деятеля огромного масштаба и Ленина — человека с сократовском лбом, с удивительно живыми глазами, каким он запомнился Горькому на Лондонском съезде партии. Ленина — беспощадного полемиста и Ильича, умеющего «так заразительно смеяться, как никто другой».

Барбюс остро чувствовал, как сильно запечатлелся в душе Горького образ Ленина. Он понял, что Горький с большой ленинской мерой шел по преображенной России. Что его возвращение в Россию было много больше, чем просто возвращение на землю родины.

Происходило нечто очень значительное: этот человек, этот великий писатель, проживший долгую, сложную жизнь, вернулся и нашел родину молодой. И ее «омоложение» — это слово как будто прошивало крепкой ниткой всю его речь — было свершением того, о чем четверть века назад пел Буревестник революции.

Барбюс ощутил глубокую искренность слов Горького: «Я приехал в Россию более усталым, более старым, чем я стал теперь. Все, что я видел, омолодило и меня».

Это было почти чудом: контраст между болезненным, безмерно усталым лицом Горького, его слабеющим телом, снедаемым недугом, и необыкновенной силой и молодостью его духа, позволившими ему воспринимать реальность в ее устремлении к будущему и в ее истоках.

Горький отчетливо видел годы, когда новая Россия рождалась, мужала, крепла. Годы, которые не шли и не текли. Нет, они вздымались, как валы. И каждый из них был девятым.

На столе лежал свежий номер «Монд». Горький время от времени брал в руки журнал, вид которого был так привычен Барбюсу, как облик собственного ребенка, и проглядывал его.

Это был первый номер «Монд», и Барбюсу очень живо представились все муки его рождения.

Беседа все время обращалась к литературе. Они кружили вокруг нее, словно птицы вокруг своего гнезда, своего дома.

Барбюс рассказывал о «Монд», отмечая стремление передовых

писателей создать новую манеру в изображении нового человека.

Горький, ответил, углубив замечание Барбюса:

— Искусство, вышедшее из недр самой земли, из дали полей и глубин городов, своим духовным здоровьем, своей правдой обновило художественную жизнь человечества.

Они разошлись во взглядах на биографические, обращенные в прошлое произведения, появившиеся в изобилии во Франции. В их потоке «В сторону Свана» М. Пруста и даже романы дю Тара казались Барбюсу свидетельством нищеты буржуазной литературы. Ее лохмотьями, может быть и красочными, но все же лохмотьями.

Но Горький видел в подобных произведениях ценность документа, помогающего познать прошлое. И тут Горький, вдруг весь как-то изменившись, словно переполнявшие его презрение и гнев диктовали ему короткие, язвительные, поражающие цель сухими меткими выстрелами характеристики, заговорил о мелком буржуа, о мещанине, проникающем во все щели. Вот мишень, по которой надо немедленно бить изо всех орудий!

О себе Горький сказал:

— Мои произведения — это произведения писателя моего времени, моего поколения. Мы поем мессу и обносим оградой историю. Но в литературе возникли другие силы. Они творят человека, шагающего из сегодня в завтра.

Слушая, с каким восторгом Горький говорит о рабочих корреспондентах, о молодых писателях, Барбюс представил себе, что когда-нибудь вот так же если не он, то какой-то другой старый французский писатель будет размышлять и говорить о социалистической литературе Франции.

Вот уже есть опыт. Россия учит, и Горький прокладывает путь литературе Грядущего.

Мысли Горького были мыслями-воинами. Воинами старыми, закаленными в битвах. Но оружие их было современным.

…Их беседа касалась различных вопросов. Она шла как бы по спирали, витки которой все расширялись, потому что из множества конкретных наблюдений, которыми они делились, рождались обобщения большого плана.

Барбюс вынес из этой первой встречи радостное предчувствие их будущей совместной работы для нового мира. То было предчувствие и другого: дружба эта — требовательная и строгая, погода будет и ясной и бурной. Но все же он твердо знал, что они будут идти рядом и он услышит, как сливается шум их крыльев.

Это делало его счастливым.

3

Книга о Грузии создавалась в Архангельском под Москвой.

Барбюс работал напряженно, отдыхая только за партией в шахматы. Иногда он отрывался от каждодневного труда для важных, впечатляющих встреч.

В Архангельском он познакомился с Михаилом Ивановичем Калининым.

Разговор через переводчика имеет свои преимущества: остается больше времени для того, чтобы смотреть. В облике Михаила Ивановича поражало соединение мудрости человека, прошедшего большую жизнь вместе со своим народом, и удивительной простоты, душевности, живого и горячего интереса к собеседнику. Барбюс подумал, что в Калинине воплощены черты настоящего народного вождя.

По субботам в Архангельское приезжала из Москвы Клара Цеткин. Барбюс часто видел ее в саду за маленьким столиком, заваленным бумагами, на которые она клала камешки, чтобы листы не разлетались.

Что она пишет? Это не мемуары. Хотя они были бы потрясающей историей современной революционерки. Но каждый раз, как только она принимается за эту работу, срочные дела ее отвлекают. Ее зовет сегодняшний день. Она бросается в его бури, она плывет на его волне. Теперь она готовится к VI конгрессу Коминтерна.

Барбюс сказал о Кларе: «Пролетарии всего мира протягивают ей руки». Но, произнося это, Барбюс не мог знать, что последний подвиг ее еще впереди.

В августе 1932 года в Берлине готовилось первое заседание вновь избранного рейхстага. По существующему положению его должен был открывать старейший депутат. Таким была Клара Цеткин… В это время ей минуло 75 лет. Тяжело больная, она жила и лечилась в Москве.

Никто не предполагал, что могучие крылья старой орлицы примчат ее в Берлин, где в прокуренных пивных реваншисты открыто и нагло вербовали своих приспешников. Но политический темперамент Клары не был подвластен ни годам, ни болезни.

Когда на трибуну рейхстага ввели под руки престарелую Клару, в зале на несколько минут воцарилась глубокая тишина. Она была тут, эта женщина, борец и прозорливец, история и легенда, прошлое, настоящее и будущее Германии одновременно. Это была Клара. Она принесла в этот зал воспоминания, которые вызывали слезы на глазах ветеранов, и старые бойцы расправляли плечи. Это было прошлое, и это была Клара.

Но взгляд Клары был устремлен в будущее. И, ловя этот

взгляд, молодые видели огонь тех классовых битв, которые предстояли им. И луч честной славы, окружавший ореолом седую голову Клары, озарял и их лица.

Но в ее взгляде таилась и холодная, несокрушимая сила. Она ужаснула врагов, и они дрогнули. В тот миг, когда все, как один человек, встали, приветствуя Клару, они встали тоже. Они били в ладоши, как все. Не потому, что ее сила покорила их. Нет, ее сила ужаснула их. Они встали, потому что испугались. И это тоже была Клара.

Внезапно снова воцарилась тишина. Первые слова речи упали в эту тишину как бы с разбега. Голос Клары, не усиленный репродукторами, слегка дребезжал. Словно прекрасный звон дорогого стекла с тонким изгибом трещины.

Она призывала крепить единый фронт против фашизма.

Никто в зале не осмелился нарушить благоговейную тишину исторической минуты: рейхстаг слушал Клару!

О чем думала она, собравшая все силы для этой речи? О, она снова была молода! Знакомый ей зал лежал перед ней, а над нею витали образы великих и дорогих, ушедших в ту даль, на пороге которой она уже стояла и которая уже не страшила ее: Энгельса… Ленина.

Она слышала их голоса.

И в эту минуту она ощущала их бессмертие так ясно, как можно ощущать лишь то, что живет.

Барбюс не был в рейхстаге в тот час, но, прочитав о выступлении Клары, он увидел ее на трибуне рейхстага живо, такою, какой видел ее над листами рукописи, прижатыми камешками в Архангельском.

И он до конца своих дней сохранил в памяти славную старость Клары и ее вечную и драгоценную молодость.

Это посещение Советского Союза потому еще так памятно было Барбюсу, что ему довелось присутствовать на VI конгрессе Коминтерна.

Барбюс слушает речи людей, как бы пришедших из преисподней, — людей, вырвавшихся из застенков стран реакции, жертв белого террора; страстное обращение к конгрессу китайского делегата, которое подчеркивается его товарищами — они встают с поднятой правой рукой, как бы молча принося клятву мщения.

Он поддается общему возбуждению, охватывающему зал, великолепному чувству единства, торжественности минуты, лишь оттеняемой ухищрениями фоторепортеров запечатлеть в причудливом, меняющемся свете облик происходящего.

Барбюс внес в свою книгу «Россия» воспоминание об этих днях:

«Это собрание, более торжественное, чем все другие, оно высится над другими, оно продвигает вперед революционный порядок против буржуазного беспорядка, оно противопоставляет новую силу империалистической войне».

Закончив работу над книгой в Архангельском, Барбюс поехал в Нижний Новгород. Почему именно этот старинный русский город привлекал его? Вероятно, потому, что образы, сошедшие со страниц книг его великого друга, витали над Барбюсом. И, может быть, еще потому, что, переполненный впечатлениями от поездки по югу страны, пораженный преображением этого края, он хотел увидеть великие перемены в городе Центральной России.

Соединение старого с новым, их сосуществование на каком-то отрезке времени было в Нижнем разительнее, чем в Москве. Может быть, потому, что здесь все представало глазам наблюдателя на меньшей площадке.

Панорама величественной, свободно текущей реки с убогими поселками по берегам, деревянные пригороды, старинный кремль. И гиганты — новостройки, новые дома, множество высших учебных заведений. Нижний Новгород — город рабочих и студентов.

В водовороте насыщенных впечатлениями, овеянных волжскими ветрами дней, среди бурлящей вокруг него молодежи Барбюс сам почувствовал себя молодым. Но болезнь, как сварливая хозяйка, поджидала его у ворот. Он свалился и почти месяц пролежал в больнице.

Оправившись, он преисполнился редким для него благоразумием и, вняв советам медиков, согласился поехать на поправку в чудесное место с татарским названием, звучащим, как трель экзотической птицы: «Суук-Су».

Крым показался ему более похожим на Ривьеру, чем Батум и Сухум с их чрезмерной, тяжелой тропической красотой. В Крыму все было более мягким, как бы притушенным. Контраст желтого цвета, почти охры, глинобитных домов и синего, ультрамаринового моря смягчался гаммой всех оттенков зеленого цвета от темного, почти черного — олеандров, до изумрудного — виноградников.

Еще под Москвой, в Узком, где Барбюс провел две недели, он познакомился с семьей Соловьевых. Они казались ему маленькой ячейкой советского мира — такими чертами прямоты, благородства и высокой целеустремленности привлекали его эти люди. Зиновий Петрович Соловьев представлял тот тип крупного советского организатора, который был рожден новой властью.

Профессор, академик, заместитель наркома здравоохранения, революционер, он осуществлял одну из самых важных задач нового строя — охрану здоровья народа. Как во многих других областях, здесь не было преемственности, не было ничего, что в качестве наследства облегчало бы строительство нового здания. Если не считать некоторой материальной базы: великолепных дворцов русской аристократии и царского двора, в которых были открыты учреждения, получившие пышное и старомодное название «здравниц».

Жена Соловьева, Маргарита Ивановна, врач, и их приемная дочь Валентина, Вава, как ее звали в семье, жизнерадостное юное создание, отнеслись к французскому гостю и его секретарю с чисто русским радушием и сердечностью.

Прекрасно владея французским языком, Соловьев мог многое рассказать Барбюсу о России, о первых годах революции, о начальных шагах в области культуры, здравоохранения, экономики. Соловьевы были находкой Барбюса. Ведь он не собирался ограничиться книгой о Грузии. Он должен был написать о новой России. И Соловьев помогал привести в систему его наблюдения.

С Соловьевым было связано еще одно открытие, сделанное Барбюсом в этот его приезд в СССР. Маленькое радостное открытие, которое он назовет «кусочком южного чуда». Это — Артек, детище Соловьева.

Барбюс отправился в Артек пешком из Суук-Су. Оказавшись по ту сторону арки, на которой было написано: «Пионер, к борьбе за рабочее дело будь готов!», он почувствовал, что попал в удивительный и чарующий мир.

Первое впечатление — отпечатки множества детских босых ног на песке. Это песчаное пространство с маленькими следами запомнилось ему как символ вечной, неиссякающей жизни. Затем — звонкие молодые голоса, и вот из-за поворота аллеи выбежала стайка черных от загара веселых девочек и мальчиков.

Рассказывая об Артеке в своей книге «Россия», Барбюс постоянно возвращался к образу Соловьева, ученого и борца, человека, который думал о будущем, с любовью склоняясь над маленькими и слабыми созданиями.

Барбюсу пришлось пережить смерть своего нового друга. Она глубоко потрясла его. Он обратился к Маргарите Ивановне с письмом, в строках которого видно его большое страдание.

«*19 ноября 1928 г.*

Дорогой товарищ и друг!

Я послал сегодня Вам телеграмму, чтобы в двух словах

выразить мою глубочайшую скорбь. Я потрясен мыслью о том, что страшная болезнь свалила так быстро человека, такого сильного и такого прекрасного, который казался полным энергии, чтобы еще много лет жить и работать… Я думаю и думаю о недавнем посещении Артека, этой живой, детской колонии, которая кажется мне теперь бесконечно печальной, погруженной в траур по поводу утраты того, кто был ее отцом и основателем.

Пишите мне, дорогой друг, о Вашей жизни и работе. Горячо обнимаю Вас.

Анри Барбюс

P. S. Аннет Видаль просит меня передать Вам свои самые глубокие дружеские чувства»[15].

В этот же день в «Известиях» была опубликована прочувствованная статья Барбюса: «Человек из Артека».

Барбюс присылал Соловьевым свои книги со словами привета и дружбы. На титульном листе книги «Russie» он написал: «Маргарите Соловьевой сердечно, в знак памяти о дорогом ушедшем друге».

Барбюс всю жизнь помнил артековцев. Он вел переписку с ребятами из Артека, полную нежности, тепла и маленьких открытий. Память о французском друге переходила от одного «пополнения» Артека к другому. Барбюсу присвоили звание «почетного пионера». И, бывая п СССР, он всегда посещал Артек.

На пароходе «Ильич» Барбюс и Аннет плыли из Гагр в Одессу. Стоял январь. Море было бурное, незнакомое, суровое, величественное.

Одесса встретила их по-южному экспансивно. В этот приезд они много бывали в воинских частях. Может быть, потому, что в мире снова было тревожно и предчувствие новых битв томило Барбюса. Он был особенно страстен в своих речах, особенно чуток к аудитории. И она горячо отвечала ему. Курсанты пехотной школы на руках несли его до машины.

На своей книге, подаренной воинам, он написал: «Будущим борцам мировой революции, которых революционные рабочие увидят в своих рядах в момент решительной борьбы за создание мирового Союза Советских Республик».

4

Барбюс не любил Берлин. Чопорный, неуютный город, прусская однолинейность улиц, холодных, серых каналов между шеренгами стандартных четырехэтажных домов; ненатурально

яркая, прилизанная зелень Тиргартена, кричащая пышность Курфюрстендамма.

И все же… Было что-то цепко хватающее за душу в излучинах скромных улочек Нордена, где бархатистые языки плюща облизывают желтоватый камень густонаселенных домов; в сумерках, насыщенных запахами бензина, дешевых сигар и пива; в садиках крошечных кафе, где играют в карты и лото, стучат глиняными кружками по столу, за грубоватой шуткой прячут беспокойную мысль о будущем.

…Маленький отель, где остановился Барбюс, просыпался рано. Легким стуком поставленных у двери ботинок, вычищенных прислугой, обозначалось раннее утро. Затем старческий голос портье внизу возвещал прибытие почтальона с утренними газетами. Под скрежет кофейной мельницы, доносящийся с кухни, Барбюс с жадностью разворачивал пахнущие типографской краской газетные листы.

Что творится в гигантском котле, где кипят страсти всего мира?

Что несет народам грядущий день?

Удастся ли лучшим людям земли остановить натиск черной силы, грозящей смести цивилизацию и повернуть человечество вспять?..

«В Китае высоко вздымается девятый вал гражданской войны. Повстанческие войска под водительством Чжу-Дэ одерживают новые победы». Как бесконечно важны они для нашего общего дела!

«…Макдональд обещает в случае прихода к власти ликвидировать безработицу». Гм… цыплят по осени считают!

«В Женеве идет тайный торг между французскими и американскими делегатами…» Вот где проходит наиболее опасная зона дипломатической войны.

Он задумывается. Здесь, в Берлине, в преддверии антифашистского конгресса, который так кропотливо он подготавливал, собирая факты, сплачивая вокруг святого, дела соратников, Барбюс тревожно думает о завтрашнем дне.

Братство сильнее кровных уз, цепи, крепче личной дружбы, голос совести и порыв бойца объединяют благородных людей разных стран. Горький, Роллан, Эйнштейн, Манн, Драйзер, Уэллс…

Много лет Барбюс защищал, требовал, разоблачал. Он выступал всюду: в Париже, Женеве, Мадриде, Лондоне… Против поджигателей войны, против палачей революции, против реваншизма. Его оружие — перо и слово. Он опытный полководец и бывалый солдат. Он взывает к классовому сознанию соратника,

к совести союзников, он наводит страх на врагов.

В конце минувшего века Барбюс с тревогой вглядывался в мир капитализма. Теперь он этот мир атакует.

И он всегда остается художником: он открывает для себя каждого встреченного им человека. Он впитывает краски и запахи мира, постигает национальный колорит стран и городов.

Стук в дверь прерывает размышления Барбюса. Входит Бруно со своей обычной манерой, полузастенчивой, полудетской. В нем еще жив задор рабочего парнишки, который четыре года назад, в дни слета красных фронтовиков, впервые ощутил себя частицей огромного целого, сыном великого класса. В те дни над бурлящей красноповязочной толпой в Люстгартене поднялась крупная голова Вильгельма Пика в пышной копне светлых волос. Прозвучал его мощный голос над людским океаном. В то же время на Виттенбергпляц, на импровизированной трибуне стоял загорелый коренастый гамбуржец, выразительным жестом сжатой в кулак руки подчеркивающий страстность призыва, — Эрнст Тельман!

Люди теснились ближе, впитывая горячую искристость взгляда, твердость интонации, разум и чувство любимого вожака немецких рабочих.

Это были дни политического рождения Бруно — подмастерья со Стиннес-Верке. И, вероятно, многих еще таких же, как он.

С мальчишеской манерой у Бруно сочетаются солидность молодого пролетария и плохо скрываемое журналистское любопытство… Бруно — сотрудник «Роте Фане».

На Барбюса он смотрит с нескрываемым обожанием. Его узкие голубые глаза ловят каждое движение удивительного человека, на которого Бруно так хотелось бы походить.

— Что нового? — Барбюс отбрасывает газеты. Ему не терпится поскорее окунуться в поток местных фактов.

— Есть новости. Вчера в Веддинге подонки из фашистского союза молодежи забросали камнями еврея-мусорщика. Мы отлупили коричневую рвань, но сегодня на рассвете кто-то ранил ножом нашего товарища. Мы нашли его на панели, неподалеку от дома…

Барбюс вскакивает:

— Ты даже не представляешь себе всей опасности… Это может быть началом…

— Но мы не дадим им пройти! — решительно произносит Бруно, и что-то новое, сделавшее его вдруг старше, проступает в чертах юноши.

— Для этого надо превратить в крепость каждую нашу организацию. Крепость, которая будет бить изо всех своих

орудий, не спускать им ничего!

Барбюс останавливает взгляд на своем собеседнике. Что ждет этого юношу, в синем кепи берлинского рабочего, с крупными руками мастерового? Какие бои, какие победы? Или поражения? Но в это солнечное мартовское утро хочется верить в лучшее.

Барбюс распахивает двери на балкон. Солнечный зайчик скользит по его лицу и прыгает дальше. Барбюс смеется: эта игра уже разгадана им. Он подзывает Бруно:

— Смотри там, напротив.

Юноша послушно бросает взгляд на ту сторону узкой улицы. На крыше дома работают кровельщики. Молодой парень, бравируя, стоит на самом краю. Маленьким зеркальцем он посылает солнечных зайчиков на соседний с Барбюсом балкон. Там девушка в пестром платье. Она смеется. Парень делает ей знак, показывая на пальцах: в пять часов, внизу.

— Это великолепно. Это чисто по-французски, — радуясь, произносит Барбюс. — Ты знаешь, рабочие во всех странах вообще похожи друг на друга… Буржуа — напротив, различны. И ваш добропорядочный шибер вовсе не двойник нашего рантье… по виду.

За вокзалом круговой железной дороги Фридрих-штрассе улица, носящая это же название, теряет свой коммерческий, деловой характер. Реже фонари, свесившие над глубоким, внезапно сузившимся руслом улицы гроздья виноградин на железных стеблях, приглушенней уличный шум. Зазывные бегущие строки реклам погасли. За стеклами витрин здесь все чаще объявления гадалок и магов, угадывателей мыслей, графологов и врачей — целителей секретных болезней.

Пошел дождь, и Барбюс толкнул дверь первого попавшегося на глаза локаля. Бруно последовал за ним.

Это дешевый ресторанчик Ашингера, на удивление убогий. Тесно и накурено. Подбежавший хозяин усадил вошедших за «служебный» стол у окна. Извиняющимся шепотом он пояснил:

— В соседней комнате собирается согласовательная комиссия, представители партий района по проведению плебисцита…

Бруно напоминает Барбюсу: готовится плебисцит по плану Юнга.

Там, во второй комнате, соединенной с первой только аркой, сидят несколько человек. Бруно называет доктора Рашке — вон тот, толстый, с «пивным» брюшком, представитель социал-демократов. Бруно слушал его выступления, крикливые, в шелухе псевдонаучных фраз.

Наружная дверь открывается порывисто, внезапно. На пороге появляется неожиданная в этом месте и в это время фигура. Это очень молодая девушка в серой «виндякке» — легкой куртке, какие носят спортсмены. На непокрытой голове, как вызов моде, косы, уложенные крендельками над ушами. Косы золотистые. Глаза у девушки того правильно голубого цвета, который часто встречается у молодых немок и тускнеет с годами, как бы выгорая в огне жизненных перипетий.

Барбюс подумал, что эту девушку он назвал бы Гретхен, если бы… да, если бы не выражение лица. В нем — упрямство, вызов, полудетское усилие не уронить своего достоинства и готовность дать отпор.

Она легким и решительным шагом проходит под арку;

— Я от компартии, — произносит девушка с неуловимым берлинским выговором и кладет на круглый стол свой мандат.

Девушка озирается, и двое мужчин у окна видят, как она одинока в этом зале, в этом приюте шписбюргеров и всей накипи большого города, выплескивающейся в вечерний час в тесные локали мелкобуржуазного района.

Бруно видит, как по лицу его спутника пробегает лукавая усмешка. Прихлебывая пиво, Барбюс не сводит глаз с девушки. Толстый социал-демократ говорит что-то скучным голосом, подчеркивая сказанное вялым жестом пухлой руки.

Девушка исподлобья смотрит в зал. Ясно, что ей тошно здесь. Ее взгляд задерживается на сидящих за столиком у окна. В этот момент Барбюс порывисто поднимает сжатый кулак в приветствии: «Рот Фронт!»

«Рот Фронт!» — и Бруно также поднимает сжатый кулак. Ей-богу, это выглядит внушительно, хотя их всего двое!

Как изменилось лицо девушки, когда она отвечает на приветствие тем же решительным жестом! Теперь видно, что это не Гретхен, нет, это скорее Валькирия! И косы ее уже не кажутся золотыми, да они просто рыжие! И глаза уже не смиренно-голубые, а темно-синие, и сейчас искры смеха зажглись в их глубине.

Барбюс бросает на стол монету и вслед за Бруно выскакивает на улицу.

Он был неосторожен? К черту! Он доволен!

Все еще идет дождь. Мостовая блестит, мокрый асфальт отражает свет скудных фонарей и фар проплывающих в тумане автомобилей.

А образ современной Гретхен остался в памяти, отложился броским и сильным штрихом.

И ни одному из мужчин, зашагавших дальше под дождем, не

думалось, что и место это, и эта девушка еще возникнут в их жизни, и не в воспоминаниях, а в живой и горестной реальности.

В тот вечер Барбюс выступал на многолюдном митинге. И в полночь возвращался в свой пансион. Они шли пешком: Барбюс, Бруно и Аннет. Улицы были почти пустынны, если не считать одиноких девиц с развязными манерами и уличных продавцов сосисок. Барбюс заявил, что голоден. Сосиски были горячие, картофельный салат — холодный. Зато на картонное гофрированное блюдце щедро накладывали горчицу.

По местному обыкновению в дом нельзя было войти, не имея своего ключа. Выяснилось, что Аннет оставила ключи у портье.

Они зашли в пивную, чтобы позвонить в пансион по телефону. Рабочие и шоферы такси пили за столиками пиво и громко говорили о политике. Барбюсу вдруг здесь понравилось. «Tiens![16] Мы остаемся тут…» Он, не слушая уговоров своих спутников, присел за столик, покрытый бумажной скатертью, вступил в разговор. Они говорили о войне, только и слышалось: «В районе Понтавр…», «В сентябре 15-го года… Я тогда первый раз увидел танки», «Такого не бывает», — сказал я себе», «Из нашей роты осталось в живых три человека…»

Кто-то стучал протезом по столу, кто-то затягивал солдатскую песню.

Ему было хорошо среди них. Они были его товарищами еще с тех пор, когда из меловых ям Шампани, из глинистых нор Артуа они, вчерашние враги, вставали, черные от грязи и бессонных ночей, и обнимались, как братья, и клялись вместе бороться против войны.

Барбюс ушел только тогда, когда поднялись они.

Он не мог предвидеть того, что произойдет всего лишь через четыре года. Не мог вообразить глубины пучины, в которую будет ввергнута Германия. Он любил эту страну, он любил этот народ, который много раз называл великим.

Через шесть лет Барбюс обратит к германскому народу слова пламенного призыва: «…От имени… масс я говорю с вами… Создание единого антифашистского фронта и начатая им борьба — это новое явление, и мы видим новых людей… Мы протягиваем вам руку во имя торжества народных масс, которые поднимаются повсюду…»

5

Барбюс пришел в коммунистическую партию автором «Огня» и «Ясности». Все последующие годы он не перестает создавать

книги. Что же нового появилось в его таланте, в произведениях, созданных в 20-е годы? Или ничто не изменилось?

Пригодился опыт прошлого. Но появилось и нечто редкое и значительное — страсть к исследованию, попытка монументальных обобщений. В художнике и политике пробудился историк. И «Звенья» — огромный, всеобъемлющий роман был первым шагом в этом направлении.

Старая испытанная сюжетная схема — впечатления, переживания и мысли героя-одиночки, его поиски истины. Форма повествования от первого лица, как и в ранних романах «Умоляющие» и «Ад». Казалось бы, все как прежде. Нет, герои «Звеньев», поэт Клеман Трашель, обладающий волшебной способностью проникать в прошлое, все видит по-новому.

Его личная драма отступает на второй план. На первом — драма человечества. И становится ясно: ясновидение Трашеля — лишь условная форма. Так автору легче и удобнее размышлять о временах прошедших, следить за судьбами рода людского. Ассирия. Египет. Греция. Рим. Феодальная Европа. Современный капитализм. Всемирная панорама непрекращающейся трагедии вселенной: социального неравенства. Боль и страстная жажда перемен владеют героем.

Барбюс становился оратором и провидцем и в творчестве.

А та человечность, та тонкость и особое изящество выражения мыслей, которые так привлекали в Барбюсе прежнем, — ушли ли они из его книг? Нет. Все, что пленяло в ранних его произведениях, живет…

Но одна новая черта укореняется в новых книгах Барбюса. Они полны выводов, предчувствий, предсказаний. Коммунист уверен в переделке будущего. Он также уверен, что мир перестроится руками людей. И он призывает к атаке, вырвать корни зла, изменить основы общества.

Эти мысли облекаются в художественную плоть образов, порой символических, в форму пророческих предсказаний, призывов. Барбюс, как художник, овладел свойством, которое он позже возведет в один из принципов нового искусства. В книге меняются с калейдоскопической пестротой картины разных миров, времен, эпох. События сменяют одно другое. Это как смена кадров в кинематографе. В его книге начинают смыкаться приемы кинообозрения и психологическое исследование.

А к следующей своей книге повестей он даст подзаголовок «Три фильма». Это сборник новелл «Сила» (1926). Разные эпохи, разные сюжеты. Но единая мысль придает повестям идейную цельность. Барбюс восстает против социального неравенства. И хотя в первой повести («Насилие») речь идет о древнем Риме, по

мысли, по тону, по идее это произведение о современности.

Герой «Насилия» Тимон, честный и одаренный человек, изобретатель невиданной технической силы, ждет случая, чтобы применить ее с наибольшей пользой для человечества. Он встречается со многими людьми, недовольными существующими порядками. Тимон стремится поднять рабов на борьбу. Но богачи узнают об его изобретении, и Тимон вынужден его уничтожить. С ним остаются только его убеждения.

Форма новеллы «Потустороннее» также условна. Летчик, которому предстоит дальний полет в Китай, поднимается в воздух для испытания самолета. А в это время в великолепном курортном городке на Лазурном берегу происходит взрыв на химическом заводе.

Единственный живой человек, летчик Губер Аллен, проходит по городу мертвых.

Смерть обнажает то, что было тайным. Герой видит следы предательства, измен, несправедливости, притеснений, и тогда Аллен бросает слова обличения своему сопернику, вырастающему в символ всего зла капитализма:

«Ты делал то, что ты хотел. Ты брал себе все существа, которых ты желал. Ты пожирал женскую молодость… ты уничтожил молодость мужскую… Ты терзал в своих металлических кухнях живые тела… Ты пользовался всем… гласностью, подкупленной всюду, демократическими парламентами, канцеляриями, газетами, судами, церквами…»

Новелла «Потустороннее» кончается оптимистически. Бедствие застигло не весь мир. Не все погибло. Аллен видит на море, в темном пространстве блестящую звезду. Эта звезда движется. Приближаются люди. «Все начинается сначала».

Новелла могла бы кончиться словами: «Но теперь Губер Аллен знал, *что* ему делать». С ним произошло то, что испытал Симон Полен. Это было прозрение. Наступила ясность.

Вот почему, когда Барбюс позднее, в 1930 году, напишет повесть «Полет» (тоже о летчике), она станет как бы продолжением новеллы «Потустороннее»: за обличением следует ясность, за нею — *действие*. Герой новой повести Барбюса летает над миром, пользуясь великим достижением современной техники. Из страны в страну перебрасывает его «волшебный аппарат». И герой постигает истину: неизбежность торжества социализма в мире.

«Старый мир будет побежден» — таков вывод Барбюса, проходящий через все его произведения 20-х годов.

Символика, гротеск, ирония, шутка, патетика, смелые, озорные картины, граничащие с натурализмом, взволнованная

лирика, публицистические формулы, историческое исследование, — все эти средства использует писатель, ищущий выражения идей социализма в искусстве. Но все это было и у его предшественников. Барбюс находит и нечто новое, созвучное эпохе. Стиль стремительности, калейдоскопичности, быстрой смены событий, настроений… как в кинематографе. Вот почему его книги приобретают форму романов-обозрений, повестей-обозрений, «кусков», но всегда эти фрагменты объединены единой художественной мыслью.

В книгах Барбюса царит Разум. Сила интеллекта в современности покоряла Барбюса. Он не уставал любоваться разумно, целесообразно сделанными вещами, достижениями техники. Эта направленность отзывалась и в его художественном методе. Убежденный борец за реализм, непрестанно ищущий новое лицо современного реалистического искусства, Барбюс постепенно отходил от старой классической манеры широкого психологического повествования. Такого глубокого анализа внутренней жизни героя, какой мы видели в «Ясности», уже больше не будет в его новых книгах.

Иным исследователям Барбюса казалось, что он принципиальный противник «старого» метода, что он «ревизует» обжитые литературные формы.

Все было и проще и сложнее. Барбюс был сторонником развития классического наследия. Барбюс исходил из традиций Виктора Гюго и Эмиля Золя. Он с благоговением относился к литературе классического века реализма.

В то же время особый стиль жизни Барбюса — политика, трибуна и оратора — влиял и на его творчество. Он делал и литературу трибуной.

Художник не переставал быть глашатаем и провидцем, оратор и вожак оставался художником. Красота и убедительность новых книг Барбюса и была в единстве двух ликов — художника и политика.

Работа художника шла столь же стремительно, как и общественно-политическое его дело. И как там, так и здесь случались и срывы.

Барбюс написал две книги об Иисусе. Странные, противоречивые книги. Огромное исследование, в отдельных частях значительное и подлинно научное, становится у Барбюса пропагандой сомнительного тезиса: «Иисус — это человек романской эпохи, ставший революционным вождем рабов».

Враг церкви, горячий и убежденный борец против религиозного мракобесия, Барбюс непоследователен в своей книге. Он пытается в ней доказать… атеизм Христа. Этот

парадокс вряд ли мог идти на пользу тому огромному общественно-политическому делу, которому служил сам Барбюс. В 1928 году книга «Иисус против Христа» была издана у нас в СССР с предисловием Луначарского. Без излишней запальчивости он ясно дал понять советскому читателю всю абсурдность «христианских» изысканий Барбюса. Он показал, куда увлекала Барбюса абстрактно-гуманистическая стихия, остатки прежних идеалистических заблуждений.

«На ошибках первоклассных голов мы учимся едва ли не лучше, чем на рутинной, приевшейся истине. Ошибка Барбюса — наша страховка от подобных заблуждений», — так закончил свое предисловие к книге «Иисус против Христа» А. В. Луначарский.

Самое разительное свидетельство противоречивости в мировоззрении и в творчестве Барбюса — появление почти одновременно двух столь противоположных книг, как «Иисус против Христа» и «Правдивые повести».

Историк, мыслитель уступает место очевидцу чудовищных фактов зла, художнику, чье сердце глубоко ранено ужасами кровавого террора.

Факты, собранные Барбюсом во время поездки на Балканы, получили художественное воплощение в сборнике новелл «Faits divers» — так назывались во французских газетах отделы происшествий.

В нашей стране перевели это французское выражение не буквально («Различные факты», «Происшествия»), но точно — «Правдивые повести». Новеллы о том, что действительно случилось.

Когда был опубликован кровоточащий документ — «Палачи», и о преступлениях в Балканских странах узнал весь мир, картины террора, которые так близко видел Барбюс, не переставали мучить его. Вот почему после «Палачей» появились «Правдивые повести».

Но как обогатилась палитра писателя, вечного странника, познавшего жизнь во всех ее измерениях, во всей противоречивости бурной, стремительной, чреватой событиями небывалой важности эпохи!

Герой «Правдивых повестей» Барбюса — сильный духом человек. Главное дело его жизни — революция. Только великая цель может породить величие духа. В книгу новелл снова входит образ минувшей страшной войны, образ, столь памятный автору. И снова поражает благородная целеустремленность писателя, целеустремленность, которая пронизывала еще его давнишние «письма с фронта», адресованные жене. («Да, малышка, ты права: надо выполнить долг и надо говорить. Я всегда близко к сердцу

принимаю этот долг, но сейчас больше чем когда-либо считаю его важным и необходимым».)

И если раньше в книгах Барбюса («Огонь», «Ясность») звучал голос прозревающего, то теперь в них — страсть просветленного, твердость убеждения, сила мировоззрения — тот «магический кристалл», через который Барбюс теперь видит мир и благодаря которому обретает способность писать правду об этом мире.

«Дух траншей» проникает в новые книги Барбюса. Сатира, яростно разившая военщину в романах «Огонь» и «Ясность», снова без промаха бьет в цель. Главные режиссеры трагикомедии битвы — военщина Франции, враги народа. Они убийцы тысяч французских солдат («Преступный поезд»), палачи мрачного Жоэля и веселого Мартэна («Жан смеющийся и Жан плачущий»); они покровители младших офицеров, под пьяную руку убивающих ни в чем не повинных солдат («Солдатская песня», «Два рассказа»); они совершают «подвиг» расстрела безоружных пленных («Убийца? Нет, не один, а тысячи»).

Эти и многие другие частные факты писатель-коммунист обобщает в широкую картину разгула милитаризма. Ручейки отдельных случаев сливаются в мутный кровавый поток.

Словно отточенное лезвие ножа сверкает форма обличительных новелл Барбюса. И эти новеллы также завершаются своеобразными рондо. Они публицистичны, призывны, как «Речи борца».

«Это вполне соответствует принципам той цивилизации, которая во всем мире, всюду, где только возможно, истребляет беззащитные народы, ссылаясь на то, что это дикари» («Убийца? Нет, не один, а тысячи»).

Суждения писателя о войне стали политически зрелыми. Речь идет о несправедливой бойне, ее ведут не народы, она нужна буржуазии-

Гибнут два солдата — Жоэль и Мартэн, прозванные Жанами (эта кличка как бы уравнивает, обезличивает перед лицом войны разных по характеру людей). Чтобы загладить оплошность бригадного комиссара, поднявшего солдат в неудачную атаку, военное начальство объяснило эту неудачу вольнодумством солдат: схватили и расстреляли и действительного вольнодумца Жоэля и полоумного, всегда смеющегося Мартэна.

И снова звучит в творчестве Барбюса (обогащенном, реалистическом!) старый французский прием гротеска!

Маска смеха на лице убитого Мартэна — не гротеск ради гротеска. Маска смеха на лице жертвы — еще один штрих, дополняющий обличительный портрет военного преступника — виновника смерти Мартэна.

Подлинный герой «Правдивых повестей» — народ. Маленький человек, человек из народа у Барбюса — носитель не только благородных идей, но и человеческих слабостей. Ему еще не открылась правда революции, но сознание уже проникает в его стихийную борьбу. Взрыхлена почва для революционного посева.

В рядовом человеке дремлют большие силы, их надо только разбудить. Так пробуждается разум в безумном слепце Мартэне, совесть и честь становятся доступны Бютуару, раскрывается любящее сердце безыменного воина в новелле «Солдатская песня».

В этой книге особенно остро ощущается народность писателя. Часто повторявшиеся им слова Золя «Спасение только в народе» были для него не словами, а итогом раздумий, опыта жизни, философского осмысления ее явлений.

Удивителен сюжетный поворот новеллы «Бютуар». Подвыпивший солдат отправляется в разведку и убивает немца. Страданиям Бютуара нет предела, когда он видит на убитом французский мундир. Он проводит мучительную ночь подле трупа и навсегда осуждает себя за убийство соотечественника. Бютуар не может простить себе то, что он был пьян: иначе бы он никогда не совершил преступления. Наутро же оказывается, что он герой, так как убил немецкого офицера, переодетого французом. Но награда за подвиг не радует Бютуара. Прислушиваясь к голосу совести, он убеждается, что совершил преступление. Задумавшись над ним, он безоговорочно осуждает войну. Из маленького человека Бютуар вырастает в личность, в мыслящего героя, сознание которого долго дремало.

Богаты душевно и другие герои. Пуалю из новеллы «Солдатская песня» вернулся из побывки с радостной песней на устах. Так чудесно было на родине! Это песня души, отогретой лаской маленькой Клэрины. «Он весь был во власти своего бесхитростного сердца, и голос его, не желая считаться ни со временем, ни с местом, распевал во всю мочь». Контрастны озлобление офицера, запрещающего петь, хотя песня никому не мешала, и тепло очарованной души солдата.

«— Заставьте его замолчать во что бы то ни стало! — дрожа, вероятно, от ярости сказал фельдфебелю офицер.

Фельдфебель втянул голову в плечи, заворчал и бешено ринулся в ночную тьму… И вскоре молчание, великое всемирное молчание воцарилось над равниной, как символ горькой скорбной неволи».

Вслед за портретами солдат идут образы жертв белого террора. Нечеловеческие муки терпят в румынских, болгарских застенках революционеры. Их подвергают чудовищным пыткам,

над ними глумятся, а они величественны, они страшны палачам, как страшна им сама правда. Барбюс зовет «распятые народы» к революции. Ему чужд эзоповский язык: наоборот, он называет по имени вдохновителей белого террора, повторяя факты, приведенные в «Палачах».

Сильны кровавые инстинкты, воспитываемые Цанковым и Ляпчевым. Даже простые, хорошие люди, особенно дети, поддаются их тлетворному влиянию. В новелле «Моровое поветрие» («La contagion») пожилой учитель рассказывает, как дети, которые всегда поражают взрослых, играя в полицию, инсценируют повешение Марко Фридмана, болгарина, обвиненного во взрыве белградского собора. Увлечение игрой дошло до того, что маленькие актеры всерьез повесили мальчика, изображавшего Марко.

Герой новеллы «Неукротимый» («L'indomptable») думает о революции даже в минуты самых тяжких физических мучений. Палачи объявляют ему, что «страны на Востоке» уже не существует. Когда к Неукротимому пробирается некая женщина, чтобы сказать ему правду о мире, первый вопрос, который он задает, — вопрос об СССР. «Страна на Востоке» существует. Человек спасен. Она его опора, она дает ему силы перенести любые муки.

Словами о вере «в единственный на свете свободный народ», о вере, которая «страшнее всех взрывчатых веществ» для врагов революции, заканчивается рассказ «Неукротимый», повторяющий подлинный факт подвига Адвоката и Девушки.

Барбюс ничего не выдумал. Он только дал преображенную картину самой жизни. И то, что художник видел своими глазами, выливается в зримый, конкретный образ, освобожденный от абстрактной туманности, нередко проникавшей в крупные полотна Барбюса 20-х годов.

Как злоключения новых Франчески и Паоло воспринимается чудовищная история, рассказанная в новелле «Лицом к лицу» («Ensemble»).

Андриас и Рита, любившие друг друга безмерно, напоминают слитную пару из раннего рассказа Барбюса «Их путь». Но тот налет абстракции, который делал прежнюю новеллу почти легендой, здесь отсутствует. Напротив, без прикрас, «в лоб», с мужественной силой автор передает действительный факт «пытки любовью», которую придумывают садисты палачи.

Андриас и Рита — революционеры. Они попадают в застенки венгерской тюрьмы, в страшный круг Дантова «Ада». Палачи приковывают любящих друг к другу. Oda терпят нечеловеческие страдания: близость их превращается в невыносимую муку. Со

смелостью таланта Барбюс не останавливается перед натуралистическими деталями, изображая ужас существования этого «двойного чудовища».

Месяцы такого заключения делают свое страшное дело. Возлюбленные выходят из тюрьмы, изуродованные физически и нравственно. Они не могут видеть друг друга без содрогания.

Строки этой новеллы взывают к мщению. За искалеченного человека. За его поруганную любовь.

В построении сборника новелл есть непреложная логика. В первом разделе «Война» — портреты солдат, прозревающих в огне войны. Образы людей, вставших на бой за правду революции, населяют новеллы второго раздела, который Барбюс назвал «Белый террор». Это те же самые люди, только уже прошедшие путь к сознательному революционному творчеству.

«И о прочем» — так озаглавлен третий раздел книги. Под этим прозаическим титром помещены новеллы о людях подвига в истории и в современности. Герой с большой буквы для Барбюса всегда простой человек. «Красная дева» Луиза Мишель — учительница. Незаметная, скромная труженица. События истории вызвали к жизни энергию рядовых людей, поставили их на пьедестал героев, но они не утратили своих свойств простого труженика, человека, как все.

Барбюсовская концепция героя, может быть, с наибольшей полнотой раскрыта в образе Бальдемаро Цоре из новеллы «Учитель».

«Это был спокойный, простой и кроткий человек, о котором все говорили: «Он добросовестный малый». В тесном кругу деревенских жителей его аккуратность и точность вошли в поговорку. Если бы он когда-нибудь опоздал на урок, все подумали бы, что часы врут».

Прошел слух, что учитель — «красный». Его преследовали черноризники. Они пришли на урок и вступили в поединок с Цоре. Борьба дошла до предела напряжения, и… учитель выстрелил в своих преследователей. Третьим выстрелом он убил себя.

Лаконично и горестно звучит финал этой новеллы: «Так в 1926 году в цивилизованной стране умер школьный учитель, осмелившийся говорить детям о справедливости».

Факты безграничной отваги, свидетельства мужества перед лицом террора, правдивый рассказ о героизме — факты, факты, — Барбюс не устает повторять это слово, как бы убеждая: «Я ничего не выдумал».

Иные новеллы начинаются в спокойной сказовой манере («Жил-был на свете юный принц, который был счастлив»), потом

сказовую интонацию сменяет ирония («слава короля все возрастала потому только, что он восседал на престоле»); а кончается все это ироническое построение картиной зверства, на которое был способен сказочный, прекрасный принц.

И опять факт — разительный, точный, убивающий наповал:

«Имя этого юного принца Фердинанд. Так его зовут и теперь. Но теперь он уже не юноша и не принц. Он — король Румынии».

Сборник «Правдивые повести» был вершиной творчества зрелого писателя. Этот этап его развития можно было бы назвать «на аванпостах искусства», так же, как всю его деятельность в эти годы — «на аванпостах борьбы».

ЧАСТЬ IV
ПОБЕДЫ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

1

30-е годы в столицах Европы можно было встретить необычную пару. Мужчина, очень высокий и очень худой, одетый с небрежной элегантностью, которая дается соединением хорошего вкуса с пренебрежением к моде и внешнему лоску. Он был слишком изящен, чтобы быть старомодным, слишком небрежен, чтобы быть названным снобом.

Его голова казалась чересчур маленькой при таком росте, руки — чересчур длинными. И все же во всей фигуре была какая-то гармония. Может быть большой лоб, на который падала прядь прямых волос, тонкий нос с маленькой горбинкой или тонко очерченный рот под усами каштанового цвета, делали лицо с неправильными и резкими чертами почти красивым. В то время как действительно хороши были только глаза. Цвет их изменчив, неуловим. Серые? Да, иногда. И зеленые тоже. И карие. Взгляд их то напряжен, то рассеян. Чаще всего мечтателен или ироничен.

Что же напоминает Дон-Кихота в облике этого человека? Аскетическая худоба? Костлявые руки? Они подвижны и очень выразительны! Какая-то черта суровости, даже отрешенности. И вместе с тем глубокой доброты…

Может быть, это даже не сходство, не тождество неких внешних черт. Но раз возникшая, мысль о рыцаре Ламанчском уже не уходит. Она закрепляется ощущением чистоты и тонкости, благородства и отваги. И доброты.

А его спутница?

Это — совсем маленькая женщина, черноволосая и с какой-то «мальчишинкой» в манерах и движениях. О ней можно сказать: «маленькая», «крошечная», «миниатюрная», но больше всего ей подходит французский эпитет «minusqule», что только очень условно можно перевести как «микроскопическая». Так Барбюс иногда и называл Аннет Видаль, своего секретаря, своего спутника в разъездах по странам мира.

Даже постороннему наблюдателю было ясно, что эти двое связаны большой дружбой, что они хорошо понимают друг друга. Откуда это видно? Они скупы на теплые слова, они далеки от сентиментальности. Разве только вот это: он часто среди разговора вдруг оборачивается к ней и, слегка наклонясь, — он ведь очень-очень высок, а она очень-очень мала, — спрашивает: «N’est ce pas, Annette?»[17]

Этого человека видели в Лондоне и в Мадриде, в белопанской Варшаве и в царстве террора — белой Румынии, в Голландии — стране унылого порядка и в Копенгагене, где все смешалось: модерн и средневековье. И в Женеве, городе благих намерений, где все можно и ничего нельзя.

Ненастным сентябрьским днем на борту «Беренгарии» он приближался к берегам США, и чиновник иммиграционной службы всерьез допрашивал его: «Значит, вы коммунист? Вы в самом деле коммунист?»

О нем писали в желтой прессе, в бульварных газетенках, в грязных листках и подметных письмах. Его называли авантюристом, террористом и агентом Москвы. Клевета, Инсинуация и Сплетня, спущенные с цепи Политическим Расчетом, бежали впереди него с визгливым лаем.

Рекорд глупости побил Фридрих Адлер, написавший в письме к Вандервельде, что секретарь Барбюса Аннет Видаль — «русская чекистка», диктующая Барбюсу линию поведения. Над Адлером смеялись даже его единомышленники. Однако и эти строки были продиктованы ненавистью классового врага, который через шесть лет откроет Гитлеру путь в Австрию.

Однажды человек, которого знал весь мир, вышел из вагона курьерского поезда Вена — Бухарест на вокзале города, распятого палачами. И мелкий шпик, филер сигуранцы, донес начальству: «С вокзала Анри Барбюс отправился в отель… по дороге он купил яблок».

По его следам бегали ищейки всех мастей, международные агенты всех рангов. Об его приездах, пребывании и отъездах летели шифрованные телеграммы в штабы всех стран капитализма. Им были заняты разведки и полиции мира от «Сюртэ женераль» и «Интеллидженс сервис» до провинциального жандарма в Татарбунарах. В его виллу на Лазурном берегу и в его дом в Омоне проникали сыщики, и тайные обыски оскверняли места, где он творил, где жила его муза — боец и труженик.

И была только одна страна, которую он назовет «Страной, где загорается солнце», «Родиной всех лучших людей земного шара», которой посвятит много (вдохновенных строк, — только в ней одной он дышал свободно.

Не раз тысячи дружеских рук протягивались к нему на пограничной станции Негорелое, на всем его пути в Москву, на площади Белорусско-Балтийского вокзала и всюду, куда он следовал потом. В Грузии, в Крыму, на Днепрострое и в Архангельском под Москвой — всюду Любовь, Признание и Доверие были его спутниками в этой стране.

Его знали здесь давно. Его голос, голос друга, был слышен

далеко.

О нем однажды сказал Владимир Ильич: «Да, это великий голос». Луначарский вспоминал, что эти слова Ленин произнес, как-то особенно задумчиво смотря прямо перед собой.

Символическое имя «Неукротимый», которое Барбюс дал герою румынского подполья, вполне подходило к самому Барбюсу. И было еще одно имя, данное ему Роменом Ролланом. Оно звучало торжественно, патетически, и в нем тоже была правда: Прометей революции.

Наконец выходит давно ожидаемая соотечественниками книга, «Россия» («Russie»). Она рассказала правду о Советском Союзе, она ввела читателей в повседневную жизнь людей нового мира. Все, о чем говорилось в книге, было ново, неожиданно, необычно и казалось совершенно неправдоподобным людям Запада. Им трудно было себе представить даже такую простую вещь, как бесплатный отдых на море для детей рабочих, как безвозмездное лечение в государственных больницах, как отпуска за счет государства и многое другое.

И никогда еще так зримо не представало перед европейским читателем строительство в СССР.

Клеветнические выпады Луи Селина и других французских интеллигентов, ездивших в Россию с камнем за пазухой, в свое время смутили читателей. Верить или не верить? Буржуазная пресса вопила о близком «крахе» Советов.

Нужна была правда. Вот почему Барбюс так страстно ждал выхода книги. Он ежедневно справлялся у своего издателя Фламмариона, как идут дела. И вот книга, которую он писал с такой любовью, наконец, дошла до читателей.

Статистические сведения, факты и цифры. Их было более чем достаточно для обычной книги. Но Барбюс не позволил издателю снять ни одну из цифр. Именно они были призваны убеждать, доказывать, Они красноречивее восторженных слов, ярче любых, даже самых прекрасных картин. Все увиденное в СССР, все изученное, все наблюденное автор собрал в этой очерковой книге. Вопросы большой политики, мельчайшие подробности быта, особенно важная для Барбюса национальная проблема и портреты встреченных людей — таков диапазон сведений, собранных в книге «Россия». Живейший интерес к закавказским и среднеазиатским советским республикам, подробные описания городов на Волге, пейзажи Крыма, Кавказа, поэтические описания Москвы и жизни москвичей — все это создавало объемную и впечатляющую картину Страны Советов.

— Это же энциклопедия СССР. Как она нужна нам,

французам, нашей партии! — сказал Вайян-Кутюрье.

Но жизнь есть жизнь.

Радости и огорчения сменяли друг друга. Для Барбюса вскоре наступила полоса огорчений. Причина их лежала прежде всего в нем самом. Не все было благополучно в «Монд». В одной из передовых статей Барбюс выступил с расплывчатой программой, допускавшей в революционном журнале самые различные высказывания. Неудивительно, что после такой декларации в журнал хлынули оппортунисты, троцкистские ревизионисты, всякого рода политические ренегаты. И Барбюс не смог им противостоять.

Он получал тревожные предупреждения от советских друзей. Ему показали статью Бруно Ясенского «Универмаг идеологий». Это был спор с Барбюсом; автор статьи осуждал либерализм редактора «Монд», его терпимость к высказываниям разного толка.

Готовясь к новой поездке в СССР, Барбюс с тревогой думает о том, как отнесутся к линии «Монд» делегаты Конгресса пролетарских писателей, созываемого в Харькове. Он стремится скорее увидеть русских друзей.

Планы Барбюса разбиваются о непреклонность медиков. Ему придется остаться в Мирамаре, лежать в постели, принимать лекарства, соблюдать строгий режим. И это в то время, когда в далеком Харькове будут решаться важнейшие вопросы участия писателей в борьбе с фашизмом!

И Барбюс посылает обращение к конгрессу: он высказывает свою точку зрения, он подробно обрисовывает действенную роль передовой интеллигенции Франции.

…С нетерпением ждал Барбюс возвращения французской делегации. Особенно Вайяна. Тот приехал суровый и печальный. Ему пришлось много горького высказать Барбюсу о «Монд», о его курсе в последнее время. Конгресс выразил решительное несогласие с позицией Барбюса, предоставившего трибуну «Монд» буржуазным радикалам. Какой же это революционный орган? Идея «объективной истины», которую провозгласил в одной из передовых статей Барбюс, вступила в противоречие с его партийностью. «Объективность», по существу, была объективизмом, антипартийностью.

Слушать горячую обличительную речь Вайяна было тяжело.

Барбюса самого уже давно беспокоили некоторые журналисты и писатели, зачастившие в «Монд». Среди них был Панаит Истрати, к которому Барбюс испытывал двойственное чувство. Истрати нравился ему своей общительностью; нередко

он слушал живые рассказы Истрати о его прошлом. Перед ним возникали картины авантюрной жизни писателя, служившего разносчиком, кельнером, фотографом, углекопом, писцом…

И вот этот «безобидный» человек, приблизившийся к лагерю прогрессивных писателей, издал клеветническую книгу о Советском Союзе!

Непостоянство, беспринципность — самые характерные черты Панаита Истрати — привели его к предательству. Он не только очернил Советскую страну, он круто повернул вправо, в лагерь реакции.

Барбюс не видел большой опасности ни в том, что в журнале печатался Истрати, ни в том, что выступали в «Монд» некоторые яростные буржуазные политиканы. И вот перед ним резолюция конгресса. Это уже мнение большинства. К нему нельзя не прислушаться.

Барбюс переживал тревожное время. Это было похоже на кризис. Потрясло своей суровостью письмо Горького.

«*(Сорренто, ноябрь 1931 г.)*

Уваж. т. Барбюс!

Ввиду того, что «Монд» не соответствует больше намеченным цели и линии, и не будучи в состоянии сотрудничать в журнале, где сотрудничает П. Истрати, прошу Вас снять мое имя из редколлегии «Монда».

Ваш»

Строки этого письма неотступно стояли перед глазами Барбюса, занятого текущей работой. Он вспоминал и другие предупреждения партийных друзей. Торез предостерегал его: он говорил ему и о Панаите Истрати, человеке, запятнавшем себя черным предательством. С ужасом Барбюс думал, что может оказаться вне лагеря революционной солидарности, утерять то, что было смыслом его жизни. Потерять имя Горького для «Монд» было подобно катастрофе. Рука не поднималась вычеркнуть из состава редакционной коллегии журнала имя, к которому тянулось все передовое в мире.

И катастрофа разразилась. Пришло новое письмо:

«*(1932 г.)*

Гражданин Барбюс —

идеи, которые пропагандирует журнал «Монд», редактируемый Вами, резко противоречат моим взглядам большевика и коммуниста. Поэтому, хотя я и не сотрудничаю в журнале Вашем, все же имени моему — на его обложке — не

место. Прошу Вас исключить меня из числа сотрудников. Я уже просил Вас об этом в ноябре 31 года.

М. Горький»

Барбюс не знал, что Горькому было нелегко написать это письмо, не знал и того, что о нем думали многие люди, желавшие сохранить его для партии и общего великого дела. Морис Торез направил Горькому письмо с характеристикой действий редактора «Монд». Секретарь ЦК Французской Компартии осуждал Барбюса за то, что тот допустил в журнале «надпартийные» выступления под флагом «объективной истины», вносящие чуждый партии дух в атмосферу «Монд». Создавалось впечатление, что сам Барбюс не до конца преодолел власть идей абстрактного гуманизма.

Друзья Барбюса верили в него, видели, что он заблуждается и сам не чувствует, в какую пучину затягивает его объективизм и ранее несвойственная ему «всеядность». Нельзя было допускать в революционном журнале, возглавляемом коммунистом, «универмага идеологий».

Жан Фревиль и Жак Дюкло, Бела Иллеш и Вайян-Кутюрье, Морис Торез и Марсель Кашен — все они желали Барбюсу добра. Критика их была суровой, но она была во спасение Барбюса.

Бела Иллеш писал Горькому и просил его убедить Барбюса в том, что нельзя одновременно стоять в рядах коммунистического лагеря и предоставлять страницы «Монд» социал-фашистам.

Д. З. Мануильский, хорошо знавший Барбюса и очень ценивший его, тоже писал Горькому:

«Дорогой Алексей Максимович! Мне стало известно, что тов. Торез… обратился к Вам с просьбой снять Ваше имя из списков редакторов «Монд».

Вполне поддерживая эту просьбу, я считал бы целесообразным придать этому Вашему акту (если бы Вы на него согласились) форму, которая придала бы ему характер еще одной попытки спасти его (Барбюса) для нашего фронта».

На Горького, как на всемирный моральный авторитет, возлагались надежды друзей Барбюса. Нужны были крутые меры, и Горький написал свое суровое письмо.

Барбюсу приходилось трудно. А тут еще коварные голоса «доброжелателей», телефонные звонки… Кто-то даже договорился до самого страшного, кто-то ‘уже нашептывал:

«Да, если будет так продолжаться дальше, придется уйти, хотя бы на время. Ничего не поделаешь».

Как! Ему уйти из коммунистической партии? Куда же это уйти? Разве есть такое место, куда он может уйти? Пусть партия

осудила бы его, она неизмеримо выше не только остальных партий, но и всякого горделивого индивидуалистического одиночества. Нет, лучше все перенести! Главное: надо быть коммунистом. Это самое важное; обрести путь и сбиться с него, увидеть свет и утерять его — самое большое несчастье, какое может его постигнуть.

Такие мысли не отпускали его, он жил тяжело и тревожно.

Была большая, непрерывная работа, часто в постели, с температурой, с болями, туманящими мозг.

Книга «Золя» подвигалась вперед. И только это поддерживало его. Книге, вместившей в себя всю его духовную жизнь, жизнь писателя и политического деятеля, он отдавал свои силы, порою казалось — последние.

Дела требовали быть ближе к Парижу. Барбюс переехал в Омон, несмотря на холод и на то, что «Сильвия» была не приспособлена для зимы. Одолевали практические заботы. Нужны были средства для «Монд».

Пришлось сдавать в наем «Вижилию», чтобы выручить немного денег для журнала.

Но пережили и эту трудную зиму.

Ошибки не были неисправимы, как это могло показаться. Суровая дружба людей, которых он безмерно уважал, их резкая критика, письма Горького помогли Барбюсу справиться с тяжелым духовным кризисом. К тому же вскоре подоспела помощь в «Монд». В редакцию пришел молодой, энергичный работник, полный сил и желания помочь Барбюсу. Немецкий коммунист, писатель Альфред Курелла стал настоящим помощником Барбюса в журнале. Уже к началу 1933 года им удалось дать отпор ренегатам, которые, прикрываясь именем Барбюса, пытались разлагать революционное движение во Франции. Барбюс отстранил их от сотрудничества в журнале.

Несколько окрепнув после болезни, Барбюс снова был полон сил для осуществления планов борьбы.

Он видел, как надвигается фашизм на Европу. Он ощущал приближение катастрофы. Барбюс верил, что передовые силы мира смогут помешать войне; он помнил, какую мощь обнаружили эти силы на конгрессе в Берлине.

И воспоминания о совместной борьбе с Ролланом приводят Барбюса в Швейцарию, в маленький город Вильнёв, где живет Ромен Роллан.

Двенадцать лет назад они оба выступали против милитаризма, создавали боевую группу «Клярте».

Борясь и работая вместе, они поняли, что многое видят по-разному. Барбюс стал коммунистом. Роллан продолжал стоять на

позициях идеалистических, «внепартийных». Идейные разногласия были многолетними и негасимыми; пылкий, непримиримый солдат революции Барбюс и медлительный фанатический гандист Роллан. Но это не мешало им оставаться друзьями, и перед лицом враждебных сил они всегда находили поддержку друг в друге.

После 1927 года Барбюс не видел Роллана. Но вот снова сгустились тучи фашизма над многострадальной Европой. И испытанные комбаттаны мира Барбюс и Роллан — снова вместе. Они встречаются в Вильнёве, чтобы предпринять активные действия.

Это тем более необходимо, так как реакция перешла в наступление.

6 мая 1932 года мир был потрясен известием об убийстве французского президента Поля Думера. Буржуазная пресса Франции трубит: «Русский большевик убил президента Думера!»

Мутные волны сенсации достигают Омона, где Барбюс деятельно готовится к предстоящему конгрессу. Возмущенный новой чудовищной провокацией против Страны Советов, Барбюс делится своими чувствами с Жаком Дюкло. В разговоре с руководителем партий яснее выступает для Барбюса весь механизм чудовищной провокации. Жак Дюкло высказывает мысль о необходимости выступления Барбюса с разоблачением. Он произносит слова, в которых сквозит его отношение к Барбюсу, пламенному трибуну, ставшему совестью Франции: «Какое мощное «Я обвиняю» вышло бы из-под Вашего пера!»

И вот маски сорваны. Выкормыш змеиного гнезда, свитого при попустительстве французского правительства, убийца Думера белогвардеец Горгулов признается, что совершил террористический акт в силу определенных политических причин. Как он заявил «а следствии, он «покушался на Думера, чтобы заставить Францию бороться против Советов».

С помощью Аннет Видаль Барбюс погружается в изучение белогвардейской прессы, он прослеживает преступный путь от бесстыдных наветов на Советскую страну до прямых призывов к террору.

Убийство Думера было звеном в цепи провокаций, одним из актов подрывной деятельности, которую долгие годы развивали белогвардейские организации, пригретые правителями Франции.

Истинное значение гнусной инсценировки заключалось в том, что правительство Тардье, как и его предшественники, поддерживало, подстрекало, финансировало и Сооружало белогвардейские сообщества, идущие преступным путем политических убийств и подготовки новой войны.

Все, что в результате кропотливого и беспристрастного выяснения фактов открылось возмущенному взору Барбюса, он излагает — в гневном и страстном документе, статье, озаглавленной «Я обвиняю». Статья помещена в «Юманите». Это горячий призыв французского патриота и друга СССР к людям доброй воли: быть бдительными, раскрывать происки врагов рабочего класса. Писатель бросает обвинение Тардье в том, что он играл в деле Горгулова «комедию, более чудовищную, чем смехотворную»…

Правительство Тардье подало в отставку. Провокация была сорвана.

2

Барбюс любил работать по ночам. Вероятно, это была привычка его молодых лет, когда беспокойная жизнь журналиста оставляла ему для творчества только ночные часы с тишиной в маленькой квартирке на улице Беллефон, куда долетал приглушенным несмолкающий гул Парижа.

Молчание лесов, глубокий сон деревенских улиц окружали «Сильвию» покоем и умиротворенностью. Поля, еще черные, деревья, еще не зазеленевшие, дышали предчувствием весны. Но эта тишина казалась напряженной, это ожидание, разлитое в воздухе, заставляло думать о будущем. Оно тревожило, в нем таилась угроза.

Погруженная в темноту деревня обступала «Сильвию» неясными силуэтами уснувших домов. Только одно окно виллы выбрасывало пучок неяркого света. Барбюс работал большую часть ночи. Он сидел на стуле с подпиленными ножками, так как был слишком высок. Худая рука его быстро наносила на бумагу острые мелкие буквы.

Мысль о войне, которая в глубокой тайне уже готовится в недрах агрессивных государств, терзала Барбюса.

В сложной политической обстановке появилось воззвание, подписанное Ролланом и Барбюсом, призывавшее к организации Международного антивоенного конгресса. Инициаторы его хорошо понимали, что нужно «пробудить общественное мнение Европы и Америки, оцепеневшее под наркозом своей прессы». Комитет, состоящий из Роллана, Барбюса и Горького, обратился за поддержкой к Бернарду Шоу, Альберту Эйнштейну, Генриху Манну, Теодору Драйзеру, Эптону Синклеру, Джону Дос-Пассосу, Герберту Уэллсу, Полю Ланжевену и г-же Сун Ятсен. Это блистательное созвездие имен нужно было конгрессу не для пышности, а для подлинно делового участия в благородном деле.

За этими именами шел народ. Привлекая интеллигенцию, инициаторы в то же время взывали «ко всем рабочим крупных мировых центров металлургической и химической промышленности и транспорта», предлагая им выбрать рабочих делегатов на конгресс. «Дело идет о том, чтобы образовать единый фронт работников умственного и физического труда, который должен остановить и сломить преступное наступление воинствующего империализма на Западе и на Дальнем Востоке.

Всеобщий сбор!»

Так писал Ромен Роллан о назначении и целях конгресса. Широко откликнулись на этот призыв все передовые люди стран мира.

Предполагалось созвать конгресс в Амстердаме. Определить место созыва этой всемирной ассамблеи было нелегко. Правительство Швейцарии запретило организацию конгресса на своей территории, объявив его «коммунистической затеей». Париж как место организации конгресса тоже отпадал — французские власти воспротивились въезду советской делегации. Безрезультатными оказались и переговоры с британскими властями.

Наконец голландское правительство разрешило проведение конгресса на своей территории. Но и оно в последнюю минуту проявило величайшую низость, пытаясь его сорвать. Незадолго до открытия конгресса Барбюс получил телеграмму: «Ввиду неполучения разрешения на въезд в Голландию советских делегатов, избранных на антивоенный конгресс, нельзя получить нужные транзитные визы. Поэтому просим принять все необходимые меры».

После выбора места конгресса инициаторам его еще предстояла схватка с деятелями II Интернационала. В Цюрихе Барбюс встретился с одним из них. Это был секретарь II Интернационала Фридрих Адлер, развивший бешеную активность, для того чтобы сорвать конгресс. Но Барбюс и Роллан не уступили своих позиций, и происки социал-демократии провалились.

Весь мир всколыхнула весть о конгрессе. «Конгресс!» — слово это не сходило со страниц газет, работали инициативные комитеты и группы, возникали сотни митингов.

27 августа 1932 года во Дворце автомобильной промышленности в Амстердаме открылся Международный антивоенный конгресс. Советской делегации во главе с А. М. Горьким и Н. М. Шверником был запрещен въезд в Голландию. В послании Амстердамскому конгрессу А. М. Горький писал: «От лица советской делегации горячо приветствую Конгресс. Желаю

членам Конгресса полного и глубокого единодушия в отрицательном отношении к империалистам, организаторам мировой бойни. К сожалению, в силу осторожности правительства Голландии я лишен права непосредственно участвовать в Конгрессе. Я не отрицаю за врагом его права на трусость, но в данном случае трусость кажется мне непонятной».

Эта «речь, которая не была произнесена», речь Горького была прочитана перед двухтысячной массой делегатов. Стоя слушал ее конгресс.

«От начала до конца конгресса его душой был Анри Барбюс, — писал Ромен Роллан об Амстердамском конгрессе. — Бесконечно утомленный, с осунувшимся лицом, сгорбившийся, худой, Барбюс, казалось, свалится под бременем, которое выпало на его долю… Но он, спокойный, терпеливый и настойчивый, сначала до конца непоколебимо сохранял то беспристрастие, которое было обещано и обеспечено…». «…И если звон коммунистических колоколов заглушал другие, то это потому, что другие «пастухи» не только уклонились, но мешали своему стаду прийти туда (прошу прощения за этот образ! Я пишу в Швейцарии и ко мне доносится с гор звон колокольчиков)».

Как грозный зов набата, раздавался на конгрессе гневный голос Барбюса, снова провозгласившего «Я обвиняю!» — «J’accuse!». Уже одним этим словом он соединил современное антивоенное движение с традицией борьбы с милитаризмом, восходящей к известному событию 1898 года, когда Эмиль Золя обратился с открытым письмом к президенту Французской республики.

Речь Барбюса была речью коммуниста, требования его были предельно отточены, обвинения его шли как бы от самой истории, от самого народа. Это был шедевр ораторского искусства Барбюса. И это было слово-действие.

ГЛАВА ВТОРАЯ

1

…20 сентября 1932 года Маргарита Ивановна Соловьева и Вава торопились на Белорусско-Балтийский вокзал. Их радовала растущая у них на глазах популярность Барбюса. С каждым приездом в СССР его узнавали больше, понимали глубже.

Площадь у вокзала заполнена народом. С трудом пробиваются они через цепи солдат, сквозь толпу комсомольцев. Они читают приветственные слова на транспарантах: «Да здравствует Амстердам!», «Привет мужественному борцу против войны и фашизма!», «Добро пожаловать, Анри Барбюс!»

Наш паровоз, вперед лети,
В Коммуне остановка… —

песня, сама летучая, стремительная, реет над колоннами.

Мать и дочь бегут по перрону вместе с другими. Вагон Барбюса виден издалека. В его окнах — красные флаги. На площадке — знакомая высокая фигура в пальто нараспашку.

Крики «Ура!». Гром оркестра. Барбюс, усталый, растроганный, счастливый, слушает «Марсельезу». К нему тянутся руки, молодежь скандирует: «Привет борцу за мир и единство!», «Привет другу СССР!»

Митинг вспыхнул на площади без подготовки, стихийно. Бела Иллеш сказал несколько слов, горячих, словно уголья подбрасывал. Восторженно приветствовал Барбюса комсомольский поэт Александр Безыменский, порывистый, искренний, растрепанный. Соловьева беспокойно вглядывалась в лицо гостя. Глаза его лихорадочно блестели. Руки были все время в движении, тонкие, нервные пальцы дрожали. В лице, во всей фигуре чувствовалась безмерная усталость. Он очень, очень изменился за три с небольшим года.

— Лишь бы был здоров! — попросту говорит Соловьева, наклоняясь к уху Аннет.

Они поехали в «Савой» — гостиницу, которую любил Барбюс.

По утрам он шутливо приветствовал «собрата по перу» — ученого дьяка, чей монумент возвышался неподалеку от «Савоя». Фантастические фрески Врубеля на фронтоне «Метрополя» возвращали его мысль к искусству.

В этот приезд Барбюса чествовали в Колонном зале Дома

союзов.

Уже много раз он сидел в президиумах конгрессов, митингов, собраний, конференций, сотни раз выступал с речами. Но такого ощущения он никогда не испытывал. Ведь все, что сегодня говорилось, относилось к *нему*. Это было удивительное чувство. Сначала Барбюс смущался. Потом он ощутил, что все добрые и страстные слова принадлежат не ему одному, но тому великому движению, с которым он связал свою жизнь. И тогда он стал *чествовать* вместе со всеми мир, единство, антифашизм.

Выступали писатели; многих из них он уже знал. Федор Гладков, сохранивший в перипетиях своей трудной жизни удивительную юность души. Молодой мудрец Леонид Леонов, написавший своеобразную, очень русскую книгу «Вор». Бела Иллеш — соратник по МОПРу. Эгон Эрвин Киш, Анатоль Гидаш… И величественная в своей прекрасной старости Клара. Вечер был полон особого значения для Барбюса. Это было признание. Итог пройденного пути. И вместе с тем — напутствие и надежды, обращенные к нему.

Встреча с Горьким окрасила его пребывание в СССР большой радостью. В их отношениях не было больше холодка, возникшего в связи с ошибками «Монд». Великий русский учитель и французские друзья-коммунисты были правы, и Барбюс был рад признать их правоту, потому что, настаивая на своих ошибках, он отдалился бы от самого дорогого для него — от партии.

В вечер сорокалетнего юбилея Горького, в зале Большого театра, он снова тепло говорил с Алексеем Максимовичем. Горький познакомил Барбюса со своим сыном Максимом. И что-то новое открылось в этом глубоком и значительном человеке. Что-то интимное, семейное. Возникало представление о крепкой дружбе отца и сына, о молодой поросли, окружающей могучее дерево с великолепной гордой кроной.

…Сегодня доктора сообщили о болезни Горького. Барбюс взял листок бумаги и в правом углу вывел мелким отчетливым почерком: *«6 октября 1932 г. Москва. Отель «Савой»*. Такие особенно важные для Барбюса личные письма он всегда писал сам. Он был в отчаянии, узнав о том, что Горький заболел после прекрасного вечера в Большом театре. Он выражал чувства братского восхищения и привязанности.

Барбюс выехал на Днепрострой. Его пригласили та открытие гиганта пятилетки, любимого детища советского народа. Ехали большой группой, вместе с московскими писателями.

Он ощутил то чувство единства, которое всегда обретал, попадая в советскую литературную среду. Его удивляли биографии тех, кто создавал новую литературу. Его познакомили

с Панферовым. Барбюс еще не прочел роман «Бруски». Но их автор показался ему интересным человеком. Настоящий русский крестьянин, в прошлом пастух. Красивое, мужественное лицо, курчавая голова и голубые, неожиданно мечтательные глаза. Ему присуща добрая крестьянская «хитреца». Барбюс охотно принимает приглашение редакции «Октября». Хотя бы потому, что ему дорого само название — «Октябрь»!

Планам Барбюса не суждено было осуществиться. Прибыв на место, он получил телеграмму: 18 октября в Берлине — митинг. Председателем намечен Барбюс, выступит Генрих Манн.

Жизнь Барбюса полна резких контрастов: после сердечности и тепла в Советском Союзе нужно спешить в мрачный, фашизирующийся Берлин.

Снова поезд, снова Москва, уже прощальная, уже отходящая назад в окне вагона…

И чувство горечи оттого, что не удалось собрать достаточно материала для задуманной книги. Он уезжает с мыслями об этой книге, о том, что французы должны узнать больше, много больше о партии коммунистов, о советском народе, о его вождях.

В Берлине Барбюсу сообщают, что правительство запретило митинг в честь конгресса в Амстердаме.

— О дьявол! Нужно иметь железное сердце, чтобы выдержать все это!

— И здоровые легкие, — грустно добавляет Анкет, глядя из окна гостиницы на улицы, скованные осенней непогодой.

В Берлине стояли ветреные, холодные дни. Прохожие казались озабоченными и хмурыми. И в людных пивных реже слышались шутки.

Барбюс обладал удивительным свойством, которое можно было бы назвать политической интуицией. Беспрестанная тревога за судьбы мира сделала его чувствительным к малейшим отклонениям стрелки политического барометра. Мельчайшие, почти неуловимые движения, которые показались бы другому случайными, открывали ему какие-то глубинные процессы, заставляли его сердце сжиматься в тяжких предчувствиях.

По узкой Кессельштрассе прошел отряд юношей. В полувоенной одежде, с ножами у пояса. Они поют не громко, не вызывающе, в лад. Что они поют? Старую немецкую песню. О преуспевающем мельнике.

На углу — полицейский, мощный детина в блестящей каске Он смотрит на проходящий отряд, подымает руку. Властно останавливает движение на скрещении улиц. И угодливо, почти подобострастно делает знак юношам: они могут пройти.

Самодовольная ухмылка тронула лицо одного, другого в колонне.

Что здесь такого? Но вдруг уличная сценка наполняется новым смыслом.

В выражении, скользнувшем по лицам, отблеск зловещего пламени. Оно полыхает где-то впереди, в будущем. Может быть, еще не близком, а может, быть, уже стоящем на пороге.

Барбюсу надо было повидаться с одним из депутатов рейхстага, живущим в Гамбурге. Переговорив с ним по телефону, Барбюс выехал из Берлина.

В Гамбурге шел мелкий дождь. Над Альстер-озером плотной пеленой лежал туман. Город был затянут его белесой дымкой, особенно густой в портовых кварталах. Они казались холодными, черными каналами, несущими свои воды к морю. Дома словно плыли по ним, как многоэтажные суда с частым рядом освещенных иллюминаторов. Фигуры прохожих под зонтиками намечались неясно, призрачно, сквозь туман.

Барбюс бродил по кварталам Сан-Паули, как это делает каждый приезжий. Мог же он когда-нибудь, хоть на один час, быть просто приезжим!

Утомившись и продрогнув, он захотел зайти куда-нибудь и увидел, что стоит у всемирно-известной харчевни с вывеской «Тут кормят, как у твоей мамы». В шумном окружении моряков, только что сошедших на берег с английского судна, стоящего в гавани, он выпил стакан грога. Он слушал разговоры этих ребят, обрывки песен. Вдыхал запахи моря, ветра и английского табака.

Давняя страсть к скитаниям проснулась в нем.

В молниеносно быстрых продвижениях скорыми, курьерскими поездами, автомобилем, самолетом его иногда посещало желание уйти с рюкзаком за плечами в горы и бродить по деревенским дорогам.

Однажды, давно, в Дрезденской галерее он остановился перед небольшой картиной. Он забыл имя художника, забыл краски той картины. Остался только образ одинокого путника, идущего по заманчиво петляющей горной дороге, и щемящее чувство красоты окружающего. Да еще название картины, необычное и, как ему показалось, удивительно подходящее к общему ее настроению. Название было немецкое: «Wandern! O, Wandern!» Он не мог бы точно перевести смысл этого возгласа на французский; не «бродяжить», и не «странствовать», и, уж, конечно, не «путешествовать». Он думал, что ближе всего было бы: «бродить, любуясь».

Стряхнув с себя тонкую паутину воспоминаний, он вышел на улицу. За час, проведенный им в харчевне, туман стал гуще, огни

фонарей, плавающие в тумане, желтее и словно беспокойнее.

У него еще оставалось время до встречи с депутатом.

И он походил по набережной. Неожиданно он очутился недалеко от Паноптикума. Знаменитый Гамбургский музей восковых фигур был щедро освещен. У входа стоял монументальный швейцар. Его румяное лицо с густыми бровями и белоснежными бакенбардами выглядело так же великолепно, как его кепи и ливрея с золотыми галунами.

Очень старый, но все же внушительный человек в позе, странно соединяющей выправку солдата и готовность услужающего.

Он стоял, как изваяние. Поза подчеркивала неподвижность массивной фигуры у вертящейся двери. И все же эта неподвижность начинала беспокоить. В ней чудилось нечто противоестественное и давящее. Барбюс хорошо знал знаменитый «виц», рекламный трюк музея, и все же он забыл о нем и чуть не сунул монету в руку воскового привратника. Но в эту минуту живой швейцар, точная копия воскового, привычно протянул руку за мздой, предназначенной ему, а отнюдь не его восковому двойнику.

Было что-то отталкивающее в сосуществовании этих двух стариков, живого и воскового, стоявших здесь уже десятки лет. По мере того как менялась внешность швейцара, дельцы из музея вносили поправки во внешность воскового двойника, нанося морщины на маску лица, сменяя темный парик на седой. Невольно возникала мысль, что только смерть разлучит эти два так тесно связанных существа.

Начавший уже терять свою славу, Паноптикум почему-то обрел ее вновь в недавнее время. Кровавые сцены убийств, насилия, разыгрываемые восковыми актерами с правдоподобием, взвинчивающим нервы; галерея «знаменитых международных преступников» «от Каина до Аль Капоне» привлекали особую публику. По залам музея толкались штурмовики в обнимку с девками, какие-то провинциалы с военной выправкой, молодые люди, напомнившие Барбюсу портовых апашей Марселя.

Здесь громко, во всю глотку, восхищались, гоготали, ужасались при виде трупов семи жен Синей Бороды или злодейств гангстеров, изображенных с немецкой педантичностью.

Барбюс рассеянно глядел по сторонам, то и дело натыкаясь на одиноких зрителей, застывших перед зловещими сценами. Он рассеянно извинялся и тут же обнаруживал свою ошибку: зрители оказывались восковыми, их задумчивая поза в точности повторяла позу живых.

На минуту его внимание задержал кощунственно

правдоподобный оркестр Штрауса. Восковые музыканты под управлением воскового дирижера застыли, с вековым усердием исторгая неслышную мелодию из молчаливых инструментов.

Потом он очутился в какой-то комнате, полной народу, где уже вовсе не мог отличить восковые фигуры от живых, потому что те же штурмовики и апаши и те же девки попадались ему на каждом шагу, и казалось, что восковые хотят затесаться в толпу живых. Он болезненно ощутил запах пота и дешевых сигар, к которому примешивалось мертвенно-сладковатое веяние разогревшегося воска. И этот запах живо напомнил ему траншею, полную мертвецов.

Он вдруг ужаснулся при виде окружающих. Он прочитал на их лицах упоение кровавыми сценами, жадное любопытство и самозабвенное наслаждение видом страданий.

Людской поток подхватил его, и ему показалось, что этот поток готов выплеснуться на улицу, затопить ее, разлиться широко и губительно.

И он уже собирал силы, чтобы преградить ему дорогу. И звал своих друзей и товарищей: «Не дадим пройти свастике!»

…Он очутился на улице.

Глотнул воздуху, влажного и соленого. «Первый вечерний выпуск!» — кричали газетчики. В руке привычно хрустнул газетный лист: «Новая вылазка мюнхенских путчистов… Ударом ножа убит рабочий». «В Нью-Йорке спущен на воду новый крейсер водоизмещением в 10000 тонн…»

Встреча с депутатом вернула Барбюсу настроение уверенности и надежды. Еще много в этой стране людей, готовых встать стеной, чтобы преградить дорогу фашистскому чудовищу!

2

В 1933 году Барбюс провел в СССР два месяца: визит вежливости в Академию наук (в феврале этого года его избрали почетным академиком), заглянуть к маленьким загорелым друзьям в Артек. И собрать побольше материала об истории страны и о партии. Ведь Барбюс работал над новой книгой о Советском Союзе.

Но задерживаться здесь он не мог. Предстояло путешествие в Америку. Он едет туда как председатель Всемирного комитета борьбы против войны и фашизма.

Чертыхаясь, заполняет Барбюс обязательную и единственную в своем роде анкету для въезжающих в Штаты. Он письменно заверяет, что едет в США не затем, чтобы заниматься там воровством.

После долгих проволочек два вечных странника — Барбюс и его секретарь оказываются на борту парохода «Беренгария». Каюта Барбюса приобретает обычный для его рабочего места вид: поток бумаг и клубы табачного дыма. Барбюс готовится к выступлению на Американском конгрессе против войны и фашизма.

Наконец 29 сентября они прибыли в Америку.

В Нью-Йорке Барбюса встретила толпа со знаменами и транспарантами. Ветераны войны, одетые в свою старую форму, сомкнулись вокруг него, повисли на крыльях его машины. Тотчас по приезде Барбюс выступил на многолюдном митинге. На другой день начались заседания конгресса.

Среди многих тысяч людей, делегатов и гостей конгресса, были представители разных социальных групп и разных партий. Ясная позиция Барбюса, его преданность идее объединения миролюбивых сил внушали уважение.

Филадельфия. Вашингтон. Балтимора. Питсбург. Ири. Кливленд. Детройт. Чикаго. Бостон. Нью-Хевен… Поездка его по Америке была триумфальной, и главный успех ее заключался в том, что многие американцы были вовлечены в глубокие раздумья о судьбах мира и увидели свет надежды в объединении против войны и фашизма.

Через год, в беседе с корреспондентом «Литературной газеты» Барбюс скажет о «пробуждении социалистического сознания у американцев».

…Когда 25 ноября 1933 года пароход «Иль де Франс» проходил мимо статуи Свободы, освещенной лунным светом, один из пассажиров сказал:

«Одного негритянского вопроса, мерзости, ужаса и жестокости закона Линча (если можно применить слово «закон» к этим проявлениям бесстыдного средневекового бандитизма) было бы уже достаточно, чтобы эта статуя выглядела как кощунство».

Этот пассажир, предельно утомленный, был Анри Барбюс, сделавший нечто очень важное для того, чтобы поколебать бронзовое спокойствие символа американской «демократии».

Болезнь не простила Барбюсу перегрузки в Америке. Она свалила его сразу же, как только он ступил на землю Франции. Врачи снова обязали его лежать и не утомляться. Никакого умственного труда! Умственного труда, без которого Барбюс не мог жить, как без воздуха.

В этот насыщенный событиями год новая мечта захватила Барбюса. Возникший перед ним образ был необыкновенным и величественным, творческая задача — очень сложной.

«И кто бы вы ни были, этот человек думал о вас», — написал Барбюс о Ленине. И он часто думал: «Каким же был этот человек?»

Случилось так, что умеренный, даже скорее правый издатель Ридер передал в руки Барбюса бесценный материал.

Альфред Курелла приехал в «Вижилию» без предупреждения, понимая важность своей миссии. Он сообщил, что Ридер ждет от Барбюса предисловие к книге «Письма Ленина к родным». Перевод писем лежал у Барбюса. Он то и дело возвращался к ним, погружался в их кристально-чистую атмосферу. Перед ним представал образ «самого человечного» человека на земле. Часто, задумавшись, он машинально набрасывал на листе бумаги: «L'Homme…»… «L'Homme…»[18]

Человека, брата, сына, мужа увидел он в этих письмах.

Любовь великого человека к спутнице жизни поражала воображение Барбюса-художника. Он говорил Альфреду Курелле, что нужно показать, какой это был «пример прекрасного, совершенного союза мужчины и женщины».

Он увидел, что перед ним вырисовываются живые черты портрета Ленина и что он мог бы написать этот портрет.

…Живя в Омоне, Барбюс наезжает в Париж — в комитет, в редакцию журнала «Монд», на встречи с товарищами по партии, по Амстердамскому движению. Часто на Национальной дороге № 2 можно было видеть светлый «пежо», автомобиль одной из последних французских марок, за рулем которого сидел Барбюс. Как правило, он ездил не один. В Омон, как бывало в Ферней к Вольтеру, спешили многие. Не только по неотложным делам, но и просто для того, чтобы увидеть одного из крупнейших передовых писателей современного Запада.

Чаще всего спутником Барбюса был Альфред Курелла.

Куреллу поражали многие противоречия в динамичном характере его старшего друга. Страсть к художественному творчеству и способность на долгие месяцы с головой уходить в общественную жизнь. Фанатическая привязанность к современной технике и жизнь «в заброшенной деревне, в тридцати пяти километрах от столицы, в кукольном домике среди антикварных безделушек».

Если бы пришлось составить впечатление о хозяине «Сильвии» по ее обстановке в это время, то, по мнению Куреллы, это было бы «представление об эстете 90-х годов, бегущем от безвкусицы fin du siècle к усадебной жизни Первой империи». Казалось, с тех далеких времен здесь ничто не изменилось. Но нет, рукописи партийных книг, издания «Огня» и «Ясности», «С ножом в зубах» и «Правдивых повестей» на многих языках,

бесчисленная почта участника и инициатора сотен общественных организаций и, наконец, книги Ленина на русском и французском языках, тома Большой Советской энциклопедии, маленький, в изящной рамке портрет Горького, подарки советских друзей — все это говорило о новом Барбюсе.

Здесь есть память о русских школах и больницах, о колхозе близ Болшева, о пионерах Артека, о харьковских студентах, об одесских моряках, о путиловских рабочих и десятки знаков дружбы с горцами Закавказья. Здесь башлык и черкеска, подаренные ему в Кутаисе, шахтерская лампочка из Донбасса, глыба знаменитого уральского малахита.

Сюда, в Омон, к Барбюсу летом 1932 года приехал Морис Торез. Они ходили по аллеям разросшегося сада, говорили о вещах, так близко, кровно касавшихся их обоих, как и всех честных людей Франции.

Призрак фашизма навис над Германией, угрожая миру.

Торез был мрачен, резче обозначались морщины у рта. Тени бороздили большой лоб с закинутыми назад волосами.

Французские коммунисты укрепляли связи с немецкими товарищами, всегда готовые помочь им.

Их тревога была не напрасной. 30 января 1933 года Гинденбург призвал Гитлера к власти.

Черная ночь окутала Германию.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

1

Бруно жил по чужому паспорту. Документы были другие, и наружность другая. Он отрастил небольшие усы; ставшие привычными за последние годы очки он не носил. Ему было трудно без них, но зато это сильно меняло его облик.

В майский вечер, очень душный, пропитанный смешанным запахом бензина, сигарного дыма и молодой листвы, Бруно долго сидел на террасе маленького кафе. Это было тихое кафе на берегу пруда, посреди которого на крошечном искусственном островке бил фонтан. Струи его, подсвеченные снизу, возникали из горки камней, то розовые, то зеленые, то сиреневые, крутыми параболами прочерчивая сумрак. И лебеди, кружившие по воде, тоже становились то розовыми, то зелеными, то сиреневыми.

Сидящие за столиками бросали им крошки хлеба и умиленно следили за гибкими и плавными движениями величественных птиц с их необыкновенно расцвеченным оперением.

У Бруно сложилась профессиональная привычка. Почти механически он оглядел сидящих рядом. Но удивительно спокойным казалось все вокруг. Справа и слева только влюбленные парочки: молодые люди спортивного типа в недорогих пиджаках и девушки, скромно одетые, с косами, уложенными на затылке.

Бруно ощутил, как привычное напряжение покидает его. Он сидел, погруженный в свои мысли, в свои воспоминания. Он умел ценить такой вот вечер, островок покоя, крошечный, как искусственный холмик из камней посреди пруда.

Вдруг он вздрагивает. Приходит в себя. Слышна ясно барабанная дробь. Она приближается, нарастает. Резкие, отданные деревянным голосом, команды на минуту заглушают бой барабана.

По улице идет колонна штурмовиков. Через зеленую изгородь видно мелькание коричневого и черного, черного и красного. Коричневые мундиры, черная свастика на красных повязках. Черная свастика на красных полотнищах. Запах кожи и дешевых сигар, к которому примешивается чад смоляных факелов. Факельное шествие…

Они прошли, но их запах как будто осел на всем окружающем. Легкий ветер не может его смыть.

Все как было, и все другое вокруг. Бруно увидел убогость

мещанской затеи с этими подсвеченными лебедями. И мизерность темной лужи с жалкой кучкой камней посредине. А эти парочки? Парни из нацистского союза молодежи. И девушки, причесанные так скромно потому, что это новая мода «гитлер-медхен»!

Ему осточертело здесь. Он расплатился и вышел, не допив своего штейнхегера.

Но и на улице что-то изменилось. Он попал в безмолвное и сильное течение, увлекавшее его к центру города, куда устремлялась толпа, не говорливая, не оживленная, как бывает в дни празднеств или спортивных состязаний. Сосредоточенно, упорно люди шагали в вечернем свете, скучном, тусклом: «Немцы, будьте бережливы!» В молчании: «Остерегайтесь шпионов!» В темпе барабанного боя: «Каждый немец — солдат фюрера!»

Бруно очутился на площади перед самым университетом. Впереди него теснилось множество людей, и ему не было видно, что там происходит. Но в это время конные шупо стали выжимать публику, освобождая место в центре площади. Полицейские крутились в тесном пространстве, подымая на дыбы своих крупных холеных коней. Храпящие, роняющие пену животные казались в свете факелов фантастически огромными, как и всадники.

Мгновенно передние ряды оказались отрезанными со всех четырех сторон — так отрезают края пирога, не помещающегося на блюде. Бруно оказался впереди и видел все. От центра площади его отделяла только цепь штурмовиков, которые, широко расставив ноги и держа руку на кобуре пистолета, стояли вперемежку с полицейскими.

Другие, в таких же коричневых рубахах, с засученными рукавами, хлопотали у поленьев, сложенных в центре площади. И теперь Бруно увидел, что там зажжен костер, пламя которого жадно пробивается снизу, быстро охватывая сухое дерево. Вскоре языки его взметнулись вверх. В его мощном свете огни факелов поблекли, как свеча при дневном свете. Стало видно далеко кругом. Бруно показалось, что справа, вдалеке, где высились колонны гробницы Неизвестного солдата, вспыхнул багровый отсвет.

Вокруг костра стояли грузовые машины. Брезенты, покрывающие кузова, были откинуты, и люди увидели их груз. Это были книги. В строгом порядке, поочередно на" каждой машине раздавался возглас, усиленный репродукторами и умноженный гулким эхом.

Люди в коричневых и черных рубахах со знаками свастики потрясали книгами и кидали их в огонь. Угрожающе раскатывая

«р», они возглашали:

— Я пр-р-редаю огню сочинения Гейне!

— Сжигаются книги Золя!

Каждое имя встречалось ревом в коричнево-черных квадратах, выстроенных за машинами.

Костер разгорался, выкрики становились все чаще. Книги падали в огонь разноцветным дождем: строгие фолианты академических изданий и красочные томики для любителей. Раскрываясь на лету, трепыхаясь, они падали в пламя, как птицы с подбитыми крыльями.

Все чаще и неистовее звучали имена, принадлежащие миру. Их славу не могли отнять ни огонь, ни вода, ни мракобесие.

Отблески огня на касках метались в дикой, разнузданной игре. Фигуры палачей на грузовиках бросали причудливые тени на брусчатку мостовой.

— Я бр-р-росаю в огонь книги Бар-р-рбюса! — Грозное «р-р-р» прокатилось, как рычание.

Эхо ответило стоном вдалеке, у могилы Неизвестного солдата. Пламя поглотило новую пищу, выросло, вознеслось до облаков, и они тоже стали багровыми.

Молодой человек в макинтоше и темном берете стоял твердо на ногах. Узкие глаза его смотрели не отрываясь. В толпе любопытных он выглядел как все. Он ушел с площади, когда зрелище кончилось.

Он запомнил, когда все это происходило: десятый день мая 1933 года. XX век. Берлин.

В это самое время в Мирамаре Барбюс готовился к грандиозному собранию в зале Плейель.

Речь Барбюса слушали представители всех стран, фашистских в том числе: Италии, Германии, Польши, Финляндии, Югославии, Болгарии. И Барбюс с тем подъемом, с той страстью, которая всегда захватывала друзей и пугала врагов, говорил: «Мы не можем отрывать борьбу против войны от борьбы против фашизма!»

Весть о том, что фашистами арестован героический сын болгарского народа Георгий Димитров, глубоко ранила Барбюса. Он оставил все дела и ринулся в кипучую деятельность по сплочению сил контратаки.

Во Всемирном комитете борьбы против войны и фашизма на улице Лафайет не знали покоя ни днем ни ночью. Здесь звучали все языки, мелькали лица людей всех национальностей. Ни на миг не смолкали стук машинок и гудение ротаторов. Среди этого шума, в потоке лиц и событий Барбюс всегда видел Димитрова

таким, каким его знал и любил.

Ему виделось нечто символическое в том, что они встретились впервые на земле Советов. Это случилось в Крыму, и дни той прекрасной желто-голубой приморской осени были живы в памяти Барбюса. Он ощущал пожатие дружеской руки, видел лицо Димитрова, в котором мужественность удивительно сочеталась с мягкостью, а острый блеск темных глаз чуть гасила умная и добрая улыбка.

Димитров, только что вырвавшийся из лап врагов, бежавший с каторги белой Болгарии, привлек внимание Барбюса жаром своей души, своей духовной молодостью, чудесным юмором, полнокровностью всего существа. В нем было что-то галльское. Неистребимое жизнелюбие, кипучая, деятельная натура…

Георгий Димитров в лапах фашистов! Смертельная угроза нависла над головой Димитрова! Барбюс бьет в набат, он сплачивает прогрессивные силы мира: спасти Димитрова! Телеграммы протеста обращают к правителям Германии слова гнева. Тысячеголосый протест демонстраций сотрясает стены имперской канцелярии. Лучшие люди земли подымают голоса в защиту болгарского революционера. Борьба за его свободу идет во всех странах мира. Этой борьбой руководит комитет, председателем которого избран Анри Барбюс.

По его инициативе в Париже, а затем в Лондоне прогрессивные деятели организуют контрпроцесс над подлинными виновниками поджога рейхстага. Судят Гитлера, Геринга, Геббельса. Выходит «Коричневая книга» — сборник вопиющих, разоблачающих документов и показаний свидетелей.

Ежедневно Барбюс получает подробные данные о ходе процесса в Лейпциге. Это официальные материалы, пресса, сложными, тайными путями пришедшие сообщения с мест.

История революционного движения знала много примеров героизма революционеров на суде палачей. Димитров продолжил лучшие традиции пролетарских борцов. Он вел свою защиту как обвинение, умно, бесстрашно и с невероятным самоотвержением.

Процесс длился почти три месяца. Свидетелями обвинения выступили «20 полицейских, 6 провокаторов, 2 шпика, 2 вора, 8 нацистских государственных чиновников, 3 фашистских депутата, 7 фашистских активистов, 1 сумасшедший, рейхсминистры Геббельс и Геринг», — сообщал Барбюс в статье «Будем судить судей!»

И все же провокационный процесс провалился. Великая сила массового движения во всем мире за свободу Димитрова вырвала его из фашистского застенка. В тот день, когда радио принесло известие об освобождении трех болгар и принятии их в советское

гражданство, в рабочих кварталах Берлина, как и во всем мире, царило ликование.

«Правда» на русском языке продавалась в Берлине. Геббельс рассудил, что немцы русского языка не знают, зато можно сколько угодно драть глотку о том, что в Третьем рейхе — «свобода печати».

5 марта 1934 года рейхсминистру доложили о том, что на первой странице сегодняшней «Правды» помещена фотография Димитрова и его товарищей. Они сняты среди руководящих деятелей Коммунистической партии и Советского государства.

— Мы, кажется, от него никогда не избавимся! — сказал «министр — бездонная глотка» и приказал конфисковать «Правду».

Геббельс не успел закончить свое обычное упражнение — он считал себя как оратора равным только Демосфену и, подобно ему, тренировался в произнесении речей: доложили, что все номера «Правды» в газетных киосках раскуплены. Более того, они исчезли из читален.

Немцы действительно не читали по-русски. Но они увидели фотографию. Они не были слепы.

В это время в Москве на Брянском вокзале работницы Трехгорки торжественно и сердечно встречали скромную старую женщину в черной шали. Женщина вышла из вагона, утирая слезы радости.

Это была мать Георгия Димитрова, приехавшая в Москву, чтобы встретить сына, спасенного великим народом.

Еще в Берлине, по освобождении из тюрьмы, Димитров потребовал письма и телеграммы, накопившиеся за время его ареста и задержанные тюремной администрацией. Их было множество. Имена, известные и дорогие всему миру и никому не ведомые, послания Горького, Роллана и Барбюса, простые строки простых людей.

Димитров пишет Барбюсу полное признательности письмо. Он говорит о неотразимой силе коллективной борьбы, организованной Барбюсом в связи с процессом.

«Я знаю, что Ваше внимание и внимание Ваших друзей адресовалось не мне лично и не моим соратникам. Это была борьба всех нас против фашистского варварства.

…Буржуазия ни перед чем не остановится, чтобы посеять ужас в рядах социалистической интеллигенции. Она не остановится ни перед какими преступлениями и подделками…

Но трудности не должны нас пугать, и они не испугают ни Вас, ни Ваших друзей. Великая цель требует огромного риска».

В той тяжелой и опасной борьбе с угрозой войны, с фашизмом, которую годами вел Барбюс вместе с лучшими людьми мира, он знал поражения, но знал и славные победы.

Одною из них было спасение Димитрова.

2

Получив сообщение о том, что прибыла нелегальная литература, Бруно выехал в Гамбург. Литература пришла из-за границы трудным, кружным путем. В Гамбург ее доставили коммунисты-рыбаки, плававшие к берегам Норвегии. Это были опытные отважные люди, с которыми Бруно не раз уже имел дело.

Человек, хранивший груз, жил в Альтоне, старом городе на другом берегу залива.

Вечером Бруно пробирался по узким захламленным улицам. В рыбацком доме его ждали. Немолодой человек, бывший докер, а теперь мелкий чиновник портового управления, обычно принимал опасный груз. Он привык к этой работе, как много раз в жизни привыкал ко всякой другой. Она таила в себе угрозу свободе и даже жизни. Что же, он не раз рисковал тем и другим.

Они обменялись скупыми репликами.

— Все благополучно, Оскар?

— Пока все целы.

— Я приехал за грузом.

— Понимаю.

Оскар вышел во двор; слышно было, как он шлепает сапогами по лужам под окнами. И Бруно понял, что литература хранится в сарае, заваленном углем, старыми сетями, хламом. А принадлежал сарай даже не Оскару, а домохозяину, владельцу почти всех подобных домишек в Альтоне, местному наци. И сам хозяин, широко занимавшийся контрабандой, нередко присылал сюда своих людей с поручением спрятать ящик французского вина.

Оскар без лишних вопросов принимал и людей хозяина и их ношу. Никто не подозревал, что к нему ходят другие люди, доставляя другой груз.

Оскар вскоре вернулся и со сноровкой человека, привыкшего носить тяжести, поставил на пол два чемодана.

Не стоило больше задерживаться здесь.

— На площади я остановлю такси…

Оскар прервал Бруно:

— Погоди!

Это было против правил и не обычно для молчаливого Оскара.

— Ты знаешь, что здесь? — спросил он.

Ну конечно, Бруно знал, что в чемоданах антифашистская литература. Но Оскар имел в виду другое…

Он щелкнул замком, поднял крышку. Да, как Бруно и ожидал, здесь были пачки газет и брошюр.

Они лежали аккуратно и тесно, прижатые одна к другой, как патроны в обойме.

И по тому, как осторожно Оскар вынул небольшого формата книжку, Бруно понял, что нечто очень важное руководит им. Бруно удивило выражение лица этого человека. Тень трогательной задумчивости прошла по нему, как след дорогого воспоминания.

— Это о Тэдди, — проговорил он, все еще глядя на обложку. Крупные буквы ее как будто притягивали его, как будто он не хотел расстаться с этой вещью, пробудившей в нем воспоминания о его боевой молодости.

Но Бруно уже прочел крупные буквы заглавия: «Знаешь ли ты Тельмана?»

Это была брошюра Анри Барбюса, переведенная на немецкий язык, через кордоны границ, по тайным каналам дошедшая до этой хибары, где старый соратник Тельмана склонился над ее страницами, обуреваемый скорбью и гневом.

Бруно все понял. Для этого человека Тельман был не только вождем партии, отважным борцом, схваченным врагами, как боец на поле боя. Он был для него Тэдди, другом юных лет. Оскар видел его сейчас не за решеткой Моабита, а портовым рабочим, каким был он сам, агитатором, которого знал и любил весь трудовой Гамбург, а потом вся трудовая Германия. Он видел его вожаком восстания в этом городе, который был их родиной и колыбелью, цитаделью и оплотом.

В помутневших глазах Оскара Бруно прочел всю его жизнь, с ее солнцем и тенью, с ее большим трудом и малыми радостями, жизнь, на которую упал свет удивительного человека, гамбургского пролетария Эрнста Тельмана.

И позже, уже один, в тишине своей комнаты, перелистывая книгу о Тельмане, Бруно все время видел перед собой смятенное лицо рабочего из Альтоны. И его не заслонял другой образ, другое лицо, лицо его друга, которое возникало перед ним в строках книги.

«Вождь, брат, солдат и полководец», — так они говорили о Тельмане. Кандидат в президенты, собравший пять миллионов голосов, политический деятель, который хотел оградить родину от фашизма и был предан ее врагами. Голова и сердце немецкого пролетариата.

Тельман, страшный для врагов даже в час их торжества. Пятнадцать тысяч полицейских в мундирах и пять тысяч в штатском искали Тельмана. Неисчислимое количество тайных агентов искали Тельмана.

Тысячи фотографий Тельмана розданы ищейкам. Тысячи марок премий тому, кто укажет следы Тельмана!

«Мощный Тельман распят на свастике!» — горестно и гневно восклицает Барбюс. «Они хотят головы Тельмана, потому что это голова Коммунистической партии Германии! Они хотят ее, потому что Тельман принадлежит не только Германии, но пролетариям всего мира».

«Я его видел, я его слышал, — пишет Барбюс. — Мощная фигура, здоровый и крепко сложенный, сильный голос, прекрасное лицо, простое и экспрессивное лицо интеллектуального рабочего, осознающего силу своего класса, силу революционной теории, непоколебимая вера в победу.

Его слушали со вниманием. С любовью… Он говорил им, но казалось, что это они говорят его голосом. Он поистине персонифицировал эту пролетарскую массу».

«Поднимайтесь все, кто верит в справедливость!» — зовет голос Барбюса, глашатая правды.

А в то время, когда его друг внимает этому голосу, долетевшему до него с другого, такого далекого берега, книжка с тревожным, зовущим заглавием «Знаешь ли ты Тельмана?» в глубокой тайне передается из рук в руки. Листовки и воззвания: «Свободу Тельману!» — покрывают стены домов, вагоны рабочих поездов, фабричные трубы.

«Свободу Тельману!» — взывают голоса миллионов трудящихся. Белые, желтые, черные кулаки сжимаются в боли и гневе. «Свободу Тельману!» — раздаются голоса мастеров культуры — Горького, Драйзера, Манна, Роллана. Борцы против фашизма сплачивают свои силы. Барбюс становится во главе Комитета по спасению Тельмана. Барбюс пишет одному из своих великих соратников, Георгию Димитрову: «Это очень тревожно и печально, но спасти Тельмана из рук палачей вряд ли возможно, потому что он глава Коммунистической партии Германии», Барбюс предлагает: нужен широкий процесс собирания антифашистских сил вокруг имени Тельмана.

Борьба была широкой, всемирной. Задача стояла: если не освободить Тельмана, то предотвратить его убийство.

Но в глубокой тайне, в зловещей тишине имперской канцелярии, в недоступной крепости горной резиденции фюрера уже готовилось величайшее злодеяние, о котором еще не скоро узнает мир.

3

Девушку знали в подполье под именем Марты. Она отрезала свои рыжие косы, подстригла волосы по моде и закрыла челкой высокий лоб. Слишком высокий для женщины Третьего рейха.

Сегодня она получила новое задание партии: связаться с важным человеком, работающим на военном заводе. Она никогда его не видела, узнает его по описанию.

Медленно шла она по улице, и все пережитое за этот год, все тяжелое, невыносимое: арест Тельмана, поджог рейхстага, разгром организации, казнь товарищей — вставало в ее памяти.

Моросило. Редкие прохожие под зонтиками окидывали взглядом высокую женщину в плаще, из-под капюшона которого падала на лоб рыжая челка. Она шагала, засунув руки в карманы, мерными шагами, которым она научилась за этот год. Ей часто приходилось так ходить по улицам, наедине со своими черными мыслями. В двадцать четыре года это не так легко: одиночество и постоянное ощущение опасности.

Было все еще слишком рано для встречи. Она вошла в дешевый ресторан Ашингера. Зал был пуст. Прихлебывая пиво, она просмотрела вечерний выпуск газеты: стычки с «красными бандитами» в Тегеле… Убийство штурмовика…

Она почувствовала, что на нее пристально смотрят. Но это только кельнер в своей белой куртке с золотыми пуговицами. Прислонившись к стене, с салфеткой на рукаве, он зевает, не зная, куда девать время.

— Фрейлейн чего-нибудь желает?

— Спасибо. Почему у вас так пусто сегодня?

— В соседнем зале компания СС. Посетители не очень любят пить пиво в таком соседстве. Когда будут расходиться, каждый должен встать и поднять руку. Даже дамы.

Кельнер лукаво прищуривает глаз, как бы говоря: «Не так уж трудно поднять руку, но надо еще крикнуть «Хайль Гитлер!» Возможно, вам это не по вкусу».

Он ее предупредил — спасибо.

Смахивая салфеткой невидимые крошки с мраморной доски столика, кельнер роняет необязательные слова:

— Заходите в другой вечер, фрейлейн!

Теперь она полна мыслями только о предстоящей встрече.

Она немного волнуется.

Егерштрассе плохо освещена. Это улица сомнительной репутации. И кафе «Вайсе Маус»[19] просто-таки кабак. Зато здесь меньше наци. Они ведь играют в добродетель и не посещают злачных мест. Ну вот, теперь как раз время. Над дверью белая

мышь выписывает хвостом готические буквы: «Вайсе Маус». Не слишком аппетитно.

Дверь на блоке захлопывается за ней с глухим стуком. Как в ловушке. Зазывная мелодия льется из зала. В тесной раздевалке пахнет дешевой пудрой.

— Мест нет, — поспешно говорит портье.

— Меня ждут.

— Тогда другое дело.

Она медленно обводит глазами маленький зал. Вот он. Она улыбается ему, как знакомому. Он именно такой, каким его описывали.

Бруно считал, что ему чертовски повезло. Работа на военном заводе в такое время! Об этом можно было только мечтать. И самое главное: в этом новом районе, где он теперь работал, никто не знал его как коммуниста. И он вел себя тише воды, ниже травы! Насколько это, конечно, было возможно для Бруно. Он действительно очень дорожил этим местом. В тех сложных, безмерно тяжелых условиях, в которых продолжала жить и действовать партия, положение Бруно было крупным выигрышем. А в случае какой-нибудь серьезной заварушки, так ему цены не будет! Окружающее было подобно землетрясению: земля разверзалась под ногами, поглощая целые группы людей, она колебалась под ногами у всех.

В этом зыбком мире Бруно прочно стоял на ногах и радовался этому. Не своему благополучию, нет. Возможности работы. Для партии. Для революции. Которые должны были победить в конце концов.

Он переменил квартиру, кафе, где бывал ежевечерне, прачечную, куда сдавал белье, киоск, где покупал газету. Он никогда не появлялся в Тегеле, где жил раньше, где его знали.

Боевик Бруно — первый в стычках с коричневыми молодчиками, Бруно-мститель. Бруно — «Не дадим пройти свастике!» стал глубоко законспирированным партийным пропагандистом. Потребовала партия, и он стал им.

В глубочайшем подполье, связанные очень тоненькой ниточкой, почти вовсе разобщенные, продолжали работать только те, для которых партия была самой жизнью.

И хотя все так резко, так страшно изменилось, внешне Бруно оставался все тем же: славный парень, всегда готовый помочь товарищу. Его полюбили на новом месте, где не знали о нем самого главного, так же, как любили на старом, где всё знали.

Бруно теперь часто думал: как хорошо, что у него нет родных, нет семьи. Ведь он подкидыш, воспитанник сиротского дома. Девушки к нему льнули, но он подолгу не задерживался ни около

одной. Как будто предчувствовал, что придут вот такие времена, когда близкий человек — это просто камень на шее! Да, и в этом ему тоже повезло.

И теперь появилась Марта. Он не хотел еще признаться себе в том, что она вошла не только в его работу. И разве жизнь и работа не переплетены так тесно, что их невозможно разорвать?

Все произошло очень просто. «Для связи с тобой выделен новый товарищ. Абсолютно «чистый». Встреча в кафе «Вайсе Маус» в среду, в семь часов… Это женщина. Ты ее узнаешь сразу. У нее такие волосы… рыжеватые. Ее зовут Марта. Пароль…» Ну, словом, все как полагается.

В кафе полно народу.

— Простите, это место рядом занято. Я жду даму. Нет, нет, что вы, она обязательно придет!

Вот она и приходит. О, она уверена в себе! Высокая, сильная девушка. Сколько ей? Лет двадцать пять. Он узнал ее по волосам. Как будто на свете мало рыжих! Впрочем, она не совсем рыжая. На первый взгляд, так она даже блондинка. Абсолютно уверен, что это Марта, он мог бы окликнуть ее. Но этого нельзя делать. Она должна сама узнать его: он специально нацепил этот идиотский галстук, заметный за три километра.

— Добрый вечер! Я вас искала в кафе «Под вязом».

— Что вы! Я там не был уже две недели.

Все в порядке. Теперь они должны договориться о передаче драгоценного груза: это ни больше, ни меньше, как тонкие, папиросные листки подпольной «Роте Фане».

Они говорят о деле, потом немножко болтают о том, о сем. Потом танцуют. Почему бы не потанцевать двум молодым людям, встретившимся в кафе, где играет музыка!

Они расстались, обусловив час и место следующего свидания. И все время, пока они были вместе, и все дни, что прошли с этого времени, он не может отделаться от ощущения, что где-то ее уже видел. Это мучит его, и в то же время ему приятно, что есть что-то неразгаданное в их знакомстве. Что-то обещающее.

И вероятнее всего — радостное.

Сейчас он сидит один на бархатном диванчике за маленьким столиком и ждет ее. Не очень-то удачно выбрано это место встречи: он уже был тут когда-то, но не помнит, при каких обстоятельствах. Кроме того, зал пуст: сидишь на виду, как кот на заборе. А впрочем, плевать! Зал длинный и узкий, чистый кегельбан. Радиола наполняет комнату монотонной мелодией.

За соседним столиком — пара. Наверное, чужой муж или чужая жена: она дрожит и поминутно смотрит на часы. Чудаки! Нашли чего бояться! Ревнивые мужья не самое страшное в нашей

жизни.

Почему это в такие минуты ожидания бросаются в глаза всякие мелочи, до которых тебе нет ровно никакого дела?

И больше никого в кафе нет. Только в глубине этого «кегельбана», во второй половине, за аркой, несколько штурмовиков играют в кости. Изредка оттуда долетает смех и какой-нибудь выкрик. Игра денежная, и поэтому они так поглощены ею.

Марта явится вовремя. Он в этом уверен. Просто он пришел немного раньше. Говоря по правде, ему не терпелось увидеть эту ее рыжеватую челку на лбу и взгляд, в котором есть что-то противоречивое: решительность и застенчивость — «я сама по себе» — и вместе с тем что-то открытое, сердечное.

Штурмовики кончили играть и гурьбой идут к двери. Один из них бросает беглый взгляд на Бруно и вдруг замедляет шаг.

Молодой штурмовик, стуча подошвами башмаков, подходит к его столику медленными шагами. Одновременно он делает знак товарищам, те останавливаются. На их лицах настороженность тушит улыбки. А… собаки! Вы все-таки всегда ждете удара!

И Бруно — это очень важно для него сейчас! — видит, что их трое, если не считать того, кто подходит к нему. Этот совсем плюгавый, слабосилка. Значит, все-таки трое на одного. Впрочем, что это ему вздумалось? Простое недоразумение. Но отчего такая тоска вдруг накатывается на него и сдавливает ему горло?..

— А ведь я тебя знаю! — говорит штурмовик и, положив руки на столик, нагибается к самому лицу Бруно. Это плюгавый, и будь он один…

— Ты ошибся, приятель! Но это, конечно, не беда… Садись, выпьем! — Бруно улыбается, делает приглашающий жест.

Но плюгавый кричит визгливым, не мужским голосом:

— Ребята, лопни мои глаза! Это красный из Тегеля! У меня по сей день шрам…

Один из трех, тог, что плечистее других, легко отодвигает плюгавого, всматривается в лицо Бруно.

— Вы путаете меня с кем-то, ребята, — уверяет тот.

Плечистый сжимает кулак.

— И я узнал тебя! — произносит он веско.

Бруно толкает ногой столик. Со звоном разбиваются чашки и рюмки. Бруно вскакивает на бархатный диванчик, в руках его маузер. И теперь, когда все уже кончено, Бруно-боевик, Бруно — «Не дадим пройти свастике!» воскресает в нем.

— А ну, подходи, коричневая рвань! Кому жизнь не дорога!

Они шарахаются в стороны. Плечистый — слишком медленно. Пуля догнала его.

— А, ты узнал меня? Теперь узнаешь еще лучше!

Плюгавый стреляет из-за опрокинутого столика, как из-за укрытия.

— Мимо… Ты плохой стрелок, мозгляк!

Бруно, не опуская маузера, двигается к двери, но ему не дают пройти. Пули свистят вокруг него… «Целят в ноги, хотят взять живым…» Двое осмелели, они приближаются. Но у него еще есть патроны в обойме. Вряд ли ему позволят перезарядить маузер.

В комнате полно дыму.

Они взяли его на мушку? Ну что же, лишь бы не даться живым. И в этот момент открывается дверь. На пороге он видит Марту. Ее глаза совсем круглые от ужаса. Он не может попрощаться с ней ни словом, ни жестом. Только взглядом. Она ужасно бледна, она откидывает со лба волосы, и в эту минуту он узнает ее: дождливый вечер, девушка со сжатым кулаком. Он был тогда с Барбюсом… «Рот Фронт», далекий друг! «Рот Фронт», Марта! Он не может сказать этих слов. Он кричит хрипло, с натугой, но с такою силой, что звенит стекло на буфете:

— Эй ты, девочка! Или кто ты там! Смотри, как умирают хорошие парни!

Вот сейчас ему уже пригодится этот последний патрон!

Дождь, Фридрихштрассе, комрад Барбюс, Марта…

И это было последнее, что виделось затуманенному взгляду Бруно…

— Молчите, ради бога, молчите, вы пропадете так же, как он!

Марта с изумлением смотрит на человека, который силой вытолкнул ее из кафе и теперь тащит к остановке омнибуса. На нем белая куртка с золотыми пуговицами. Это кельнер, он спешит вернуться в кафе. Сейчас туда прибудет полиция.

Она узнала его: «Спасибо, товарищ!»

Марте удалось бежать из Германии. В Париже» в эмигрантском центре, ей посоветовали рассказать Анри Барбюсу обо всем, что ей довелось испытать в гитлеровской Германии. Свидание это состоялось. Однажды, весенним днем 1935 года, Анри Барбюс услышал историю гибели Бруно, рядового великой партии. Но он не узнал в исхудавшей и поседевшей Марте рыжеволосую девушку из дешевого локаля в конце Фридрихштрассе.

4

Все, что было написано Барбюсом в последние пять лет жизни, несло на себе следы огромного опыта борьбы и

творчества. Все отражало сложившийся эстетический идеал художника: «Писатель — человек общественный. У него социальная роль и социальный долг… Конец старой рабской теории «искусство для искусства», делающей из литературы средство для развлечения, для бегства от действительности».

Наступил тот период творчества, который нельзя было отделить от общественно-публицистической деятельности. Порой трудно было понять, где начиналась художественная книга и где кончалась речь, статья. Происходило скрещивание самых различных жанров, вплоть до трактата и очерка. В рамках одной книги, под одной обложкой уживались острая новелла, черты художественной повести и статистика, политические лозунги, раздумья мыслителя, выводы исследователя.

Рабочим местом Барбюса становились не только Мирамар и Омон, но и купе международного вагона, номер гостиницы, а чаще всего — трибуна.

Так рождались все книги 1931–1935 годов.

Даже когда художник писал о художнике, писатель о писателе, Барбюс оставался автором речей, статей, синтетических книг, в которых ощущался сплав политического, научного и художественного начал.

Да иначе, с точки зрения Барбюса, и нельзя было писать о Золя. Нужно было восстановить справедливость и показать миру истинное лицо рыцаря французской литературы. С темпераментом политика берется Барбюс за книгу высокого эстетического значения.

В вихре событий рождалась книга «Золя».

Форма ее необычна. Это литературный портрет и в то же время особый тип монографии, живое, полное картин и образов, насыщенное раздумьями повествование о писателе, его жизни, окружении, о его мыслях, чувствах, свершениях.

Но особенно — о взглядах. Биение пульса клокочущей событиями литературной эпохи под пером Барбюса становится особенно ощутимым. Автор ведет читателя по главным магистралям литературного Парижа, заставляет заглянуть в его переулки и тупички. Вся жизнь литературной Франции второй половины XIX века проходит перед его взором.

В книге две вершины: первая — дело Дрейфуса и обличительное послание Золя «Я обвиняю»; вторая — воскресные собрания друзей в Медане у Золя и антивоенный сборник новелл «Меданские вечера». Талант Барбюса — биографа и художника полностью раскрылся в этой книге.

«Золя» Барбюса — произведение, в котором художник выражает себя во всей полноте. В нем если не весь Золя, то очень

много Золя. Но еще больше — Барбюса. Он вносит в новую работу свою любовь и свою ненависть, свои сожаления и свои предвидения.

Над всеми людьми искусства, чьи портреты можно найти в книге, поднимается мужественный облик большого писателя, объединявшего их, писателя честного, отважного, ищущего. Его слова «Спасение только в народе» созвучны Барбюсу. И хотя он отлично видит натуралистическую ограниченность эстетики Золя, Барбюс противопоставляет его стремление правдиво писать о простом народе, о его заботах и нуждах — модной литературе буржуазного декаданса.

Барбюс обращается к «примеру Золя»: «Спасение только в народе». Повторим эти слова, усилив их».

И Барбюс делает партийную поправку: «Спасение только в пролетариате — ив области искусства и в социальной области».

Это была эстетика. Философия искусства. Концепция. Выстраданная, осмысленная, устремленная в будущее.

Барбюс заканчивает книгу призывом к борьбе за реализм. А это значило: не давать пощады декадентскому искусству. Он с гневом говорит о «блестящем разложении» модной литературы. У нее свои, «подрывающие ее пороки. Салонный сверханализ, сверхимпрессионизм кодака и стенографии, дух выставки, детали, загадки, ирония, частные случаи и уники, эгоизм, тонкость, абстракция, искусство для искусства, пессимизм, реакция, смерть. О, отбросы Стендаля, карикатуры на Достоевского, иезуитская психология, бумажная философия, хирургия булавочных уколов, ученое невежество, похоронные процессии!.. Вся эта искусственная и раздробленная сложность выделяет безмерную скуку, которая заставляет выть; она требует критики, которая бы беспощадно расшвыряла это искусство, уже превратившееся в осколки».

В 1934 году Барбюс написал книгу «Сталин». Французский писатель, наездами бывавший в СССР, даже вложив в книгу весь талант художника и исследователя, не мог быть исторически точным во всем.

Далеко не все процессы, происходящие в жизни советского общества, он понимал.

Увлеченный художественной задачей нарисовать образ «человека у руля», Барбюс незаметно для себя приподнимает Сталина. Герой книги возвышается над событиями, над партией, над историей.

В этом была, главная ошибка Барбюса.

…В эти годы Барбюса целиком захватывают Социальные и

политические проблемы эпохи.

Одна из них — проблема национальная. Ей он посвящает статьи, книги, речи. Русскому читателю не так давно стала известна «Речь, произнесенная в Гарлеме». Это было в Америке в ноябре 1933 года.

Величайшее зло современности Барбюс видит в колониализме и в национальном угнетении. Его слова о положении негров в Америке звучат с особой силой сегодня. Он горячий и действенный защитник тех, кого называет «колониальным народом внутри самой метрополии».

Барбюс бичует варварство белых американцев. «Существует чудовищный суд Линча… Мы призвали общественное мнение всего мира к борьбе против этого средневекового обычая. Я с гордостью могу сообщить вам, — говорил Барбюс жителям негритянского квартала в Нью-Йорке, — что являюсь одним из инициаторов создания специального комитета защиты юношей из Скоттсборо. Когда в Европу приехала Эда Райт, мать одного из этих негров, мы помогли тому, чтобы крик о помощи из уст этой матери и женщины был услышан всей общественностью».

Эда Райт выступала на Амстердамском конгрессе, и это было одно из боевых «Я обвиняю!», сотрясавших стены Дворца автомобильной промышленности в городе, мировую славу которому создал антивоенный конгресс.

Но Барбюс не только обличал и бичевал, он и *указывал* путь к решению проблемы.

Снова он обращается к примеру Советского Союза, «где посредством справедливых законов национальный вопрос разрешен радикально и раз навсегда».

Как лейтмотив публицистики Барбюса последних лет, встает в этой речи образ Закавказья. Барбюс хочет, чтобы американские негры словно бы руками пощупали, что такое национальное равенство. Он приводит в пример «только одну часть этой страны — ту часть, какую я знаю, так как специально ее изучал». Это Закавказье, где «некогда насчитывалось около шестидесяти различных народов и народностей, враждовавших друг с другом. Извечная ненависть, нападения, беспрерывные войны. Теперь же все эти народы трудятся совместно, в полном согласии, а от прежних предубеждений и вражды не осталось и следа… Для того, чтобы умиротворить Кавказ и навсегда разрешить национальный вопрос, оказалось достаточным нескольких лет».

Еще раз Барбюс подчеркивает, что это равенство — результат нового социального строя. Изучение этого нового строя — социализма, который из мечты превратился, в реальность, — все еще продолжается Барбюсом. И он не может не думать о тех, кто

завоевал эти социальные вершины. Он не может не думать о вдохновителе и создателе нового строя, о великом вожде. Давнее желание художника — написать о Ленине. Даже те очерковые наброски, которые он сделал для общего с Кореллой предисловия к «Письмам Ленина к родным», предвещали интересное и глубокое воплощение замысла.

Это могло бы стать главной книгой Барбюса. Сколько скрытых художнических возможностей содержит первая часть очерков! Здесь эскиз портрета Ленина — профессионального революционера. Тюрьмы, ссылки, конспирация, эмигрантский период, связи, подпольная работа, творчество…

Сжатые, точные, эмоциональные характеристики.

Ленин — политик, Ленин — теоретик, Ленин — философ, человек действия, отдавший свою жизнь освободительной борьбе, «…Человек, который не знает во всем мире и в своей жизни более насущного и благородного дела и который посвящает ему всего себя».

Замыслу этому суждено было осуществиться лишь частично. Как и многим другим. Замыслы толпились, вытесняя друг друга, будто споря за право на первое место, будто зная, что времени мало.

Весь последний год Барбюс готовился к поездке в латиноамериканские страны. Ему писал Луис Карлос Престес, которого на родине называли «Рыцарем надежды»: «От имени миллионов трудящихся всех стран Южной Америки я обращаюсь к тебе, старому чемпиону, преданному борьбе против общего врага, прошу тебя обратить внимание на растущие очаги войны и военных конфликтов на южноамериканском континенте…» Престес просил прислать делегацию Всемирного комитета в Боливию и Парагвай.

Барбюс предполагал к концу года, после поездки в Советский Союз, возглавить такую делегацию. Он изучил язык и стал свободно читать испанский текст. «Любил его так, как в детстве любил латынь», — вспоминает Аннет Видаль. Он хотел обратиться к трудящимся стран Латинской Америки на их языке. Он не только слушал пластинки, но «часто упражнялся в языке и становился моим строгим учителем. Он использовал любую свободную минуту и говорил по-испански в метро, за столом, во время путешествий из Парижа в Омон…»

Эта поездка должна была завершиться книгой. Но и это путешествие тоже не было осуществлено.

Из множества замыслов выделяется еще один. Он связан с увлечением, нет, с влюбленностью Барбюса в кино. Сценарий

«Человек против человека» (1934) — антимилитаристское произведение нового для художника жанра, оканчивающееся страстным призывом: «Только единство спасет мир…» Нельзя отделить этот написанный им сценарий от того, который Барбюс успел закончить лишь вчерне. Это киносценарий об истории России. «Творцы», «Конструкторы», «Новые люди», «Спасители»… Он варьировал названия и не успел ни на одном из них остановиться. Работа увлекала Барбюса. Он уже думал об актерах, о музыке, о цвете, об использовании контрастных форм — от патетики до гротеска.

И в этот миг его настигла смертельная болезнь.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

1

1935 год. Итальянский империализм протягивает жадные лапы хищника к Эфиопии. В гитлеровской Германии восстанавливают всеобщую воинскую повинность.

Экономическая депрессия охватывает страны капитализма, губительная как чума. В Бразилии уничтожают кофе, в США — хлопок. Виноделы Шампани в ужасе от хорошего урожая винограда. В департаменте Сены и Уазы косят зеленую пшеницу, в Восточных Пиренеях возами выбрасывают фрукты в сточные канавы. В Америке выливают в реки молоко. Грузы рыбы сбрасывают в океан.

Во Франции национальный доход за пять лет сократился на тридцать процентов. Французская экономика вступила в полосу кризиса.

Колониалисты ищут выхода на путях войны. В пыли трескучих фраз Гитлер готовит крестовый поход против сил демократии.

«К оружию, граждане! — взывает Барбюс, — Не дадим пройти фашизму!»

«Мир! Единство!»

«Смерть фашизму!»

Машина медленно движется вдоль плотно сбитых колонн демонстрантов. В ее окнах развеваются красные знамена. Наступил день, о котором мечтали Барбюс и его друзья. Национальный праздник 14 июля 1935 года трудящиеся Франции встречают единым фронтом. 27 июля 1934 года в маленьком ресторане Бонвалэ на бульваре Тампль представители Коммунистической и Социалистической партий Франции подписали соглашение о совместных действиях. Этот союз был заключен перед лицом грозной опасности фашизма, после совместной борьбы коммунистов и социалистов с фашистскими путчистами. После боев на улицах Парижа. После многолюдных демонстраций, разливавшихся по всей столице, после забастовки четырех миллионов рабочих, после решающей манифестации в Венсенском лесу.

Много морей повидал на своем веку Анри Барбюс. На заре жизни пленило его ласковое и грозное море его родины. Не одна его книга была создана на Лазурном берегу. К чужой и

негостеприимной гавани нес его суровый океан. У скал Скандинавии его покорила ледяная красота Севера. И Черное море исцеляло его болезни лаской природы и гостеприимством сильных смуглых людей.

Но здесь было море, был океан, силу и величие которого он ощущал острее всего. Прибой его слушал он с восторгом, волны его несли вдохновение, надежды, радость. Это был людской океан, затопивший площадь Бастилии.

Тысячи людей выражали свою волю к борьбе за мир. Они были едины: коммунисты и социалисты, рабочие и мелкие буржуа, интеллигенция. Знак этого дня: фригийский колпачок из красного металла — в петлице у каждого. Вечная эмблема свободы объединила их. Знакомая мелодия «Марсельезы», возгласы, лозунги, транспаранты — все было неповторимо, прекрасно, значительно.

По-новому он ощущал дружескую близость лют дей, сидевших рядом с ним в машине, братьев по борьбе, единомышленников, комбаттанов.

— Да здравствует Торез! Да здравствует Барбюс!

Эти возгласы следуют за машиной. И он счастлив плыть на высокой волне этого мгновения, этого единства, которое он и его друзья долгие годы так упорно, так целеустремленно подготавливали.

Он поднимается на трибуну, стоит высоко над прибоем человеческой толпы, в зареве алого стяга, в медном сверкании солнечных лучей.

Его удивительный голос, низкий и модулирующий, прерывается волнением. Оно заражает массы людей, проникает в сердца, очищая их от шелухи мелочных сомнений, обывательских колебаний.

Они давно знают этот голос, сильный и чистый, как душа самого Барбюса, их вождя, поэта, борца.

Никогда не была его слитность с народом так ощутима, как в дни празднества на площади Бастилии 14 июля 1935 года.

И вечером, в Омоне, он все еще переживал события дня, и, как всегда в минуты волнения, у него еле заметно дрожали губы и подбородок, а тонкие пальцы зажигали папиросу — одну за другой.

Он верил в прочность единого фронта, он возлагал на него большие надежды, как на опору всех антифашистских сил мира. Он был счастлив.

Наполненный радостной энергией, весь во власти воспоминаний о чудесном празднике, Барбюс 16 июля выезжает в СССР.

Ненависть врагов и любовь друзей всегда сопутствовали Барбюсу. На этот раз фурия ненависти закрыла перед ним прямой и быстрый путь в Москву. Черная тень ее крыла легла на карту Европы и определила маршрут: через гитлеровскую Германию проезд был невозможен.

Хрустящие листы заграничных паспортов Анри Барбюса и его постоянной спутницы Аннет Видаль украсились несколькими транзитными визами. На пути лежали две столицы, пребывание в которых также не сулило ничего радостного Барбюсу.

Аннет углубилась в изучение расписания поездов. Этого рода литература занимала немаловажное место на ее книжной полке: столько лет Барбюс был в непрерывном движении по странам Европы!

Изучение принесло одну утешительную весть: в Вене можно было не задерживаться. И одну досадную — в Варшаве предстояло провести целуе сутки.

— Лучше одна неприятность, чем две, — сказал на это Барбюс с философическим спокойствием.

Ну, конечно, он спешил. Никогда еще он не стремился так в Советский Союз. Был твердо намечен план работ в Москве и деловые цели определены давно и непреложно: собирание документов для фильма об СССР, участие в работе VII конгресса Коминтерна, знакомство с делегатами мира. В том числе — с делегатами стран Латинской Америки, куда предстояла поездка сразу же после визита в СССР. Был даже намечен срок — 21 сентября.

Поездки в СССР, несмотря на напряженность работы, на обилие встреч, новых и старых дружественных связей, были для Барбюса отдыхом. Об этом он говорил близким. Это хорошо знала Аннет.

И сейчас она поддалась нетерпению своего шефа: скорее!

В Европе стояло жаркое, сухое лето. На станциях продавали «оранжад» в маленьких пузатых бутылочках и фрукты: смуглые персики, сизо-дымчатые сливы, агатовые гроздья раннего винограда на картонных тарелочках.

В купе было душно. Окна не открывались. Ветер дул с юго-востока. Он нес мелкую красноватую пыль, мигом оседавшую на предметах, на одежде. Он нес ее издалека, может быть из степей Венгрии или с каменистых отрогов Македонских гор.

За окном — пожелтевшие уже поля, дальние силуэты горного хребта, неясные в дымке зноя; польские деревушки, черные от дряхлости, от нужды, от горя. И указующие в небо костлявые пальцы шпилей костелов.

Поезд радиофицирован. Несмотря на то, что наушники сняты

и покоятся на сером плюше сиденья, сильная колоратура знаменитой польской певицы заполняет купе.

— Это лучшее, что может предложить нам данное государство на данном этапе, — замечает Барбюс миролюбиво. Но удивительно невпопад: тотчас начинается передача какого-то митинга, профашистские демагоги, подражая Гитлеру, хрипло, раскатывая «р», выкрикивают призывы к ревизии Версаля.

Барбюс поспешно вытаскивает штепсель из розетки. В наступившую тишину вступают голоса дальних расстояний: перестук колес, гудок паровоза.

В вагоне первого класса царит обычная чинная тишина. Никто не завязывает знакомств, все погружены в газеты или дремоту. В ресторан можно попасть только через вагон третьего класса. Здесь оживленнее: несколько мужчин негромко беседуют по-немецки. Они все разного возраста, по-разному одеты: кто в спортивной куртке, кто в потрепанном, но тщательно отутюженном костюме.

Но что-то объединяет этих людей. Иногда из разговора вырываются отдельные фразы. И невольно отмечается: эти люди, хорошо знакомые между собой, не называют друг друга ни по имени, ни по фамилии.

В одном из купе только двое: пожилой человек, невероятно худой, с запавшими глазами, в которых мечется искорка какого-то сильного и крепко сдерживаемого чувства, и женщина. Она не сводит глаз со своего спутника. Иногда она легким движением дотрагивается до рукава его видавшего виды, не по сезону теплого пиджака.

Однажды, проходя мимо, Барбюс и его спутница услышали ее голос: нежный, беспокойный, вызывающий мысль о большой и длительной близости: «Bleib ruhig. Paul!»[20] —говорила она. И только когда она произнесла эти слова, стало видно, какое сильное волнение сжигает ее спутника.

Аннет всегда удивлялась способности своего шефа схватывать черты людей, проходящих вдалеке; характер сцен, разыгрывающихся в перспективе.

…Они сидят друг против друга за столиком вагона-ресторана: маленькая черноволосая женщина, изящная и внешне спокойная, и высокий худой человек с длинными костлявыми руками, которыми он характерным жестом отбрасывает прядь волос, падающую на лоб.

Барбюс смотрит в окно, по своей привычке стряхивая куда попало пепел с папиросы, и это знакомое рассеянное движение вызывает у Аннет воспоминание: ведь все началось с дороги, с поезда!

Как молода была она тогда!.. Вокзал в Париже… Она слышит голос Маргариты Кашен: «В Антибе живет Барбюс, он нуждается в секретаре. Не согласитесь ли вы помочь ему?» — «Да, на короткий срок».

У Аннет тоже выработалась наблюдательность, но особого свойства: шпиков она распознавала просто с маху. Кто знает, по каким признакам. Международные агенты политической полиции в своих попытках мимикрии неплохо приспосабливались к характеру данной страны. И все же общий их тип оставался неизменным. Их всех отличало именно упорное стремление оставаться незамеченными, быть «как все», раствориться в общей массе людей, не выделяясь ни ярким пятном галстука, ни броским силуэтом чересчур модного костюма.

На этот раз на вокзале в Варшаве «старых знакомцев» не оказалось. Аннет вздохнула с облегчением. Барбюс подтрунивал над ее опасениями. Стало ясно, что их приезд в Варшаву не был взят на прицел.

Путники налегке, оставив чемоданы в вагоне, двигались к центру города. Возникла мысль остановиться в отеле неподалеку.

— С виду это довольно скромная гостиница, — высказалась неуверенно Аннет. Предполагалось, что здесь они не привлекут к себе внимания. Надежды рухнули сразу же. В огромном холле бил фонтан, зеленели какие-то тропические растения, у лифтов стояли мальчики в атласных камзолах.

— Я вас поздравляю, Аннет, вот куда вы меня привели, — в полный голос произнес Барбюс.

Его замечание относилось к десятку бесцветных молодчиков того «незаметного» типа, в которых Аннет безошибочно угадывала международных агентов полиции.

А еще через минуту выяснилось, почему именно этот отель привлек всю свору.

— Барбюс! — Человек с бледным тонким лицом, с пледом на острых плечах поднялся навстречу вошедшему.

— Роллан!

И вот они уже забыли обо всем. Старые друзья, комбаттаны, бесконечно близкие друг другу гак давно.

От Барбюса исходит атмосфера уверенности, спокойствия, душевного здоровья. Бледное лицо Роллана окрашивается легким румянцем. Серо-голубые глаза темнеют от охватившего его чувства.

Роллан возвращался из России, он был там впервые.

— Ну как? — спрашивал Барбюс, но не словами, а всем своим видом, выразительными пальцами, лукавой усмешкой.

Роллан говорит со страстью новообращенного:

— В Америке десять миллионов безработных. А у них?.. В первый же день я услышал по радио — моя жена мне переводила — «требуется…» и перечисление всех рабочих специальностей. «Требуются люди и без специальностей». Обещают их выучить… И потом этот дух устремленности вперед! Эта великолепная уверенность в будущем Барбюс сияет. Он счастлив. Простые слова Роллана о том, что он глубоко взволнован увиденным в СССР, трогают Барбюса почти до слез.

Барбюс знал, что в Москве Роллан впервые увидел Горького после многих лет заочной дружбы, и ждал слова о Горьком.

— Я всегда думал о нем как о совести мира. Но человек, которого я увидел, превзошел мои ожидания, — и Роллан с несвойственной ему живостью принялся рассказывать о днях, проведенных им у Алексея Максимовича в Горках, о том, как они, затаив дыхание, следили за ходом Конгресса писателей, как огорчились, что не могли быть там, в Париже, вместе с Барбюсом. — А ваша речь, дорогой друг, — это целая программа национальной политики, это наука о нациях, — сказал Роллан восхищенно.

В этом чужом и враждебном городе, в двусмысленно роскошной гостинице, под кинжальным огнем взглядов шпиков два борца, два солдата мира вели чисто французский, сдобренный вином и шуткой, легкий, искристый и в то же время невероятно серьезный и важный разговор.

Откуда было им знать, что это их последняя встреча?

Государственные границы стран Европы пересекались почти неощутимо. Если это случалось ночью, проводники с вечера отбирали паспорта, и пограничники не беспокоили спящих. Таможенные досмотры производились вяло. Их скучное однообразие изредка нарушалось неким «нарушением», тотчас ликвидируемым уплатой пошлин.

Сейчас все было по-другому.

— Здесь пролегает граница двух миров, — задумчиво сказал Барбюс.

В Столбцах, последней польской станции на границе с СССР, немолодой поручик, сверкая лаком широкого козырька конфедератки и лаком сапог, нафабренными усами и взглядами, исполненными официальной подозрительности, учинил Барбюсу дотошный обыск. Бесцельность его была очевидна. Барбюс поднял шум, отказался открывать портфель с бумагами, рукописями. Явившийся с опозданием, высший чин притушил скандал, явно разыгранный по розданным заранее нотам. Барбюс был взбешен. Он высказал чину все, что он о нем думает, и, безусловно, был

понят, несмотря на то, что тот не знал французского.

Аннет вызывающе щелкнула замком своей дорожной сумки под носом у поручика и направилась вслед за Барбюсом к вагону.

Проходя мимо столов, на которых стояли вещи пассажиров, — в них рылись солдаты пограничной службы, — Барбюс и его спутница увидели пару из вагона третьего класса: мужчина стоял у стола, сжав кулаки, лицо его было бледным, он смотрел на солдат, истуканами стоявших у входа.

— Bleib ruhig, Paul! — все так же тихо и настойчиво бормотала женщина.

— Она вьется вокруг него, как горлинка над гнездом в минуту опасности, — бросил Барбюс.

После Столбцов поезд несколько минут медленно движется к границе Советского Союза. Но это еще Польша. На ступеньках вагонов — польские солдаты. На насыпи, припав на одно колено, в картинной позе лежат жандармы, просматривающие поезд снизу. В вагонах — тишина. Еще минута — и покажется пограничная арка Негорелого, советского пограничного пункта.

Поляки спрыгивают со ступенек поезда. Молчание провожает их, оно как бы их обволакивает и делает незаметными в сгущающихся сумерках.

Под деревянным грибом стоит, вытянувшись, советский пограничник в зеленой фуражке. И вдруг тишина поезда взрывается.

— Рот Фронт! — несется из окон. Высовываются руки, сжатые в кулак. Россия уже знает это приветствие антифашистов. — Рот Фронт! — кричат, плача и смеясь, молодые и старые, чем-то похожие друг на друга люди.

Солдат в зеленой фуражке, без улыбки, привычно и серьезно прикладывает руку к козырьку. Так стоит он все время, пока медленно и как бы торжественно проплывает мимо поезд. Он безмолвно отдает знак почести людям, пронесшим в невероятных муках и испытаниях частицу красного стяга, который реет над пограничной аркой.

Поезд останавливается.

Все смотрят, как пожилой человек в потертом, не по сезону теплом пиджаке, быстро, пошатываясь, идет по насыпи. Его шарф развязался и волочится за ним. Он шевелит пальцами слегка раздвинутых рук, будто только сейчас, освобожденных от оков. И вдруг падает на землю и целует ее. Женщина не останавливает его. Она обводит всех взглядом вдруг помолодевших глаз. И говорит, тоже всем:

— Он спасен!

і Барбюс быстро оборачивается к Аннет:

— Вот она, земля обетованная, вторая наша родина!

2

Как всегда, Барбюса встречали друзья. Среди них — постоянный его переводчик Степан.

На площади перед вокзалом — кипение толпы приветствующих. Теплое облако любви и признания обволакивает Барбюса. Он растроган. Он словно попал в другой климат: здесь дуют сильные и теплые ветры, бодрящие душу, здесь греет солнце дружбы. Он видит улицы Москвы озаренными им.

Машина останавливается у знакомого отеля — «Савой»! Большое зеркало в простенке коридора привычно отражает длинную, чуть согбенную фигуру. «Это я опять», — говорит Барбюс своему отражению.

В его номере все, как было в прошлые его приезды. Вещи его уже доставлены сюда и расставлены по местам. От этого номер утрачивает тот общий, унифицированный характер, который имеют отели всего мира.

Началась традиционная русская трапеза, с обилием, всегда поражавшим гостей, с самоваром, бормочущим на столе, с беспорядочной, доброй, ничем не стесненной застольной беседой. Появилась обязательная курица под белым соулом, пироги и вся та снедь, которую Степан, обладавший удивительным аппетитом, называл «легким перекусом», а Барбюс — «зарядкой на неделю».

Светлой августовской ночью Барбюс вышел из Дома союзов, где заседал конгресс Коминтерна. Он только что слушал речь Димитрова и был полон ею.

Со своей удивительной способностью облекать живой плотью фактов железный каркас логических построений Барбюс говорил своим спутникам о Димитрове, человеке с завидной судьбой борца и вождя.

Они шли по площади. Фонари Большого театра были погашены, и портик освещался только сверху. Из невидимых источников лился желтоватый неяркий свет, и легендарная квадрига была подсвечена снизу, что подчеркивало ее устремленность в туманную высь, легко окрашенную заревом городских огней.

— Пойдемте на Красную площадь. В этот час она великолепна, — предложил Барбюс.

Они повернули назад, миновали величавую громаду Музея Ленина, и вот уже причудливые купола храма Василия Блаженного в свете, сочащемся из ниш Кремлевской стены.

«Многоцветная крепость» Кремля затушевана тенями. Только ее «варварские башенки», описанные Барбюсом, четко рисуются на суровом полотнище неба.

…Он опять вернулся мыслями к конгрессу. Фронт борьбы с фашизмом расширялся Он не мог не думать о Франции. Фашистские лиги, преступное влияние их на армию… Как покончить с этими змеиными гнездами? Только правительство народного фронта могло бы навести порядок в стране. И к этому, только к этому надо направлять все усилия!

Барбюс остановился. Движением руки остановил своих товарищей. Его высокая фигура, вдохновенное лицо с чертами острыми и выразительными, освещенное боковым желтоватым таинственным светом, как на картинах Рембрандта, так удивительно гармонировали с этой ночью, тихой и торжественной, только изредка тревожимой порывами теплого ветра.

Так значительно, так пророчески прозвучал низкий голос Барбюса, чуть дрожащий, словно ветер колебал его, в величавости площади, посреди которой в вечном своем доме покоился великий вождь, вечно живой в делах живых. Вождь, о котором с глубоким чувством писал его последователь, его ученик, его солдат, этот французский писатель, борец и глашатай:

«И кажется, что тот, кто лежит в Мавзолее посреди пустынной ночной площади, остался сейчас единственным в мире, кто не спит; он бодрствует надо всем, что простирается вокруг него, — над городами, над деревнями. Он — подлинный вождь, человек, о котором рабочие говорили, улыбаясь от радости, что он им и товарищ, и учитель одновременно; он — отец и старший брат, действительно склонявшийся надо всеми. Вы не знали его, а он знал вас, он думал о вас. Кто бы вы ни были, вы нуждаетесь в этом друге».

Утром следующего дня Барбюс был у Мануильского, его речь он слышал накануне на конгрессе. Дмитрий Захарович встретил Барбюса дружески. Его изящный и чистый французский язык сделал бы честь профессору Сорбонны, сказал Барбюс. Его речь на конгрессе Барбюс назвал «гимном веры и победы». Они говорили о том, как решения конгресса будут осуществляться во Франции.

Во второй половине дня Барбюс решил отдохнуть. Это было неожиданно.

— Не пойти ли нам в зоопарк? — предложил он.

Чудесная идея! Аннет и Степан обрадовались — он даст себе немного отдыха, а заодно и им.

Всюду, где бы ни бывал Барбюс, он ходил смотреть зверей. Был ли это роскошный берлинский «Цоо» или совсем маленький,

всего на несколько «квартирантов», «уютный» зверинец на колесах, в одно прекрасное утро возникавший на площади бельгийского городка, — все равно! Он очень любил животных.

И в Московском зоопарке он бывал не раз. Известный советский зоолог профессор Мантейфель был его другом.

Они отправились тотчас же. Стоял один из тех чудесных августовских дней, когда кажется, что лето будет еще долго стоять на дворе, а между тем первая желтизна уже легла на листья старых кленов на Садовой улице, среди которых возвышался характерный купол Планетария.

Москва жила под знаком буквы «М». Она вторглась в кипение площадей Дзержинского и трех вокзалов, Охотного ряда и Кировской улицы совсем недавно. Первая очередь Московского метро! Оно было еще новостью, и дети распевали на улицах смешную песенку про «чудесный поезд».

Подземные дворцы, соединяющие роскошь арабской сказки с деловитостью советской столицы, восхищали москвичей 30-х годов, и было ясно, что они будут поражать воображение еще многих поколений.

Но на Садово-Кудринской по-провинциальному гремели старые красные трамваи, и разнокалиберные машины придавали площади пестрый вид.

У входа в зоопарк толпились школьники, которые еще не начали занятия в школах, но уже закончили свою летнюю жизнь в пионерских лагерях и прощались с раем каникул; женщины с маленькими детьми и красноармейцы, отпущенные по увольнительной.

Шумный молодой народ покупал горячие бублики, которыми торговали почему-то именно в зоопарке, тут же поедал их, щедро делясь со зверями, восхищался, пугался, затевал игры или плакал со страху.

Барбюс долго стоял у пруда. Его население наслаждалось последними теплыми днями. Черный лебедь подплыл совсем близко, вытянул гибкую шею, на лету схватил подачку и заскользил дальше, изящный и печальный, словно траурная яхта.

В вольере обезьян царило неслыханное оживление. Уморительные прыжки маленьких шимпанзе и мрачное веселье орангутангов собрали здесь много зрителей. В это время из-за загородки вышел врач с обезьянкой на руках. Это был молодой орангутанг, ужасно некрасивый, с шерстью, словно побитой молью, и грустными глазами в отеках, как у старого сердечника.

— Да он еще щеночек! — воскликнул Барбюс. — Что с ним?

Ветеринар сказал, что зверок заболел, а лечить себя не позволяет.

— Потому что глупый, — добавил врач, видно было, что он очень любит зверушек, — и ничего не ест.

Барбюс взял своей большой рукой слабую лапку обезьянки:

— Ты что же, старина, раскис? Надо мужаться.

Зверок посмотрел на него страдальческим человеческим взглядом.

— Давай поедим, а?

Барбюс протянул апельсин, разломленный на дольки.

Обезьянчик посмотрел на апельсин, потом на Барбюса и вдруг проворно выбрал дольку и положил в рот. Все рассмеялись. Звереныш думал было обидеться, но, ободренный добрыми взглядами со всех сторон, взял еще дольку. Он ел не спеша, не жадно, учтиво поглядывая на окружающих.

Потом врач унес его, прижимая к себе обеими руками, как ребенка. А обезьянчик обернулся и посмотрел своими все понимающими человеческими глазами.

Давнее детское воспоминание пробудил этот взгляд: «Ты самый красивый, ты самый умный… Я люблю тебя…» Укол какого-то предчувствия, приступ физической тоски, поднявшейся невесть из каких глубин существа, заставил высокого, сильного духом человека на миг поникнуть. Как будто все, что было мило на земле, уходило с этим взглядом, слишком человеческим, слишком понимающим.

— Вам нехорошо? — спросил Степан, заметив, что Барбюс побледнел.

Барбюс сказал, что немного устал, это пройдет. Они продолжали ходить по парку, время от времени присаживаясь. День был все так же ясен, так же тих. Но какая-то тень заслоняла окружающее, словно тонкая пелена легла перед глазами Барбюса.

— Пойдемте домой, друзья. — Он был уже совсем спокоен. Да, это был его дом, эта гостиница в его любимом городе, в самой родной ему из всех столиц мира. Среди народа, о котором он писал: «…Народа, населяющего шестую часть мира, того народа, который вы любите или ненавидите». Он любил его. Он очень любил его.

Ему было так хорошо здесь. После важного и дружеского разговора с Мануильским, с близкими ему людьми.

Все же легкая пелена, совсем легкая, но как-то отделяющая его от внешнего мира, приглушающая звуки, смягчающая краски, — она не расходилась. Со стесненным сердцем он почувствовал приближение приступа: затрудненность дыхания, слабость.

— Ну вот мы и дома. Пожалуй, я действительно немного ослабел. Я лягу.

Он видит озабоченные лица. Ему не хотелось бы портить им редкие свободные минуты. Он соглашается измерить температуру, потому что все равно от них не отвяжешься!..

И шутит. И вспоминает чудесные часы в зоопарке. Но при этом ему кажется, что он ощущает, как столбик ртути лезет все кверху у него под мышкой… Сорок градусов!

Он всегда боялся воспаления легких. Но на этот раз он был спокоен: простая простуда — пройдет.

Врач явился немедленно. Старый врач, знавший Барбюса. Он сказал потихоньку Аннет, что всегда надо опасаться воспаления легких в подобных случаях, но сейчас, кажется, к тому нет оснований.

Наутро температура не упала. Доктор явился уже без вызова. И снова выслушал Барбюса. Лицо врача затуманилось. И в эту минуту, когда тень, еле уловимая, пробежала по лицу врача, — окружающие уже точно знали, что сейчас он предложит Барбюсу лечь в больницу, потому что это воспаление легких.

Врач сказал, что позаботится о палате в кремлевской больнице. Барбюс делает неуловимый жест — ехать, мол, так ехать! Он показывает глазами на Аннет и спрашивает:

— Она отправится со мной? Не правда ли? Мы ведь должны работать.

Врач сразу становится строгим. Он начинает говорить о том, что больничные порядки запрещают… Барбюс перебивает его с лукавой усмешкой:

— Она такая маленькая, что ее вовсе не заметят.

Аннет не слушает, она собирает самое необходимое.

Она кладет в папку все, что может понадобиться в первую очередь.

Она закрывает машинку и берет ее. Санитарный автомобиль ждет у подъезда. Барбюс отказывается от носилок. Маленькая группа отражается в зеркале, висящем в простенке: впереди больной с врачом и сестрой, позади со своей машинкой, портфелем и папкой — Аннет. Она думает о множестве вещей: о том, что надо закончить переписку рукописи, И ответить на письма… И только одного она не знает: что идет так в последний раз за своим шефом, за своим другом, за изумительным человеком — другого такого нет на земле!

Очень белая и светлая комната. Эта белизна, этот цвет пугают. Профессора, врачи… Процедуры, осмотры, консилиумы…

И ни на минуту он не сдавался на милость болезни. Только какое-то обостренное нетерпение заставляло его все время требовать сообщений о том, что делается в мире.

Ему читали «Юманите» и обзоры, которые делал Степан.

Ежедневно действовала связь с Парижем, передавались указания сотрудникам «Монд» и в Комитет борьбы против войны и фашизма.

Его продолжает беспокоить абиссинский вопрос. В одну из тяжелых, очень тяжелых ночей, трудно дыша, он сказал:

— Мы быстро шагаем к войне. Абиссиния, она может сыграть в этом большую роль… Это очень серьезно…

Он продолжал думать о расширении связей Комитета, особенно в Англии. Призрак войны мучил его до последнего часа.

Он был выбит из седла. Но пока работал его мозг, он не мог не думать об этом.

Ему делали уколы, он забывался.

— Как вы заботитесь обо мне, — сказал он молоденькой медицинской сестре и ласково провел рут кой по ее лицу. Рука его была слабой, и движения ее неуверенны, как у слепого.

О здоровье Барбюса справлялось множество людей. Непрерывно звонил правительственный телефон.

У подъезда «Кремлевки» волновалась стайка школьников. В редакциях газет повторяли сообщения врачей.

В квартире Соловьевых, на улице Грановского, стояла тревожная, зыбкая тишина. Из окон квартиры было видно здание больницы. Окно палаты Барбюса выходило на улицу Грановского. Аннет ставила на окно настольную лампу. Это был знак, что ночь проходит благополучно. Больше всего боялись ночей — они были особенно трудными. С наступлением вечера Соловьевы приникали к окнам. Они ловили слабый желтоватый свет, сочащийся из окна напротив.

В ночь на 30 августа Вава Соловьева проснулась на рассвете. Она тотчас посмотрела на окно Барбюса. Лампа была на месте. В раннем свете дня желтоватый огонек был немощен, как лампада.

Вава уснула и снова проснулась. Стояло уже утро. Но лампа на окне палаты все еще горела. Это испугало ее. В страшном смятении она стала поспешно одеваться. В подъезде она столкнулась с рыдающей Аннет.

…В эту ночь Барбюс не спал. Изнемогший, уже почти сраженный, он еще боролся. Он был во власти привычных мыслей.

За несколько минут до конца он сказал:

— Мне осталось уже немного, телефонируйте в Париж. Надо спасать мир.

Это была его последняя мысль, последние слова, которые произнес Великий Голос. 30 августа в 8.55 он умолк навеки.

…Три дня москвичи проходили у гроба в Большом зале

консерватории. Они провожали Барбюса в последний путь сурово и торжественно, как солдата. Как брата, оплакивали его. И красный галстук пионеров Артека лежал на крышке гроба.

Тело Барбюса было доставлено в Париж. 7 сентября, в день похорон, было тепло и солнечно. Сотни тысяч людей шли за гробом, осененным пурпуром знамен. Шли ветераны, шли инвалиды войны. Их лица навеки сохранили следы огня, опалившего их. Безногие ехали на колясках, безрукие обнажали обрубки, выставляя напоказ свои увечья как напоминание и угрозу.

Парижская полиция запретила плакаты с призывами к борьбе, но толпа несла транспаранты со строками Барбюса, и эти строки кричали, взывали, требовали и воодушевляли. За траурной колесницей шли девушки, они несли на алых шелковых подушках книги Барбюса, как несут за гробом ордена.

Процессия двигалась к кладбищу Пер-Лашез, растянувшись на пять километров. Со времени похорон Виктора Гюго Париж не видел такого скорбного и торжественного зрелища, такой печальной и грозной толпы, идущей за гробом глашатая и солдата.

Траурная колесница казалась лафетом орудия, на котором лежало осыпанное цветами тело победителя. Он был мертв, но он был Победителем.

В 1932 году Барбюс закончил книгу «Золя».

Ее завершала глава «Золя в 1932 году», и она начиналась так: «А мы? В эти дни гибели старого общества, агонии старой международной империи жизнь Золя звучит определенным призывом».

Мы позволим себе закончить свое повествование вопросом: «А Барбюс сегодня? Барбюс для людей второй половины XX века, века покорения космоса, века коммунизма. Барбюс для нас?»

Был такой год: оттолкнувшись от вековых устоев, опережая время, наша страна взмыла в будущее. Одна. Стремительная, как спутник. Одинокая, как спутник. Небывалая, как спутник. В чужом, холодном, грозном пространстве.

И зашипели все ужи мира. Загрохотали пушки Круппа и Шнейдера. Оружие четырнадцати государств сверкнуло под скупым солнцем севера и под жаркими лучами юга.

Тогда в защиту Страны-спутника поднялись лучшие сыны планеты. Среди них был человек по имени Анри Барбюс. Он призывал к ответу палачей молодой Республики Советов, и голос его был страшен для врагов. Он плакал от счастья, читая телеграммы о разгроме интервентов отрядами молодой армий

рабочих и крестьян.

С тех пор, где бы в мире ни развевалось красное знамя, бессменным его часовым стоял Анри Барбюс. Где бы в мире ни подымали змеиную голову реакция и фашизм, бесстрашный рыцарь революции направлял туда своего коня. Где бы ни вставали против угнетателей пролетарии, в первой шеренге видели его высокую, чуть согбенную фигуру. Он был с борющимися рабочими. Он шел впереди.

Неукротимый комбаттан!

Шли годы. Нет, они не шли. И они не текли, как течет спокойная вода. Годы вздымались, бурные годы, как вздымаются валы океана. И Страна Советов уже не была одинокой. Она мчалась ввысь, как многоступенчатая ракета, отбрасывая то, что мешало ее движению, оставляя то, что двигало вперед. Уже не одна. В созвездии других стран, других народов. Они вышли на ее орбиту.

В этом движении Барбюс снова с нами. Со всеми, кто несет дальше красное знамя.

Он все еще стоит на его страже и все еще преграждает путь врагу.

Он проходит песчаными дорогами истерзанного Алжира. Как видение свободной Франции, отводящей от себя грязные руки путчистов, является он алжирским патриотам в застенках Орана.

Он принял предсмертный стон несгибаемого Лумумбы. Он рукоплещет Фиделю. Смотрите! Вот он стоит, высокий, худой, там, в тени мангового дерева. Это его голос, низкий и чуть дрожащий, входит в мощный хор: «Куба — да! Янки — нет!»

В миллионах сердец Барбюс живет как призыв к действию.

Потому что он любил и ненавидел все то, что продолжаем любить и ненавидеть мы, люди второй половины XX века.

Его любовь и ненависть были так велики, что заполнили всю его большую жизнь. Они живут и теперь, когда он умер. Когда на его могиле, на кладбище Пер-Лашез, лежат цветы, принесенные людьми с разных континентов; и его прекрасная голова изображена на драгоценном камне, присланном рабочими Урала; и его характерный, острый профиль, запечатленный кистью художника, смотрит со стен музея. И строки его книг, повторенные в миллионных тиражах, звучат в сердцах народов.

Пройдут годы, но всюду, где прозвучит звон меча, поднятого за правое дело, где раздастся набат восстания, где белая, черная или желтая рука сожмет древко красного знамени, под его сенью встанет вечный правофланговый, неукротимый комбаттан, камрад Барбюс!

ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА АНРИ БАРБЮСА

1873, 17 мая — В городе Аньере, близ Парижа (улица Перейр, ныне улица Анри Барбюса), в семье литератора Адриена Барбюса родился знаменитый французский писатель Анри Барбюс.

1883–1890 — Годы учения в коллеже Роллена в Париже, куда семья переехала после смерти матери.

1891 — Окончание коллежа. Экзамен на звание бакалавра наук. Барбюс поступает на литературный факультет в Сорбонну. Первые поэтические опыты.

1893 — Начало литературной деятельности. Сотрудничество в газетах «Пти паризьен» и «Эко де Пари».

1895 — В издательстве Шарпантье вышла в свет первая книга Барбюса — сборник стихов «Плакальщицы».

1898 — Женитьба на Элионе Мендес, младшей дочери Катюля Мендеса и Жюдит Готье.

1903 — Напечатан роман «Умоляющие».

1908 — В издательстве Альбен Мишель выходит роман «Ад».

1910–1913 — Анри Барбюс организатор и редактор популярно-технического журнала «Я знаю все».

1914 — Вышел в свет сборник новелл «Мы — иные».

1914, август — Барбюс добровольцем идет на фронт первой мировой войны.

1914–1916, май — Барбюс с позиций посылает корреспонденции в газету «Эвр» — первые наброски романа «Огонь».

1916 — Издан роман «Огонь» — первая книга об империалистической войне, раскрывающая всю преступность и бессмысленность человеческой бойни.

1917 — Начало активной антивоенной деятельности. Барбюс приветствует русскую революцию.

1919 — Напечатан роман «Ясность». Анри Барбюс организует группу «Клярте» — Международный союз европейской интеллигенции, осудившей войну и заявившей о своем сочувствии III Интернационалу.

1919, 14 июля — Отзыв В. И. Ленина о романах Барбюса «Огонь» и «Ясность», напечатанный в статье «О задачах III Интернационала».

Сентябрь — Барбюс — генеральный секретарь республиканской Ассоциации бывших участников войны.

1920 — Вышел в свет первый публицистический сборник

«Свет из бездны».

1921 — Напечатан сборник новелл «Несколько уголков сердца». Статья «С ножом в зубах» — обращение к интеллигенции стать на сторону социалистической революции.

1922, ноябрь — Письмо В. И. Ленина группе «Клярте».

1923, февраль — Анри Барбюс вступает в члены Коммунистической партии Франции.

1925 — Анри Барбюс развивает активную деятельность в МОПРе. Поездка на Балканы, в страны белого террора.

1926 — Документальная книга «Палачи» — рассказ об ужасах белого террора в Румынии, Болгарии и Венгрии. Издание сборника повестей «Сила». Книга о Христе.

1927, сентябрь — Первый приезд Барбюса в СССР.

20 сентября — Доклад Барбюса в Москве, в Колонном зале Дома союзов «Белый террор и опасность войны». Путешествие по Советскому Союзу. Москва — Харьков — Ростов-на-Дону — Тифлис — Батум — Эривань — Баку.

1928 — Вышел в свет сборник новелл «Правдивые повести». Барбюс основывает интернациональный еженедельник «Монд».

Июнь — Вторая поездка в СССР. Встреча с А. М. Горьким. Поездка на юг в связи с работой над книгой о Грузии.

1929 — Барбюс — участник Международного антифашистского конгресса в Берлине.

1930 — Вышла в свет книга «Россия».

1932, 27–29 августа — По инициативе Анри Барбюса и Ромена Роллана в Амстердаме проходит Международный антивоенный конгресс. Барбюс произносит речь «Я обвиняю».

Издана книга Барбюса «Золя» — эстетическое кредо писателя.

Сентябрь — Барбюс в СССР. Москва торжественно встречает инициатора Амстердамского конгресса.

Речь Барбюса, произнесенная в Большом театре на торжественном заседании в честь сорокалетия литературной деятельности А. М. Горького.

1933 — Барбюс избран почетным членом Академии наук СССР. Третий приезд Барбюса в СССР.

Сентябрь — Барбюс в Америке. Открытие Американского конгресса борьбы против войны и фашизма. Доклад Барбюса.

1934 — Барбюс печатает статью «Будем судить судей» против фашистского процесса в Лейпциге, в защиту Георгия Димитрова. Статья «Знаешь ли ты Тельмана?». Четвертая поездка Барбюса в СССР. Задумана и начата книга о Ленине.

1935, июнь — Анри Барбюс вместе с другими писателями организует Международный конгресс писателей в защиту культуры (Париж). Речь на конгрессе «Нация и культура».

Июль — Последний приезд Барбюса в Москву для работы над книгой о Ленине.

30 августа — Смерть Барбюса в кремлевской больнице в Москве.

2 сентября — Прощальный митинг на Белорусско-Балтийском вокзале. Проводы тела Барбюса вс Францию.

7 сентября — Париж хоронит Барбюса на кладбище Пер-Лашез. Похороны превращаются в демонстрацию единого народного фронта.

КРАТКАЯ БИБЛИОГРАФИЯ

1. Основные произведения Анри Барбюса

Pleureuses. Paris, 1895.

Les suppliants. Paris, 1903.

L' enfère. Paris, 1909.

Quelques coins du coeur. Gènève, 1921.

Voici ce qu'on a fait de la Georgie. Paris, 1929.

Russie. Paris, 1930.

Lettres de Lenln à sa famille, présentée par Henri Barbusse. Paris, 1936.

Злая луна. Изд-во «Прибой», 1927.

Огонь. Ясность. Письма с фронта. Гослитиздат, 1960.

Звенья. Роман. Изд-во «Сеятель», 1925.

Речи борца. Госиздат, 1925.

Сила. Рассказы. Госиздат, 1927.

Палачи. Госиздат, 1942.

Правдивые повести. Госиздат, 1928.

Золя. Госиздат, 1933.

2. Основная литература о жизни, деятельности и творчестве Анри Барбюса

В. И. Ленин. О задачах III Интернационала. Соч., т. 29.

А. В. Луначарский. На Западе. Госиздат, 1927. «Лейпцигский процесс». Речи, письма, документы. Госполитиздат, 1961.

Морис Торез. Сын народа. М., Изд-во иностранной литературы, 1960.

Переписка А. М. Горького с зарубежными литераторами. М., Изд. — во АН СССР, 1960.

Ромен Роллан. Панорама. К Амстердамскому международному конгрессу против войны и фашизма. Собр. соч., т. 13, 1958.

Поль В айян-Кутюрье. Избранное. Гослитиздат, 1950.

Jaques Duclos, Jean Freville. Henri Barbusse. Paris, 1946.

Annette Vidal. Henri Barbusse soldat de la paix. Paris, 1953.

Paul Desanges. Henri Barbusse. Paris, 1920.

Henri Hertz. Henri Barbusse. Paris, 1920.

Leo Spitzer. Studien zu Henri Barbusse. Bonn, 1920.

И. Анисимов. Автор «Огня» и «Ясности». В книге: *Анри Барбюс,* Огонь. Ясность. Письма с фронта. Гослитиздат, 1940.

В. Николаев. Анри Барбюс. Гослитиздат, 1948.

А. Чаковский. Анри Барбюс. Гослитиздат, 1940.

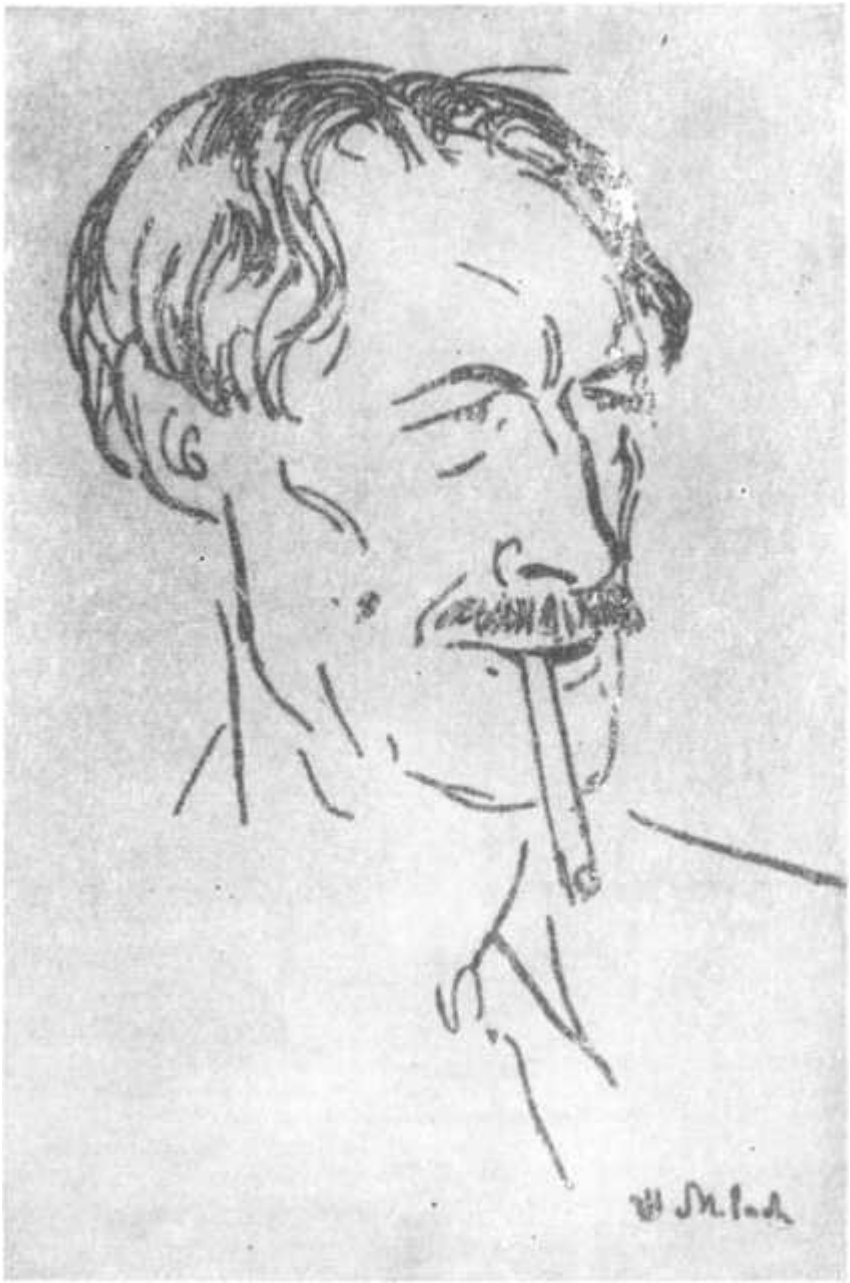
А. Исбах. Лицом к огню. Изд-во «Советский писатель», 1958.

Т. Мотылева. Творчество Ромена Роллана. Гослитиздат, 1959.

Л. Андреев. Французская литература. Изд-во МГУ, 1959.

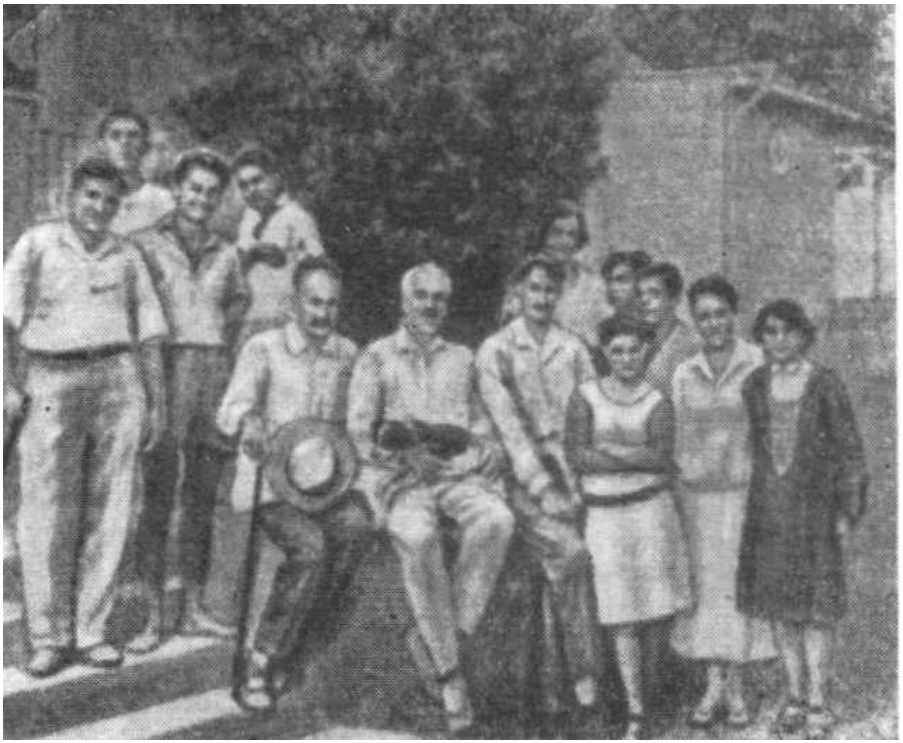
Иллюстрации

Барбюс на фронте (*третий справа*). Август 1914 г.



Анри Барбюс. Рис. В. Милашевского.

Обложка журнала «Путь МОПРа», издававшегося в Москве.

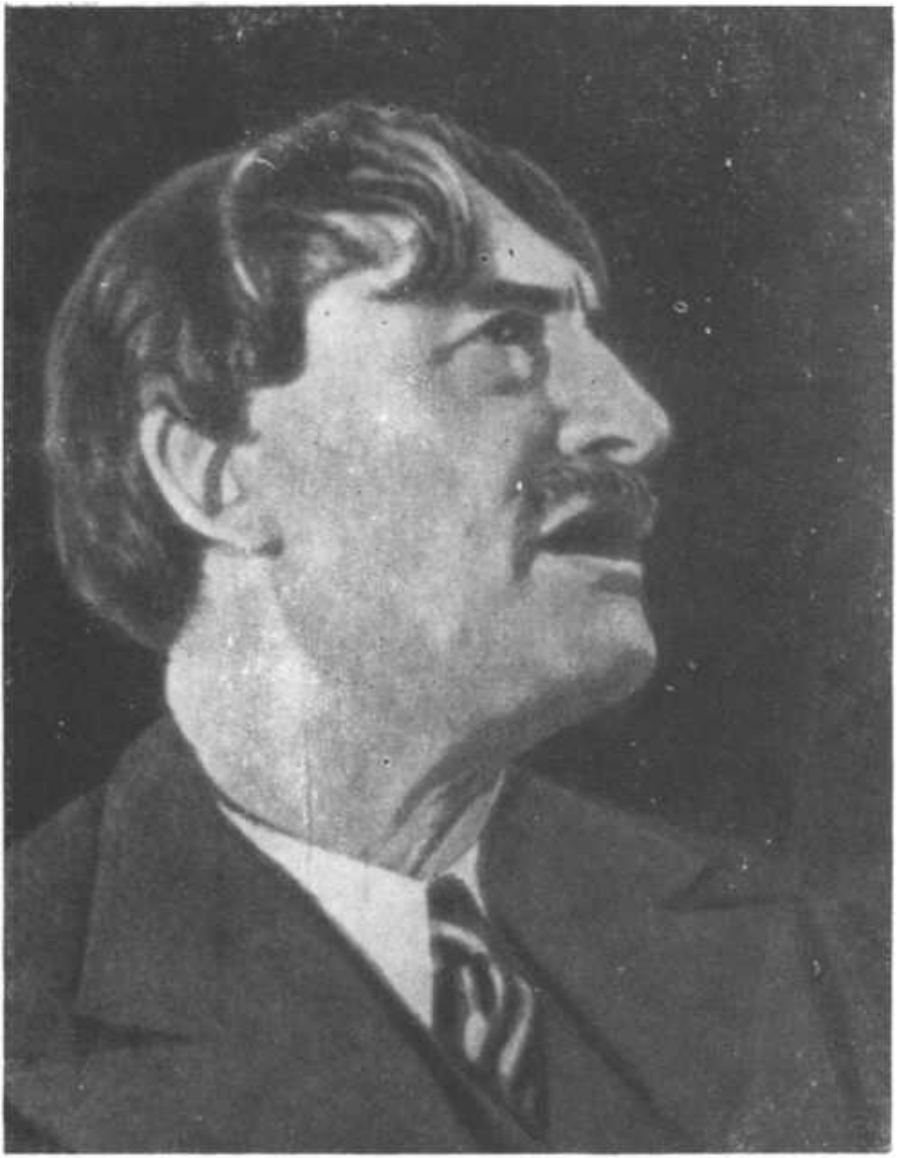


Анри Барбюс и З. П. Соловьев в Артеке, 1928 г.

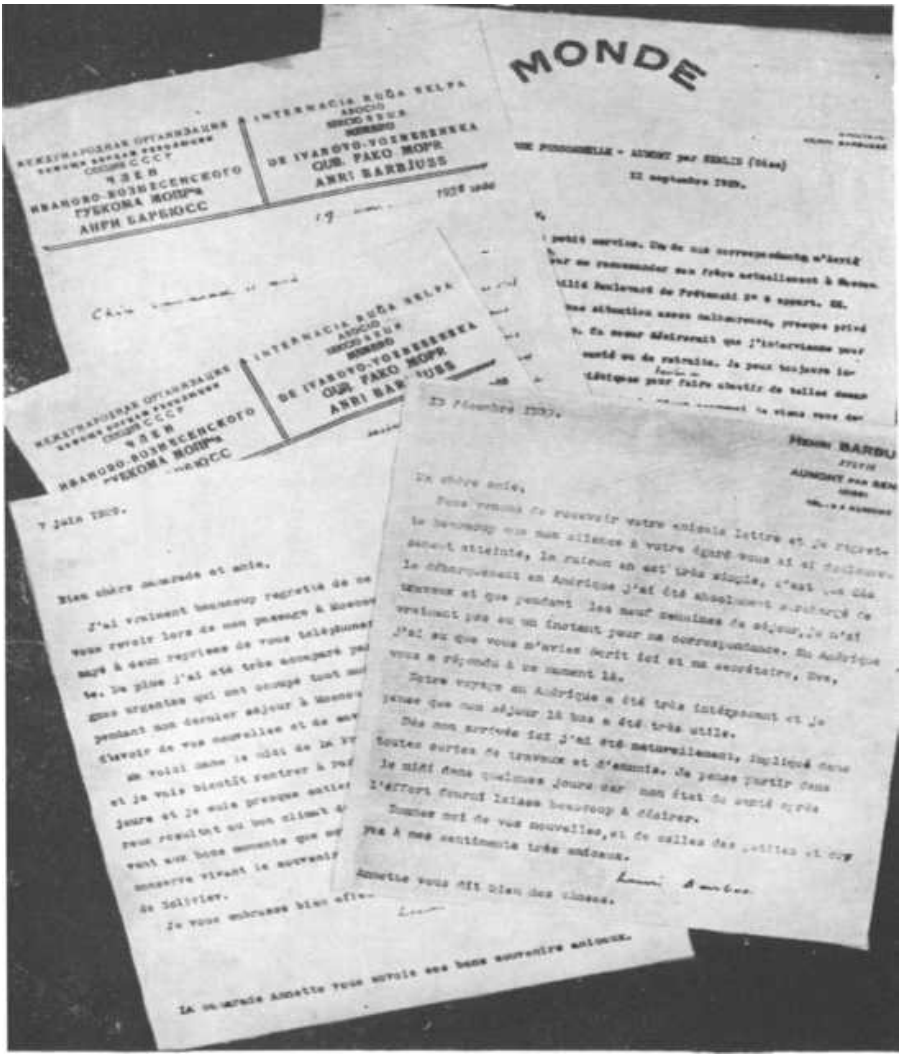
Барбюс и М. И. Соловьева.

Барбюс и Вава Соловьева.

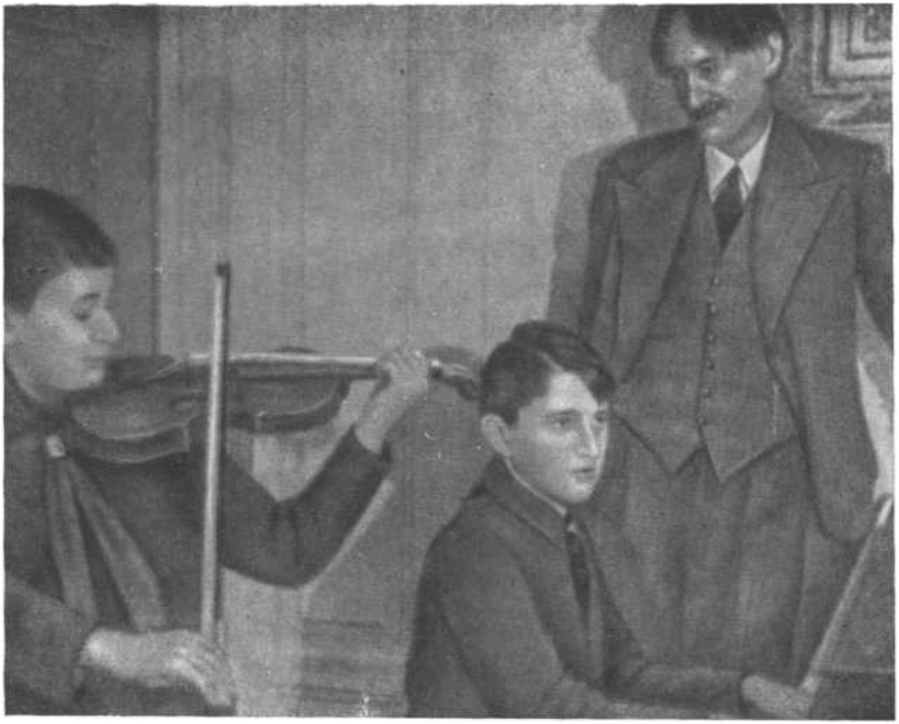
Барбюс в санатории «Узкое», 1929 г.



Барбюс на Амстердамском конгрессе. 1932 г.



Копия писем к М. И. Соловьевой.



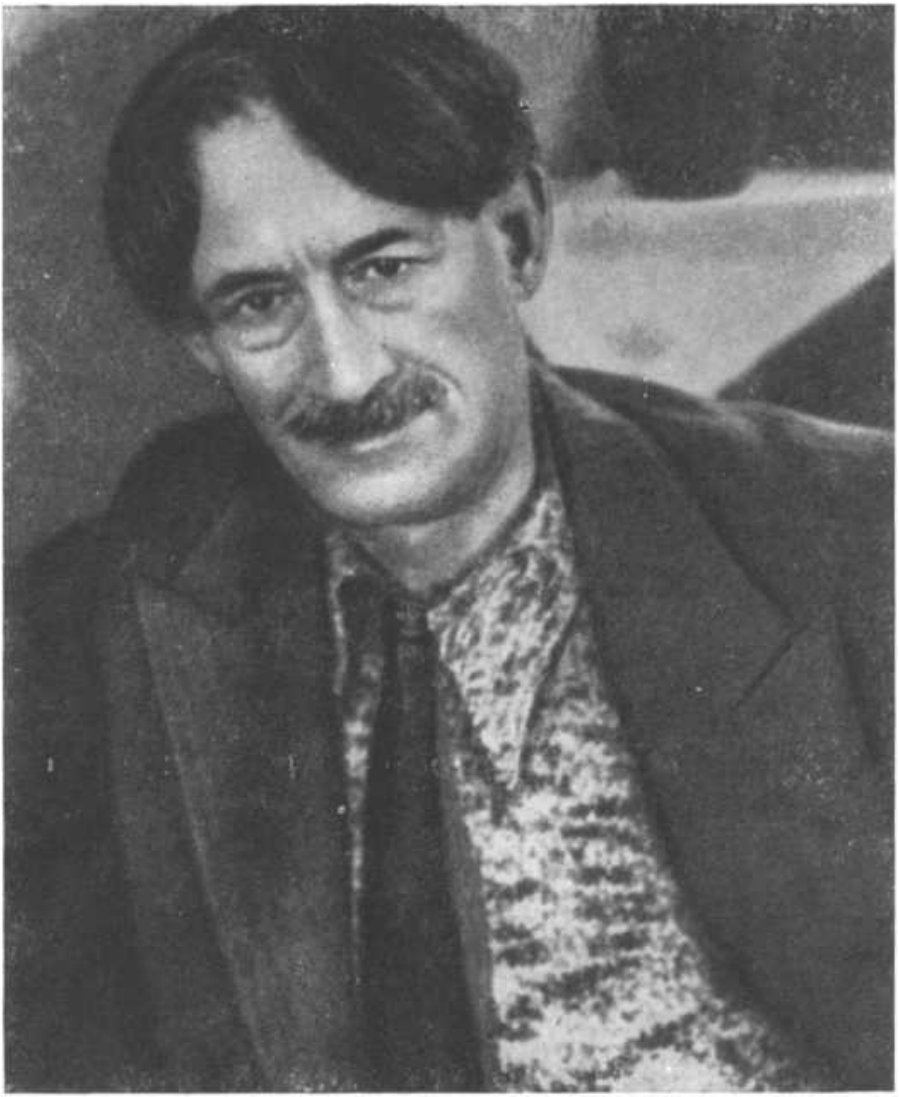
Барбюс слушает юных музыкантов.

Анри Барбюс и Клара Цеткин.

Анри Барбюс и Аннет Видаль в Москве, 1934 г.

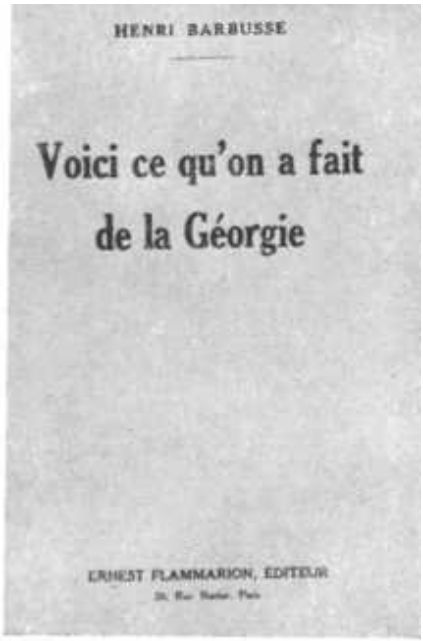
Иллюстрации В. Милашевского к книге Барбюса «Золя».

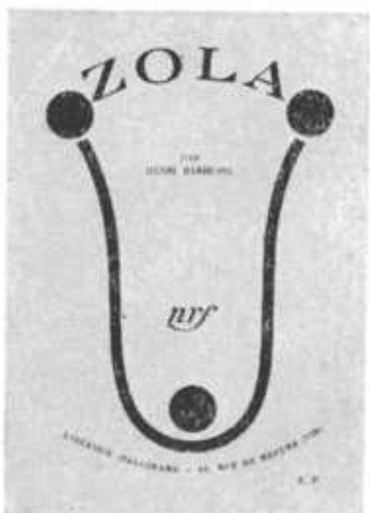
Иллюстрации В. Милашевского к книге Барбюса «Золя».



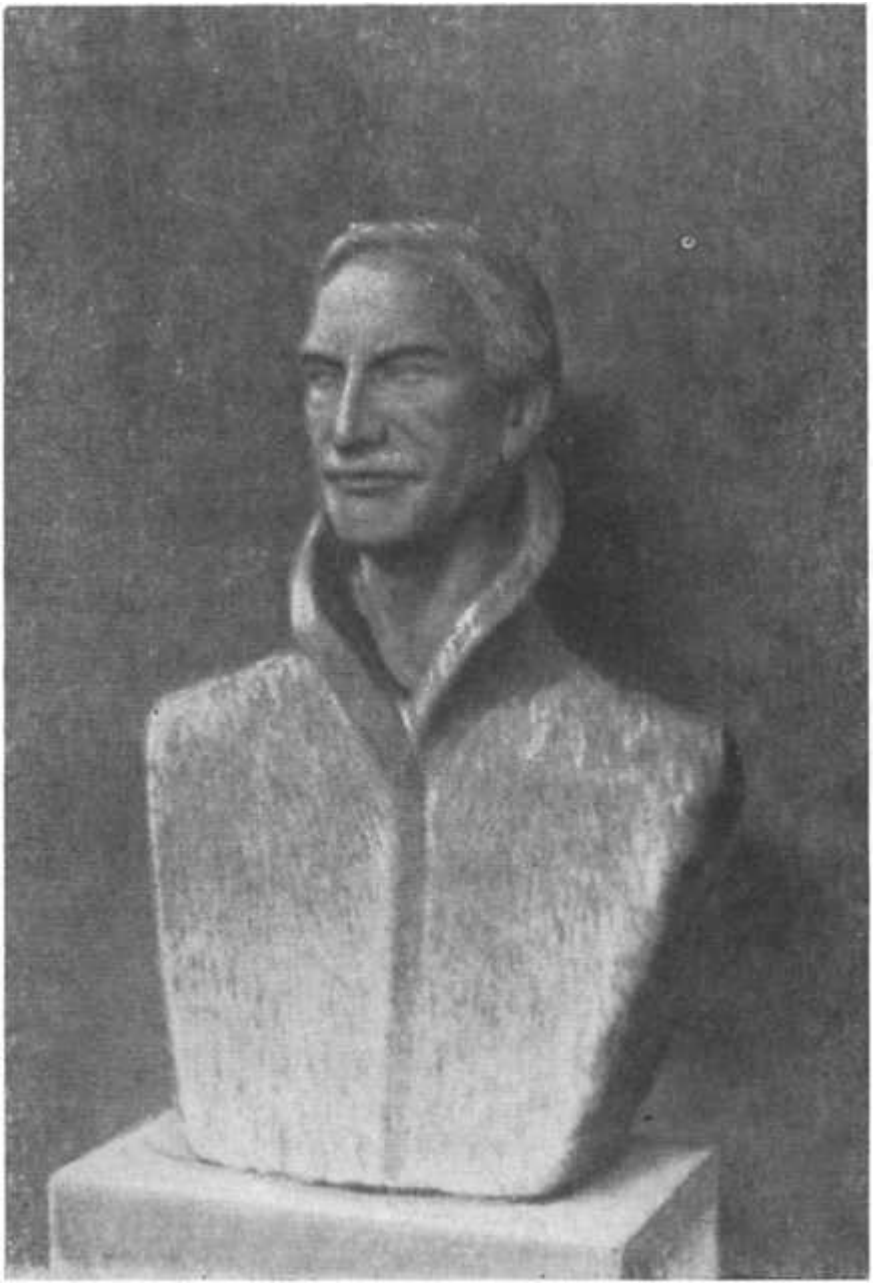
Анри Барбюс. Москва, 1934 г.

Анри Барбюс. Москва, 1935 г.





Обложки книг Барбюса, изданных в Париже: «Огонь», «Вот что сделали с Грузией», «России», «Золя».



Анри Барбюс. Скульптура Ж. Соляндра. Французская национальная выставка, Москва, 1961 г.

Аннет Видаль возлагает цветы на могилу Барбюса. Март, 1961 г.

notes

Примечания

1

Мечтатель *(фр.)*.

2

Они мертвы, его подруги,
Его подруги там, там…
Они скользят мелкими шагами
Среди уснувших миров.

(Перев. авторов.)

3

Век *(фр.)*.

4

Перевод Г. Шенгели.

5

Entrée (антрэ) — вход *(фр.)*.

6

Перевод Г. Шенгели.

А. В. Луначарский, На Западе. М.—Л., Гиз, 1927, стр. 45.

8

Конца века *(фр.)*.

9

Какодилат — наркотический препарат, применявшийся в медицине.

10

Дадаист — сторонник одного из декадентских течений в искусстве того времени.

11

В. И. Ленин, Соч., т. 29, стр. 470.

В. И. Ленин, Соч., т. 33, стр. 396.

13

Помни о смерти *(лат.)*.

14

Всё *(фр.)*.

15

Неопубликованное письмо, находящееся в личном архиве В. А. Соловьевой.

16

Стой! *(фр.)*.

17

Не правда ли, Аннет? *(фр.)*.

18

«Человек…»… «Человек…» *(фр.)*.

«Белая мышь» *(нем.)*.

Спокойнее, Пауль! *(нем.)*.